А. С. ПУШКИН

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

А. С. ПУШКИН • КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

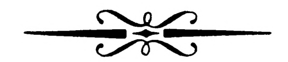
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



А. С. ПУШКИН



КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА



ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ ПОДГОТОВИЛ

Ю. Г. ОКСМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД
1984

Ответственный редактор

Г. П. МАКОГОНЕНКО

П $\frac{4702010100\text{-}707}{042\,(02)\text{-}84}$ Без объявления

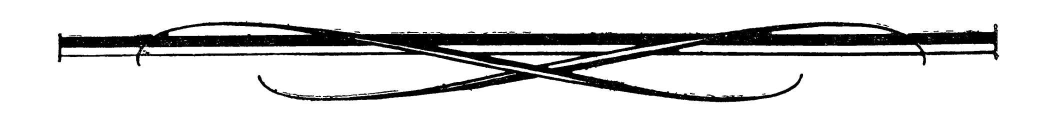


А. С. Пушкин.
Рисунок с гравюры Т. Райта. 1836—1837 гг.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь смолоду

Пословица



Глава I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

— Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно; пусть в армии послужит.
— Изрядно сказано! Пускай его потужит...
. . . .
Да кто его отец?

Княжнин

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нынешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым занасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel, не очень понимая значения этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки,* то есть (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, — то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке, и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки* и *всем наукам,*

но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чахарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы?..» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна и когда еще...

— Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни.

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши.

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило. Куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: бе-

реги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полка и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать к службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это, — говорил он, — необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко. Чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стáкана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом, — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу подождать, а покаместь поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что

надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом. — Где ты это нагрузился? Ахти, господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему запинаясь. — Ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? Проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: „Мадам, же ву при, водкю". Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам
Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель,* приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностию. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление. — Да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то неладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши

этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, окроме как в орехи...» — «Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги, или я тебя взашеи прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.



Глава II

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только! Как покажусь я на глаза господам? Что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; — вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка. — Невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился: «И охота было не слушаться, — говорил он сердито, — воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я. — Смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли, где дорога?»

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай». — «А почему ехать мне вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не

свой, погоняй не стой». Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтоб батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженый отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит»... Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у во-

рот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

— Здесь, ваше благородие, — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и ответил поговоркою: «В огороде летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. — «Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас

такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он. — За что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу с своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп.

— Господи владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину роста высокого, но уж сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет; а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания: «„Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство“... Это что за серемонии? Фуй,

как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад? . . „ваше превосходительство не забыло“. . . гм. . . „и. . . когда. . . покойным фельдмаршалом Мин. . . походе. . . также и. . . Каролинку“. . . Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? . . „Теперь о деле. . . К вам моего повесу“. . . гм. . . „держать в ежовых рукавицах“. . . что такое ешовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк. . . Что такое „держать в ешовых рукавицах“?» — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю. . . „и не давать ему воли“. . . нет, видно ешовы рукавицы значит не то. . . „При сем. . . его паспорт“. . . Где ж он? А, вот. . . „Отписать в Семеновский“. . . Хорошо, хорошо: все будет сделано. . . „Позволишь без чинов обнять тебя и. . . старым товарищем и другом“ — а! наконец догадался. . . и прочая и прочая. . . Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим отобедать у меня.

«Час от часу не легче! — подумал я про себя. — К чему послужило мне то, что почти в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей! . .» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.



Глава III

КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня

Старинные люди, мой батюшка.

«Недоросль»

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и

с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузьмича дома нет, — сказала она, — он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! — сказала ему капитанша. — Отведи г. офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч, — сказала капитанша, — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка?» — «Петр Андреич». — «Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну что, Максимыч, все ли благополучно?»

— Все, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Гос-

поди владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, — сказал он мне по-французски, — что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился! — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой: солдатушек учил».

— И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился, так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол.

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян,

«легко ли! — сказала она. — Ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да, слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». Я взглянул на Марью Ивановну: она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузьмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

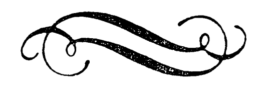
— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузьмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я. — Так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузьмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.



Глава IV

ПОЕДИНОК

— Ин изволь и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околодке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было; но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междоусобием.

Я уж сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,

И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следующей. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня. — Но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела. «А почему ты об ней такого мнения?» — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве. — Ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию».

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня. — Добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытаращa на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич, — делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся; что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он. — Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузьмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры. . .»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты, — сказал он мне сухо, — без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали по-видимому так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так, —

сказал он мне с довольным видом, — худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты. — Я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку! .. да как же это случилось?

— Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь.

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, — сказал он мне, — надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом, Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «Привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузьмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузьмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу: это его дело». — «Ах, мой батюшка! — возразила комендантша. — Да разве муж и жена не один дух и едина плоть? Иван Кузьмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузьмич не знал, на что решиться. Марья Иванова была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузьмичу того не говорил, — отвечал он, — Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались, как ни в чём не бывали.

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела. «Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь».

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин. — За нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.



Глава V

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная

Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь!

То же

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом, — все без памяти, вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? Скажите мне. . .» — я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился! — повторял он. — Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки! . .» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, — сказала она. — Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее. . . и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женою, согласись на мое счастие». Она опомнилась. «Ради бога, успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастию. «Но подумай хорошенько, — прибавила она, — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

С Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузьмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы незлопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснился; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и

с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15 сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой *А. Г.*».

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала, но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба; ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь, — сказал он, чуть не зарыдав, — что изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами. — Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но

старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, — повторял он, — вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузьмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!» — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку. — Ты меня любишь; я готов на все. Пойдем кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич, — отвечала Маша, — я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот сударь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, — посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; — а я не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь, под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме коменданта, куда принесли мы его

с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него кроме хорошего нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. И изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. Засим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузьмичом виделся я только, когда того требовала служба. С Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важные влияния на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.



Глава VI

ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывати.

Песня

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости
капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую

шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

«Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся). Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно».

Раздав сии повеления, Иван Кузьмич нас распустил. Я вышел вместе с Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покаместь еще ничего не вижу. Если же. . .» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузьмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузьмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузьмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузьмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузьмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузьмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особен-

ным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша. — Уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузьмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она окликнула Ивана Игнатьича с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать далее побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Подосланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров, и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузьмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузьмич, — перервала комендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь». Иван Кузьмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батька мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузьмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

— Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузьмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно он в самом деле силен, — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузьмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом

у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузьмич. — Али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузьмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

«Якши, — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!»

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом, и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижне-Озерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижне-Озерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузьмича. Нижне-Озерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузьмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузьмич оборотился к жене и сказал ей: «А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?»

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка, — возразил Иван Кузьмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижне-Озерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали изо стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ива-

новну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами. — Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.



Глава VII

ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. — Иван Кузьмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом. «Не успела, — отвечал Иван Игнатьич, — дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу на-

вести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузьмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал над шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузьмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузьмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники видимо приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузьмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «По-

целуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузьмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да, коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузьмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, — сказал комендант, — будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую средину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузьмич. — Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красивый казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузьмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец,

которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузьмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай, — сказал ему Пугачев, — государю Петру Феодоровичу!» — «Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямься! Что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная ста-

рушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузьмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.



Глава VIII

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Незваный гость хуже татарина.

Пословица

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо. — Что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадья. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: — Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя. — «А молода твоя племянница?» — Молода, государь. — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и екнуло; да нечего было делать. — Изволь, государь; только девка-то не может встать и прийти к твоей милости. — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул

занавес, взглянул ястребиными своими глазами — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузьмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет, то будет; авось бог не оставит!

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! — вскричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтоб я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, «что-де великий государь требует тебя к себе». — «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспоривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заране воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.

Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всее правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первой мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали изо стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать; но Пугачев сказал мне: «Сиди, я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко предо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под

виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый; ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! — сказал он, перекрестившись. — Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.



Глава IX

РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросался их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, — сказал он мне. — Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детскою любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: «Вот вам, детушки, новый командир. Слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малой в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал нахмурясь Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей.

Штаны белые суконные, на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей.

Погребец с чайною посудою, на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...»

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах, да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения; но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда! Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья

ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, — прибавил, запинаясь, урядник, — жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою: простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — «Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». — «Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь, — вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

Глава X

ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.

Херасков

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений, под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и, с помощию старого садовника, бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай-ай-ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, — сказал он. — Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покаместь поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузьмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между

ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело: «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно?* Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Г. прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово: молокосос, произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Г. прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных: это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Г. коллежский советник, скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

«Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...»

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Э-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие

основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решился следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближался к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностию и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?» Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?»

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где же оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною, — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. — Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель, заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. «Ваше превос-

ходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни».

— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек, — сказал он, качая головою. — На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать. «Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо; она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж».

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покаместь надобно взять терпение...

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

— О! — возразил генерал. — Это еще не беда: лучше ей быть покаместь женою Швабрина; он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину!

— Ба-ба-ба-ба! — сказал старик. — Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.



Глава XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

> В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.
> «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
> Спросил он ласково.
>
> *А. Сумароков*

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на́-все денег? «Будет с тебя, — отвечал он с довольным видом. — Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято. «Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...»

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Саве́льич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога, потише! Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить али дождаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, — сказал один из мужиков, — сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай; наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию. — Как поживаешь? За чем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал

по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясниться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, — сказал мне Пугачев, — от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой чрез плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: за чем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать; а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился.

Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро, — сказал Пугачев. — Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу, — отвечал я, — все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь, — подхватил старичок, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастию, Хлопуша стал противоречить своему товарищу. «Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покаместь смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

— Господа енералы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе

дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести; но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет подорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка Петр Андреич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу, прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енералов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мне забавна. «Сам как ты думаешь? — сказал я ему. — Управился ли бы ты с Фридериком?»

— С Федором Федоровичем? А как же нет? С вашими енералами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».



Е. И. Пугачев.

Гравюра неизвестного художника, приложенная к «Истории пугачевского бунта» (Спб., 1834, ч. 1).

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся. «Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на́-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы

питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.



Глава XII

СИРОТА

Как у нашей у яблонки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Спарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузьмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее».

Швабрин побледнел как мертвый. «Государь, — сказал он дрожащим голосом... — Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит».

«Веди ж меня к ней», — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице. «Государь! — сказал он. — Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей».

Я затрепетал. «Так ты женат!» — сказал я Швабрину, готовяся его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку».

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с со-

бою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье, сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне: — Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?»

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина: «И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?»

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. «Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта». Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково: «Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь».

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал смеясь Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и во̀рота запрем!

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь! — закричал он в исступлении. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости».

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостию.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда, — сказал смеясь Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнию моей

рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть потвоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреевич, — говорила попадья. — Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили! Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за это». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреевич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы

вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противоречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Чрез час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящиеся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастия!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

Глава XIII

АРЕСТ

— Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближались к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усатый вахмистр. — Вот ужо тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

— Ба-ба-ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попировали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать; поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж я чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не от-

кажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного. «Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?»

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидеться или нет, бог один это знает; но век не забуду вас, до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то же время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на Сибирских заводах, собрал там новые шайки и снова начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.[1]

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено; помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою. — Зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немед-

---

[1] После этой фразы должна была следовать глава, посвященная встрече Гринева с родителями, которые были арестованы мятежниками. При подготовке беловего варианта романа Пушкин отказался от первоначального плана Текст этот, озаглавленный «Пропущенная глава», дошел до нас в виде чернового автографа (см. с. 90—98).

ленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев — устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.



Глава XIV
СУД

> Мирская молва —
> Морская волна.
>
> *Пословица*

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером зá ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что, каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, — сказал он мне нахмурясь, — но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

«Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?»

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

«На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою не дозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать как начал и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы переда-

вать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа он объявил ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его

от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями! .. Стыд и срам нашему роду! ..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав, что двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и

посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, с своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчание.

— Вы верно не здешние? — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так еще молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья



Екатерина II.
Гравюра Н. И. Уткина с оригинала В. Л. Боровиковского. 1827 г.

Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — воскликнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились? — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: — А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вышла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

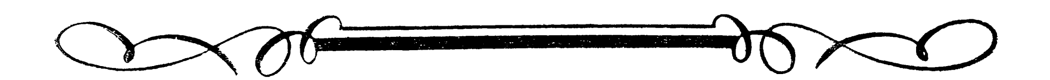
Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

19 окт. 1836. ***Издатель.***

ДОПОЛНЕНИЯ



ИЗ ВАРИАНТОВ РУКОПИСЕЙ

С. 7, строка 10: и вышел в отставку премьер-майором в 17... году / и вышел в отставку в 1762 году

С. 7, строки 13—15: Я был записан в Семеновский полк∾близкого нашего родственника. / Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось.

С. 13, строка 31: Я приближался к месту моего назначения. / Я ехал по степям заволжским.

С. 13, строки 32—33: Все покрыто было снегом. / Я видел одни бедные мордовские и чувашские деревушки. Я приближался к месту моего назначения.

С. 18, строка 18: в *** полк / в Шемшинский драгунский полк

С. 23, строки 23—24: которая сторона правая, которая левая / которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста

С. 38, строка 34: без всяких насильственных потрясений / без насильственных потрясений, и что не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного

С. 39, строка 4: *после*: останавливался у Ивана Кузьмича. — Помню даже, что Марья Ивановна была недовольна мною за то, что я слишком разговорился с прекрасною гостьей, и во весь день не сказала мне ни слова, и вечером ушла, со мною не простившись, а на другой день, когда подходил я к комендантскому дому, то услышал ее звонкий голосок: Марья Ивановна напевала простые и трогательные слова старинной песни:

Во беседах во веселых не засиживайся,
На хороших, на пригожих не заглядывайся.

С. 49, строка 43: Обещаешься ли служить мне с усердием? / Ступай ко мне в службу, и я пожалую тебя в князья Потемкины. Обещаешься ли служить с усердием мне, своему государю?

С. 58, строка 38: Вдруг мысль / Вдруг странная мысль

С. 59, строка 17: Я еду в Белогорскую крепость». / Я еду из города на несколько дней». — «Куда это?» — спросил он с изумлением. — «Куда бы то ни было, не твое дело, — отвечал я с нетерпением, — делай, что тебе говорят, и не умничай».

С. 59, строка 39: *после*: Начинало смеркаться. — Я направил путь к Бердской слободе, к пристанищу Пугачева. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога, потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди. . .»

Вскоре засверкали бердские огни. Я поехал прямо на них. «Куда, куда ты? — кричал Савельич, догоняя меня, — это горят огни у разбойников. Объедем их, пока нас не увидали. Петр Андреич — батюшка Петр Андреич! .. Не погуби! Господи владыко. . . пропадет мое дитя!»

Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Вдруг увидел я прямо перед собой передовой караул. Нас окликали, и человек пять мужиков, вооруженных дубинами, окружили нас. Я объявил им, что еду из Оренбурга к их начальнику. Один из них взялся меня проводить, сел верхом на башкирскую лошадь и поехал со мною в слободу. Савельич, онемев от изумления, кое-как поехал вслед за нами.

Мы перебрались через овраг и въехали в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте меня не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Вожатый привез меня прямо к избе, стоящей на углу перекрестка. «Вот и дворец, — сказал он, слезая с лошади, — сейчас о тебе доложу». Он вошел в избу. Савельич меня догнал: я взглянул на него, старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец вожатый воротился и сказал мне: «Ступай, наш батюшка велел тебя впустить».

Я сошел с лошади, отдал ее держать Савельичу, а сам вошел в избу, или во дворец, как называл ее мужик.

С. 61, строки 18—26: Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом ∾ которую там обижают. / Пугачев мне сам напомнил о том своим вопросом: «От кого и зачем ты ко мне послан?» — «Я приехал сам от себя, — отвечал я, — прибегаю к твоему суду. Жалуюсь на одного из твоих людей и прошу тебя защитить сироту, которую он обижает».

С. 62, строка 21: *после*: Сам в могилу смотришь, а других губишь. — Офицер к нам волею приехал, а ты уж и вешать его.

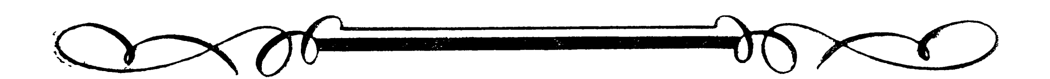
С. 63, строка 18: *после*: Я вышел вместе с ними. — Савельич стоял у ворот, держа наших лошадей. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где меня оставили с Савельичем взаперти.

С. 74, строка 6: переправиться через Волгу. / переправиться через Волгу и спешить к Симбирску, дабы не дать распространиться разгорающемуся пожару. Мысль, что предстоял мне случай заехать к нам в деревню, обнять родителей и увидеться с Марией Ивановной, одушевила меня радостию; я прыгал как ребенок и повторял, обнимая Зурина: «В Симбирск! в Симбирск!» Зурин вздыхал и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать; женишься, ни за что пропадешь!»

С. 79, строка 44: и, узнав / и, узнав на почтовом дворе

С. 83, строки 30—38: Оно писано ∾ 19 окт. 1836. / Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание сына его. Петр Андреевич умер в конце 1817-го года. Рукопись его досталась старшему внуку его, который и доставил нам оную, узнав, что мы заняты были историческим трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. К сожалению, мы получили ее слишком поздно и решились, с дозволения родственников, напечатать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф, и тем сделать книгу достойною нашего века.

23 июля ‹1836 г.› А. Пушкин



ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА [1]

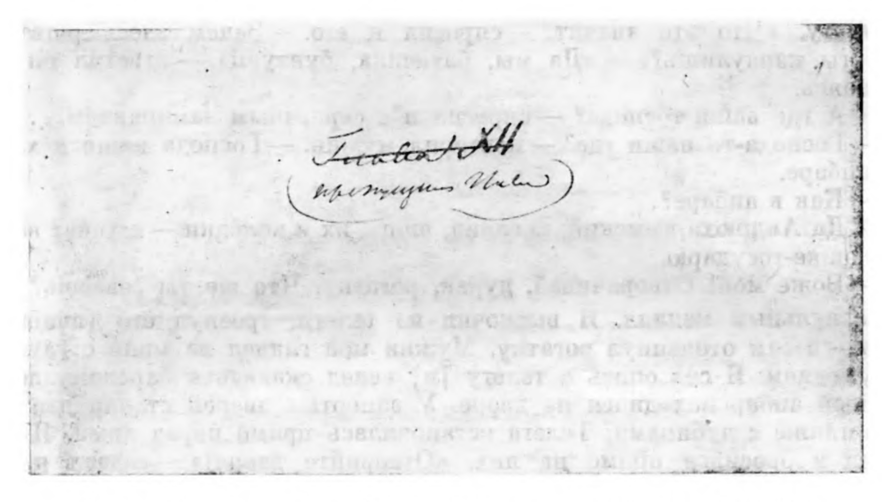
Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню ** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в тридцати верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись, — сказал он мне. — Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 чел<овек> гусар на всякий случай».

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. Погода была тихая — Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темн<ым> волн<ам>. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» — спросил я, очнувшись. «Не знаем, бог весть», — отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дождаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить. «Что бы это было, — говорили гребцы. — Парус не парус, мачты не мачты...» Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту, 3 тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здо-

[1] Глава эта не включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась в черновой рукописи, где названа самим Пушкиным «Пропущенная глава». В тексте этой главы Гринев именуется Буланиным, а Зурин — Гриневым.



«Капитанская дочка». «Пропущенная глава». Автограф. 1836 г. ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 1, № 1058, л. 1.

ровый малый лет 20-ти. Но взглянув на третьего, сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «*Воры и бунтовщики*». Гребцы [смотрели] равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причалила к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. На всякой случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в **.

Барской дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посреди улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» — спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне ‹и› снял шляпу, спрашивая

пашпорту. «Что это значит? — спросил я его. — Зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» — «Да мы, батюшка, бунтуем», — ответил он почесываясь.

— А где ваши господа? — спросил я с сердечным замиранием...

— Господа-то наши где? — повторил мужик. — Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки — и хочет везти к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо — и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу [и] велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика также с дубинами. Телега остановилась прямо перед ними. Я выскочил и бросился прямо на них. «Отворяйте двери!» — сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере, оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка земский, — закричал я ему. — Кликнуть его ко мне».

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, — отвечал он мне, гордо подбочась. — Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но *отеческое* наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрел‹и› на меня с изумлением, — три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

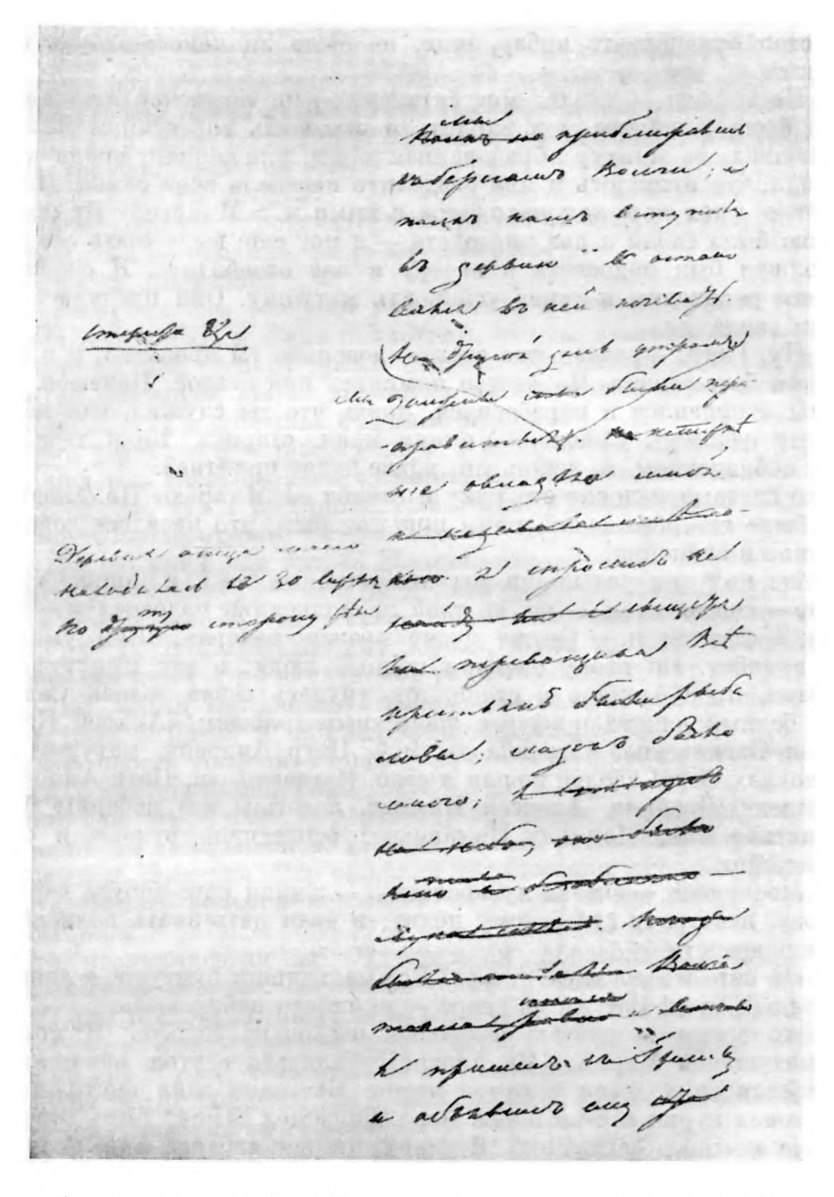
Вдруг услышал я милый знакомый голос. «Петр Андреич! Это вы!» Я остолбенел... оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша, — говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, — слава богу, дождались тебя...

— Петруша, друг мой, — [говорила] матушка. — Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения, но, подошед к двери, я нашел ее снова запертою. «Андрюшка, — закричал я, — отопри!» — «Как не так, — отвечал из-за двери земский. — Сиди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя буянить да за ворот таскать государевых чиновников!»



**«Капитанская дочка». «Пропущенная глава». Автограф. 1836 г.
ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 1, № 1058, л. 2.**

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись, — сказал мне батюшка, — не таковской я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с М.<арьей> Ив.<ановной>. Со мною была сабля и два пистолета — я мог еще выдержать осаду. Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр, — сказал мне отец, — довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на М.<арью> Ив.<ановну>, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит, — сказал отец, — уж не твой ли полковник подоспел?» — «Невозможно, — отвечал я. — Он не будет прежде вечера». Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом: «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ив.<ановна>, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери!» Услыша ненавистное имя, Мар.<ья> Ив.<ановна> всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай, — сказал я Савельичу, — пошли кого-нибудь верхом к * перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

— Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе — до анбара добираются.

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Мар.<ье> Ив.<ановне> удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курки и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась, и голова земского показалась. Я ударил по ней саблею, и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею. Двор был полон вооруженных людей. Между ими узнал я Швабрина.

— Не бойтесь, — сказал я женщинам, — есть надежда. А вы, батюшка, уже более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу, Марья Ив.<ановна> стояла подле нее,

с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар, и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот Белогорский. Теперь время обедать. Покаместь сиди да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился и оставил караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба М.<арьи> Ив.<ановны>. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ив.<ановна>? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек! Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертью. Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный анбар и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ив.<ановна> подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

— Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что, — закричал я с сердцем. — Знаете ли вы, что вас ожидает?

— Бесчестия я не переживу, — отвечала она спокойно. — Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей П.<етрович>. Прощайте, <Авдотья Васильевна>. Вы были для меня более, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр <Андреич>. Будьте уверены, что... что... — тут она заплакала... и закрыла лицо руками... Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ив.<ановна>, — сказал мой отец. — Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь и молчи. Умирать, так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?

— Сдаетесь ли? — кричал Швабрин. — Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей! — отвечал ему батюшка твердым голосом. Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых бровей. И, обратясь ко мне, сказал: «Теперь пора!»

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною». [Я схватил] за руку матушку и Марью Ив.<ановну> и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въезжал Гринев и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подоспел, — сказал он нам. — А! вот и твоя невеста». Марья Ив.<ановна> покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем. «Милости просим к нам», — сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился. «Это кто?» — спросил он, глядя на раненого. «Это сам предводитель, начальник шайки, — отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина, — бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына».

— Это Швабрин, — сказал я Гриневу.

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комис-

сию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и, благодаря суматохе, незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп — и, слава богу, прискакал вовремя.

Гринев настоял на том, чтобы голова земского была несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. М.‹арья› Ив.‹ановна› разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно, а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну что, дураки, — сказал он им, — зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш, — отвечали они в голос.

— То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет. «Виноваты!» Конечно, виноваты. Бог дал вёдро, пора бы сено убрать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастием и унижением недруга.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди

моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ив.<ановной>. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ив.<ановну>, бледную и трепещущую. Нас благословили... Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет, — кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ив.<ановна>, прощаясь со мною, поцаловала меня при всех. Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал — и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастия для меня миновались. Сердце чуло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.

‹ПРОЕКТ ВСТУПЛЕНИЯ К РОМАНУ›

Любезный друг мой Петруша!

Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия моей жизни и замечал, что ты всегда слушал меня со вниманием, несмотря на то что случалось мне, может быть, в сотый раз пересказывать одно. На некоторые вопросы я никогда тебе не отвечал, обещая со временем удовлетворить твоему любопытству. Ныне решился я исполнить мое обещание. Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей. Ты знаешь, что, несмотря на твои проказы, я все полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею. Конечно, твой батюшка никогда не причинял мне таких огорчений, какие терпели от тебя твои родители. Он всегда вел себя порядочно и добронравно, и всего бы лучше было, если б ты на него походил. Но ты уродился не в него, а в дедушку, и по-моему это еще не беда. Ты увидишь, что, завлеченный пылкостию моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых. То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоем два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство.

5 августа 1833. Черн.‹ая› речка.

‹НАБРОСОК НЕДОПИСАННОГО ПРЕДИСЛОВИЯ›

Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю.

Читателю легко будет распознать нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические. А для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением.

[Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был]

‹1836›

‹ЗАМЕТКА О ШВАНВИЧАХ›

Немецкие указы Пугачева писаны были рукою Шванвича.

Отец его, Александр Мартынович, был маиором и кронштадтским комендантом — после переведен в Новгород. Он был высокий и сильный мужчина. Им разрублен был Алексей Орлов в трактирной ссоре. Играя со Свечиным в ломбр, он имел привычку закуривать свою пенковую трубочку, а между тем заглядывать в карты. Женат был на немке. Сын его старший недавно умер.

Слышано от Н. Свечина.

‹РАССКАЗЫ И. А. КРЫЛОВА, И. И. ДМИТРИЕВА И Д. О. БАРАНОВА В ЗАПИСЯХ ПУШКИНА›

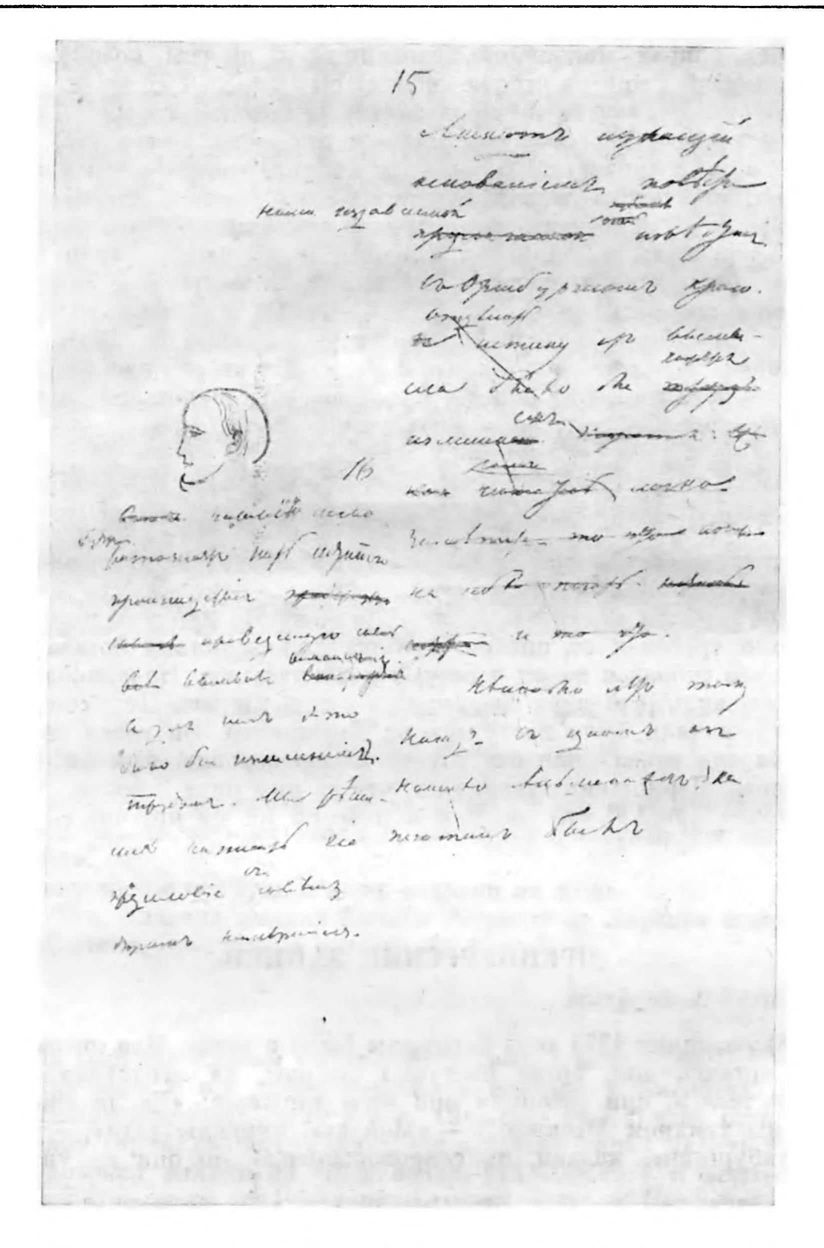
ПОКАЗАНИЯ КРЫЛОВА (ПОЭТА)

Отец Крылова (капитан) был при Симанове в *Яицком городке*. Его твердость и благоразумие имели большое влияние на тамошние дела и сильно помогли Симанову, который вначале было струсил. Иван Андреевич находился тогда с матерью в Оренбурге. На их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью (и то тихонько) 25 р.! Так как чин капитана в Яицкой крепости был заметен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном. Рейнсдорп был человек очень глупый. Во время осады вздумал он было ловить казаков капканами, чем и насмешил весь город, хоть было и не до смеху. После бунта Ив. Крылов возвратился в Яицкий городок, где завелася игра в пугачевщину. Дети разделялись на две стороны: городовую и бунтовскую, и драки были значительные. Крылов, как сын капитанский, был предводителем одной стороны. Они выдумали, разменивая пленных, лишних сечь, отчего произошло в ребятах, между коими были и взрослые, такое остервенение, что принуждены были игру запретить. Жертвой оной чуть было не сделался некто Анчапов (живой доныне). Мертваго, поймав его в одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве. Его отцепил прохожий солдат.

11 апр. 1833.

ДМИТРИЕВ. ПРЕДАНИЯ

Дмитриев услышал о Пугачеве от слуги, ездившего в Симб.‹ирскую› воеводскую канцелярию с его отцом. Возвратясь, слуга рассказывал о важном преступнике, казаке, отосланном в Казань в оковах с двумя солдатами, которые сели на облучки кибитки с обнаженными тесаками.



«Капитанская дочка». Набросок предисловия («Анекдот, служащий основанием повести...»). Автограф. 1836 г.
ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 1, № 1043.

Пугачев сбирал милостыню, скованный с другим колодником. На улице Замочной Решетки стояла кибитка etc.

Полковник Чернышев был тот самый, о котором говорит Екатерина в своих записках. Он и брат его были любимцы Петра III, который сделал одного полковником и дал ему полк и второго подполковником. Екатерина пожаловала первого бригадиром и сделала п.<етер>б.<ургски>м комендантом, а брата его полковником и комендантом симбирским. П.<етер>б.<ургский> комендант в старости своей был в связи с Травиной — он целый день проводил в ее доме, сидя под окном, и к зоре отправлялся в крепость.

Белобородов был казнен в Москве прежде поимки Пугачева.

Ген.<ерал> Потемкин имел связь с Устиньей, второй женою Пугачева.

Панин вырвал клок из бороды Пугачева — рассердясь на его смелость.

Кар был человек светский и слыл умником.

Дурнов лежал между трупами.

(Слышал от сен.<атора> Баранова.) Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками — узнал, что множество народу собралось и намерены идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с гос.<ударем> Петр.<ом> Фед.<оровичем> — начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Держ.<авин> уверил их, что за ним идут 3 полка.

Дмитриев уверял, что Державин повесил их из поэтического любопытства.

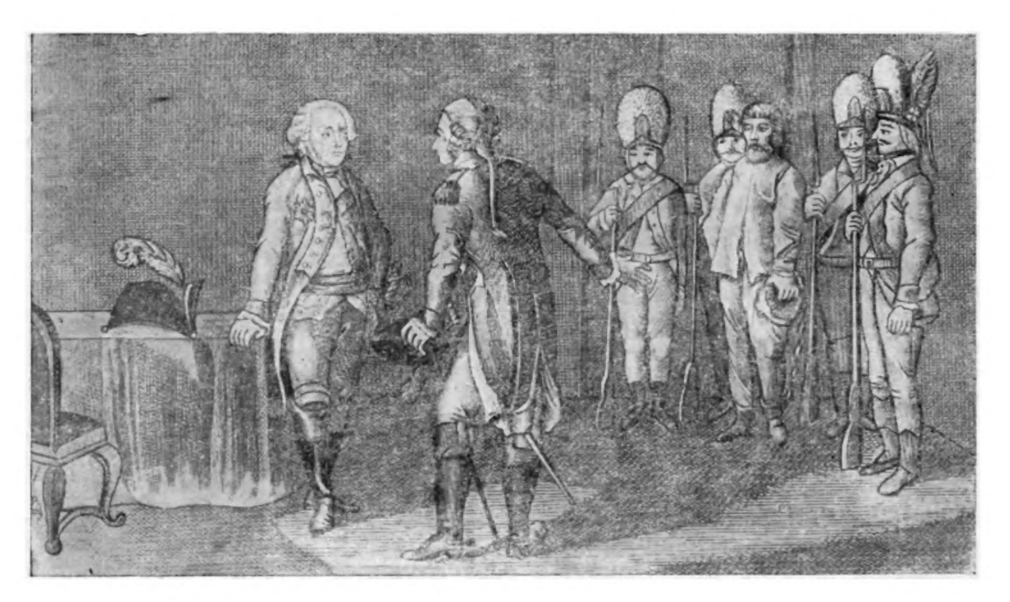
<ОРЕНБУРГСКИЕ ЗАПИСИ>

<1> Бунтовщики 1771 года посажены были в лавки Мен.<ового> двора. Около Сергиева дня, когда наступил сенокос, их отпустили на Яик. Садясь в телеги, они говорили при всем торжище: «То ли еще будет? так ли мы тряхнем Москвою?» — «Молчать, курвины дети», — говорили им ор.<енбургские> казаки, их сопровождавшие, но они не унимались.

Папков в (Переволоцкой) Сарочинской.

<2> Он привел кн. Галицына к Сарочинской кр.<епости>, но она уже была выжжена. Гал.<ицын> насыпал ему рукавицу полну денег.

В Татищ.<евой> Пугач.<ев>, пришед вторично, спрашивал у атамана, есть ли в кр.<епости> провиант. Ат.<аман>, по предварительной просьбе



Арест Пугачева.
Гравюра неизвестного художника. Конец XVIII в.

старых казаков, опасавшихся голода, отвечал, что нет. Пуг.‹ачев› пошел сам освидетельствовать магазины и, нашед их полными, повесил атамана на застрехе.

Елагину взрезали грудь и кожу задрали на лицо.

Лиз. Фед. Елагина выдана была в Озерную за Харлова весною — она была красавица, круглолица и невысока ростом.

Матрена в Татищ.‹евой›.

‹3› Из Озерной Харлов выслал жену свою 4 дня перед Пуг.‹ачевым›, а пожитки свои и все добро спрятал в подвале у Киселева. Пугачева пошли казаки встречать за 10 верст. Харл.‹ов› (хмельной) остался с малым числом гарниз.‹онных› солдат. Он с вечеру начал палить из пушек. Билов услышал пальбу из Чесноковки (15 в.‹ерст›) и воротился, полагая, что Пуг.‹ачев› уже кр.‹епость› взял. Поутру Пуг.‹ачев› пришел. Казак стал остерегать его: «Ваше ц.‹арское› в.‹еличество›, не подъезжайте, неравно из пушки убьют». — «Старый ты человек, — отвечал ему Пуг.‹ачев›, — разве на царей льются пушки?» Харл.‹ов› приказывал стрелять — никто его не слушал. Он сам схватил фитиль и выстрелил по неприятелю — потом подбежал и к другой пушке — но в сие время бунтовщики ворвались. Харлова поймали и изранили. Вышибенный ударом

копья глаз у него висел на щеке. Он думал откупиться и повел казаков к избе Киселева. «Кум, дай мне 40 рублей, — сказал он. — Хозяйка все у меня увезла в Ор.‹енбург›». Кис.‹елев› смутился. Казаки разграбили имущество Харл.‹ова›. Дочь Кис.‹елева› упала к ним в ноги — говоря: «Государи, я невеста, этот сундук мой». Каз.‹аки› его не тронули. Потом повели Харл.‹ова› и с ним 6 чел. вешать в степь. Пуг.‹ачев› сидел перед релями — принимал присягу. Гарнизон стал просить за Харлова, но Пуг.‹ачев› был неумолим. Татарин Бикбай, осужденный за шпионство, взошед на лестницу, спросил равнодушно: «Какую петлю надевать?» — «Надевай какую хочешь», — отвечали казаки (не видал я сам, а говорили другие, будто бы тут он перекрестился). Пугач.‹ев› был так легок, что когда он шел по улице к магазинам, то народ не успевал за ним бегом. Он, проезжая по Озерной к жене в Яицк, останавливался обыкновенно у каз.‹ака› Полежаева, коего любил за звучный голос, большой рост и проворство.

Под *Ил.‹ецким› гор.‹одком›* хотел он повесить Дмит. Карницкого, пойманного с письмами от Сим.‹анова› к Рейнс.‹дорпу›. На лестнице Карн.‹ицкий›, обратясь к нему, сказал: «Гос.‹ударь›, не вели казнить, вели слово молвить». — «Говори», — сказал Пуг.‹ачев›. — «Гос.‹ударь›, я человек подлый, что прикажут, то и делаю; я не знал, что написано в письме, которое нес. Прикажи себе служить, и буду тебе верный раб». — «Пустить его, — сказал Пуг.‹ачев›, — умеешь ли ты писать?» — «Умею, гос.‹ударь›, но теперь рука дрожит». — «Дать ему стакан вина, — сказал Пуг.‹ачев›, — пиши указ в Рассыпную». Карн.‹ицкий› остался при нем писарем и вскоре стал его любимцем. Уральские каз.‹аки› из ревности в Тат.‹ищевой› посадили его в куль да бросили в воду. «Где Карн.‹ицкий›», — спросил Пуг.‹ачев›. «Пошел к матери по Яику», — отвечали они. Пуг.‹ачев› махнул рукою и ничего не сказал. Такова была воля яицк.‹им› казакам!

В Озерной.

‹4› В Берде Пуг.‹ачев› был любим; его казаки никого не обижали. Когда прибежал он из *Тат.‹ищевой›*, то велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, *дабы драки не учинилось.* Вино хлынуло по улице рекою. Оренбургцы после него ограбили жителей.

Старуха в Берде.

‹5› Пугач.‹ев› на Дону таскался в длинной рубахе (турецкой). Он нанялся однажды рыть гряды у казачки — и вырыл 4 могилы. В Озерной узнал он одну дончиху и дал ей горсть золота. Она не узнала его. По наговору яицк.‹их› казаков велел он расстрелять в Берде Харлову и 7-летнего брата ее. Перед смертью они *сползлись* и обнялися — так и умерли и долго лежали в кустах. Когда Пугач.‹ев› ездил куда-ни-

будь, то всегда бросал народу деньги. Когда под Тат.<ищевой> разбили Пуг.<ачева>, то яицк.<их> прискакало в Оз.<ерную> израненных — кто без руки, кто с разрубл.<енной> головою — человек 12, кинулись в избу Бунтихи. «Давай, старуха, рубашек, полотенец, тряпья», — и стали драть да перевязывать друг у друга раны. Старики выгнали их дубьем. А гусары галицынские и Корфа (?) так и ржут по улицам да *мясничат их*. Когда разлился Яик, тела поплыли вниз. Казачка Разина, каждый день прибредши к берегу, пригребала палкою к себе мимо плывущие трупы, переворачивая их и приговаривая: «Ты ли, Степушка, ты ли мое детище? Не твои ли черны кудри свежа вода моет?» Но видя, что не он, тихо отталкивала тело и плакала. К Пуг.<ачеву> привозили ребят — он сидел между двумя казаками, из коих один держал серебряный топорик, а другой булаву — у Пуг.<ачева> рука лежала на пелене — подходящий кланялся в землю — а потом, перекрестясь, целовал его руку. Пуг.<ачев> в Яицке сватался за,[1] но она за него не пошла. Устинью Кузн.<ецову> взял он насильно, отец и мать не хотели ее выдать: она-де простая казачка, не королевна, как ей быть за государем.

(В Берде от старухи).

<6> Федулев, недавно умерший, вез однажды Пуг.<ачева> пьяного — и ночью въехали было в Ор.<енбург>.

Когда казаки решились выдать Пуг.<ачева>, то он подозвал Творогова, велел ему связать себе руки, но не назад, а вперед. «Разве я разбойник», — говорил Пуг.<ачев> (?).

В Татищ.<евой> Пуг.<ачев> за пьянство повесил я.<ицкого> казака.

---

[1] В автографе оставлен пробел для вставки фамилии.

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА

(Отрывки из глав второй и третьей)

Глава вторая

Появление Пугачева. — Бегство его из Казани. — Показания Кожевникова. — Первые успехи Самозванца. — Измена илецких казаков. — Взятие крепости Рассыпной. — Нурали-хан. — Распоряжение Рейнсдорпа. — Взятие Нижне-Озерной. — Взятие Татищевой. — Совет в Оренбурге. — Взятие Чернореченской. — Пугачев в Сакмарске.

В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому и принимаясь за всякие ремесла. Он был свидетелем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на время в Иргизские скиты; оттуда, в конце 1772 года, послан был для закупки рыбы в Яицкий городок, где и стоял у казака Дениса Пьянова. Он отличался дерзостию своих речей, поносил начальство и подговаривал казаков бежать в области турецкого султана; он уверял, что и донские казаки не замедлят за ними последовать, что у него на границе заготовлено двести тысяч рублей и товару на семьдесят тысяч и что какой-то паша, тотчас по приходу казаков, должен им выдать до пяти миллионов; покамест обещал он каждому по двенадцати рублей в месяц жалованья. Сверх того, сказывал он, будто бы против яицких казаков из Москвы идут два полка и что около Рождества или Крещения непременно будет бунт. Некоторые из послушных хотели его поймать и представить, как возмутителя, в комендантскую канцелярию; но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в селе Малыковке (что ныне Волгск) по указанию крестьянина, ехавшего с ним одною дорогою. Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник, пришедший с ложным письменным видом из-за польской границы, с намерением поселиться на реке Иргизе, посреди тамошних раскольников. Он был отослан под стражею в Симбирск, а оттуда в Казань; и как все, относящееся к делам Яицкого войска, по тогдашним обстоятельствам могло казаться важным, то оренбургский губернатор и почел за нужное уведомить о том государственную Военную коллегию донесением от 18 января 1773 года.

Яицкие бунтовщики были тогда не редки, и казанское начальство не обратило большого внимания на присланного преступника. Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однажды он под стражею двух гарнизонных солдат ходил по городу для собирания милостыни. У Замочной Решетки (так называлась одна из главных казанских улиц) стояла готовая тройка. Пугачев, подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших; другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал из городу. Это случилось 19 июня 1773 года. Три дня после в Казани получено было утвержденное в Петербурге решение суда, по коему Пугачев приговорен к наказанию плетьми и к ссылке в Пелым на каторжную работу.

Пугачев явился на хуторах отставного казака Данилы Шелудякова, у которого жил он прежде в работниках. Там производились тогда совещания злоумышленников.

Сперва дело шло о побеге в Турцию: мысль издавна общая всем недовольным казакам. Известно, что в царствование Анны Ивановны Игнатий Некрасов успел привести ее в действо и увлечь за собой множество донских казаков. Потомки их доныне живут в турецких областях, сохраняя па чуждой им родине веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. Во время последней турецкой войны они дрались противу нас отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю, уже переплывшему Дунай на запорожской лодке; так же, как остаток Сечи, они принесли повинную за своих отцов и возвратились под владычество законного своего государя.

Но яицкие заговорщики слишком привязаны были к своим богатым родимым берегам. Они, вместо побега, положили быть новому мятежу. Самозванство показалось им надежною пружиною. Для сего нужен был только прошлец, дерзкий и решительный, еще неизвестный народу. Выбор их пал на Пугачева. Им нетрудно было его уговорить. Они немедленно начали собирать себе сообщников.

Военная коллегия дала знать о побеге казанского колодника во все места, где, по предположениям, мог он укрываться. Вскоре подполковник Симанов узнал, что беглеца видели на хуторах, находящихся около Яицкого городка. Отряды были посланы для поимки Пугачева, но не имели в том успеха: Пугачев и его главные сообщники спасались от поиска, переходя с одного места на другое и час от часу умножая свою шайку. Между тем разнеслись странные слухи... Многие казаки взяты были под стражу. Схватили Михайла Кожевникова, привели в комендантскую канцелярию и пыткою вынудили от него следующие важные показания:

В начале сентября находился он на своем хуторе, как приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая особа находится в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть ее на своем хуторе. Кожевников согласился. Зарубин уехал и в ту же ночь перед светом возвратился с Тимофеем Мясниковым и с неведомым человеком, все трое верхами. Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою. Зарубин и Мясников поехали в город *для повестки народу*, а незнакомец, оставшись у Кожевникова, объявил ему, что он император Петр III, что слухи о смерти его были ложны, что он, при помощи караульного офицера, ушел в Киев, где скрывался около года; что потом был в Цареграде и тайно находился в русском войске во время последней турецкой войны; что оттуда явился он на Дону и был потом схвачен в Царицыне, но вскоре освобожден верными казаками; что в прошлом году находился он на Иргизе и в Яицком городке, где был снова пойман и отвезен в Казань; что часовой, подкупленный за семьсот рублей неизвестным купцом, освободил его снова; что после подъезжал он к Яицкому городку, но,

узнав через одну женщину о строгости, с каковою ныне требуются и осматриваются паспорты, воротился на Сызранскую дорогу, по коей скитался несколько времени, пока наконец с Таловинского умета взят Зарубиным и Мясниковым и привезен к Кожевникову. Высказав нелепую повесть, самозванец стал объяснять свои предположения. Он намерен был обнаружить себя по выступлении казацкого войска на *плавню* (осеннее рыболовство), во избежание супротивления со стороны гарнизона и *напрасного кровопролития*. Во время же плавни хотел он явиться посреди казаков, связать атамана, идти прямо на Яицкой городок, овладеть им и учредить заставы по всем дорогам, дабы никуда преждевременно не дошло о нем известия. В случае же неудачи думал он *броситься в Русь*, увлечь ее всю за собою, повсюду поставить новых судей (ибо в нынешних, по его словам, присмотрена им многая неправда) и возвести на престол государя великого князя. *Сам же я,* говорил он, *уже царствовать не желаю.* Пугачев на хуторе Кожевникова находился три дня; Зарубин и Мясников приехали за ним и увезли его на Усихину Россашь, где и намерен он был скрываться до самой плавни. Кожевников, Коновалов и Кочуров проводили его.

Взятие под стражу Кожевникова и казаков, замешанных в его показании, ускорило ход происшествий. 18 сентября Пугачев с Будоринского форпоста пришел под Яицкий городок с толпою, из трехсот человек состоявшею, и остановился в трех верстах от города за рекою Чаганом.

В городе все пришло в смятение. Недавно усмиренные жители начали перебегать на сторону новых мятежников. Симанов выслал противу Пугачева пятьсот казаков, подкрепленных пехотою и с двумя пушками под начальством маиора Наумова. Двести казаков при капитане Крылове отряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел мятеж, и половина отряда тут же передалась на сторону самозванца и потащила с собою пятьдесят верных казаков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену в своем отряде, Наумов возвратился в город. Захваченные казаки приведены были к Пугачеву, и одиннадцать из них, по приказанию его, повешены. Сии первые его жертвы были: сотники Витошнов, Черторогов, Раинев и Коновалов; пятидесятники Руженикова, Толстов, Подъячев и Колпаков, рядовые Сидоровкин, Ларзянев и Чукалин.

На другой день Пугачев приближился к городу; но при виде выходящего противу него войска стал отступать, рассыпав по степи свою шайку. Симанов не преследовал его, ибо казаков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, а пехоту не смел отдалить от города, коего жители готовы были взбунтоваться. Он донес обо всем оренбургскому губернатору, генерал-поручику Рейнсдорпу, требуя от него легкого войска для преследования Пугачева. Но прямое сообщение с Оренбургом было уже пресечено, и донесение Симанова дошло до губернатора не прежде, как через неделю.

С шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачев пошел прямо

к Илецкому городку и послал начальствовавшему в нем атаману Портнову повеление — выйти к нему навстречу и с ним соединиться. Он обещал казакам пожаловать их крестом и бородою (илецкие, как и яицкие, казаки были все староверцы), реками, лугами, деньгами и провиантом, свинцом и порохом, и вечною вольностию, угрожая местию в случае непослушания. Верный своему долгу, атаман думал супротивляться; но казаки связали его и приняли Пугачева с колокольным звоном и с хлебом-солью. Пугачев повесил атамана, три дня праздновал победу и, взяв с собою всех илецких казаков и городские пушки, пошел на крепость Рассыпную.

Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окруженные плетнем или деревянным забором. Несколько старых солдат и тамошних казаков, под защитою двух или трех пушек, были в них безопасны от стрел и копий диких племен, рассеянных по степям Оренбургской губернии и около ее границ. 24 сентября Пугачев напал на Рассыпную. Казаки и тут изменили. Крепость была взята. Комендант, маиор Веловский, несколько офицеров и один священник были повешены, а гарнизонная рота и полтораста казаков присоединены к мятежникам <...>.

Из Рассыпной Пугачев пошел на Нижне-Озерную. На дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Веловскому комендантом Нижне-Озерной, маиором Харловым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам. Узнав о приближении Пугачева, Харлов отправил в Татищеву молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а сам приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых солдат. Ночью на 26 сентября вздумал он, для их ободрения, палить из двух своих пушек, и сии-то выстрелы испугали Билова и заставили его отступить. Утром Пугачев показался перед крепостию. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют». — «Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве пушки льются на царей?» Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Полумертвый, он думал от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта; но яицкие казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бикбай, взошед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю. На другой день Пугачев выступил и пошел на Татищеву.

В сей крепости начальствовал полковник Елагин. Гарнизон был умножен отрядом Билова, искавшего в ней своей безопасности. Утром 27 сен-

тября Пугачев показался на высотах, ее окружающих. Все жители видели, как он расставил там свои пушки и сам направил их на крепость. Мятежники подъехали к стенам, уговаривая гарнизон — *не слушаться бояр* и сдаться добровольно. Им отвечали выстрелами. Они отступили. Бесполезная пальба продолжалась с полудня до вечера; в то время скирды сена, находившиеся близ крепости, загорелись, подожженные осаждающими. Пожар быстро достигнул деревянных укреплений. Солдаты бросились тушить огонь. Пугачев, пользуясь смятением, напал с другой стороны. Крепостные казаки ему передались. Раненый Елагин и сам Билов оборонялись отчаянно. Наконец мятежники ворвались в дымящиеся развалины. Начальники были захвачены. Билову отсекли голову. С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшему казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотою и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее семилетнего ее брата. Вдова маиора Веловского, бежавшая из Рассыпной, также находилась в Татищевой: ее удавили. Все офицеры были повешены. Несколько солдат и башкирцев выведены в поле и расстреляны картечью. Прочие острижены по-казацки и присоединены к мятежникам. Тринадцать пушек достались победителю.

Известия об успехах Пугачева приходили в Оренбург одно за другим. Едва Веловский успел донести о взятии Илецкого городка, уже Харлов доносил о взятии Рассыпной; вслед за тем Билов, из Татищевой, извещал о взятии Нижне-Озерной; маиор Крузе, из Чернореченской, о пальбе, происходящей под Татищевой. Наконец (28 сентября) триста человек татар, насилу собранные и отправленные к Татищевой, возвратились с дороги с известием об участи Билова и Елагина. Рейнсдорп, испуганный быстротою пожара, собрал совет из главных оренбургских чиновников, и следующие меры были им утверждены:

1) Все мосты через Сакмару разломать и пустить вниз по реке.

2) У польских конфедератов, содержащихся в Оренбурге, отобрать оружие и отправить их в Турецкую крепость под строжайшим присмотром.

3) Разночинцам, имеющим оружие, назначить места для защищения города, отдав их в распоряжение обер-коменданту, генерал-маиору Валленштерну; прочим находиться в готовности, в случае пожара, и быть под начальством таможенного директора Обухова.

4) Сеитовских татар перевести в город и поручить начальство над ними коллежскому советнику Тимашеву.

5) Артиллерию отдать в распоряжение действительному статскому советнику Старову-Милюкову, служившему некогда в артиллерии.

Сверх сего, Рейнсдорп, думая уже о безопасности самого Оренбурга, приказал обер-коменданту исправить городские укрепления и привести в оборонительное состояние. Гарнизонам же малых крепостей, еще не взятых Пугачевым, велено было идти в Оренбург, зарывая или потопляя тяжести и порох.

Из Татищевой, 29 сентября, Пугачев пошел на Чернореченскую. В сей

крепости оставалось несколько старых солдат при капитане Нечаеве, заступившем место коменданта маиора Крузе, который скрылся в Оренбург. Они сдались без супротивления. Пугачев повесил капитана по жалобе крепостной его девки.

Пугачев, оставя Оренбург вправе, пошел к Сакмарскому городку, коего жители ожидали его с нетерпением. 1-го октября из татарской деревни Каргале поехал он туда в сопровождении нескольких казаков. Очевидец описывает его прибытие следующим образом:

«В крепости у станичной избы постланы были ковры и поставлен стол с хлебом и солью. Поп ожидал Пугачева с крестом и с святыми иконами. Когда въехал он в крепость, начали звонить в колокола; народ снял шапки, и когда самозванец стал сходить с лошади при помощи двух из его казаков, подхвативших его под руки, тогда все пали ниц. Он приложился ко кресту, хлеб-соль поцеловал и, сев на уготованный стул, сказал: „*Вставайте, детушки*“. Потом все целовали его руку ‹...›».

В тридцати верстах от Сакмарского городка находилась крепость Пречистенская. Лучшая часть ее гарнизона была взята Биловым на походе его к Татищевой. Один из отрядов Пугачева занял ее без супротивления. Офицеры и гарнизон вышли навстречу победителям. Самозванец, по своему обыкновению, принял солдат в свое войско и в первый раз оказал позорную милость офицерам.

Пугачев усиливался: прошло две недели со дня, как явился он под Яицким городком с горстью бунтовщиков, и уж он имел до трех тысяч пехоты и конницы и более двадцати пушек. Семь крепостей были им взяты или сдались ему. Войско его с часу на час умножалось неимоверно. Он решился пользоваться счастием и 3 октября, ночью, под Сакмарским городком перешел реку через мост, уцелевший вопреки распоряжениям Рейнсдорпа, и потянулся к Оренбургу.

Глава третия

Меры правительства. — Состояние Оренбурга. — Объявление Рейнсдорпа о Пугачеве. — Разбойник Хлопуша. — Пугачев под Оренбургом. — Бердская слобода. — Сообщники Пугачева ‹...›

Оренбургские дела принимали худой оборот. С часу на час ожидали общего возмущения Яицкого войска; башкирцы, взволнованные своими старшинами (которых Пугачев успел задарить верблюдами и товарами, захваченными у бухарцев), начали нападать на русские селения и кучами присоединяться к войску бунтовщиков. Служивые калмыки бежали с форпостов. Мордва, чуваши, черемисы перестали повиноваться русскому начальству. Господские крестьяне явно оказывали свою приверженность самозванцу, и вскоре не только Оренбургская, но и пограничные с нею губернии пришли в опасное колебание.

Губернаторы, казанский — фон Брант, сибирский — Чичерин и астраханский — Кречетников, вслед за Рейнсдорпом, известили государственную Военную коллегию о яицких происшествиях. Императрица с беспокойством обратила внимание на возникающее бедствие. Тогдашние об-

стоятельства сильно благоприятствовали беспорядкам. Войска отовсюду были отвлечены в Турцию и в волнующуюся Польшу. Строгие меры, принятые по всей России для прекращения недавно свирепствовавшей чумы, производили в черни общее негодование. Рекрутский набор усиливал затруднения. Повелено было нескольким ротам и эскадронам из Москвы, Петербурга, Новгорода и Бахмута наскоро следовать в Казань. Начальство над ними поручено генерал-маиору Кару, отличившемуся в Польше твердым исполнением строгих предписаний начальства. Он находился в Петербурге при приеме рекрут. Ему велено было сдать свою бригаду генерал-маиору Нащокину и спешить к местам, угрожаемым опасностию. К нему присоединили генерал-маиора Фреймана, уже усмирявшего раз Яицкое войско и хорошо знавшего театр новых беспорядков. Начальникам окрестных губерний велено было, с их стороны, делать нужные распоряжения. Манифестом от 15 октября правительство объявило народу о появлении самозванца, увещевая обольщенных отстать заблаговременно от преступного заблуждения.

Обратимся к Оренбургу.

В сем городе находилось до трех тысяч войска и до семидесяти орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастию, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело. Оробев с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя средств к наступательным движениям. Оренбург претерпел бедственную осаду, коей любопытное изображение сохранено самим Рейнсдорпом.

Несколько дней появление Пугачева было тайною для оренбургских жителей, но молва о взятии крепостей вскоре разошлась по городу, а поспешное выступление Билова подтвердило справедливые слухи. В Оренбурге оказалось волнение; казаки с угрозами роптали; устрашенные жители говорили о сдаче города. Схвачен был зачинщик смятения, отставной сержант, подосланный Пугачевым. В допросе он показал, что имел намерение заколоть губернатора. В селениях, около Оренбурга, начали показываться возмутители. Рейнсдорп обнародовал объявление о Пугачеве, в коем объяснял его настоящее звание и прежние преступления. Оно было писано темным и запутанным слогом. В нем было сказано, что *о злодействующем с яицкой стороны носится слух, якобы он другого состояния, нежели как есть*; но что он в самом деле донской казак Емельян Пугачев, за прежние преступления наказанный кнутом с поставлением на лице знаков. Сие показание было несправедливо. Рейнсдорп поверил ложному слуху, и мятежники потом торжествовали, укоряя его в клевете.

Казалось, все меры, предпринимаемые Рейнсдорпом, обращались ему во вред. В оренбургском остроге содержался тогда в оковах злодей, известный под именем Хлопуши. Двадцать лет разбойничал он в тамошних краях; три раза ссылаем был в Сибирь и три раза находил способ уходить. Рейнсдорп вздумал употребить смышленого каторжника и чрез него переслать в шайку пугачевскую увещевательные манифесты. Хлопуша клялся в точности исполнить его препоручения. Он был освобожден,

явился прямо к Пугачеву и вручил ему самому все губернаторские бумаги. «Знаю, братец, что тут написано», — сказал безграмотный Пугачев и подарил ему полтину денег и платье недавно повешенного киргизца. Хорошо зная край, на который так долго наводил ужас своими разбоями, Хлопуша сделался ему необходим. Пугачев наименовал его полковником и поручил ему грабеж и возмущение заводов. Хлопуша оправдал его доверенность. Он пошел по реке Сакмаре, возмущая окрестные селения, явился на Бугульчанской и Стерлитамацкой пристанях и на уральских заводах и переслал оттоле Пугачеву пушки, ядра и порох, умножа свою шайку приписными крестьянами и башкирцами, товарищами его разбоев.

5 октября Пугачев со своими силами расположился лагерем па казачьих лугах, в пяти верстах от Оренбурга. Он тотчас двинулся вперед и под пушечными выстрелами поставил одну батарею на паперти церкви у самого предместия, а другую в загородном губернаторском доме. Он отступил, отбитый сильною пальбою. В тот же день по приказанию губернатора предместие было выжжено. Уцелела одна только изба и Георгиевская церковь. Жители переведены были в город, и им обещано вознаграждение за весь убыток. Начали очищать ров, окружающий город, а вал обносить рогатками.

Ночью около всего города запылали скирды заготовленного на зиму сена. Губернатор не успел перевезти оное в город. Противу зажигателей (уже на другой день утром) выступил маиор Наумов (только что прибывший из Яицкого городка). С ним было тысяча пятьсот человек конницы и пехоты. Встреченный пушками, он перестреливался и отступил безо всякого успеха. Его солдаты робели, а казакам он не доверял.

Рейнсдорп собрал совет из военных и гражданских своих чиновников и требовал от них письменного мнения: выступить ли еще противу злодея или под защитой городских укреплений ожидать прибытия новых войск? На сем совете действительный статский советник Старов-Милюков один объявил мнение, достойное военного человека: *идти противу бунтовщиков*. Прочие боялись новою неудачею привести жителей в опасное уныние и только думали защищаться. С последним мнением согласился и Рейнсдорп.

8 октября мятежники выехали грабить Меновой двор, находившийся в трех верстах от города. Высланный противу их отряд прогнал их, убив на месте двести человек и захватив до ста шестнадцати. Рейнсдорп, желая воспользоваться сим случаем, несколько ободрившим его войско, хотел на другой день выступить противу Пугачева; но все начальники единогласно донесли ему, что на войско никаким образом положиться было невозможно: солдаты, приведенные в уныние и недоумение, сражались неохотно; а казаки на самом месте сражения могли соединиться с мятежниками, и следствия их измены были бы гибелью для Оренбурга. Бедный Рейнсдорп не знал, что делать. Он кое-как успел, однако ж, уговорить и усовестить своих подчиненных, и 12 октября Наумов вывел опять из города свое ненадежное войско.

Сражение завязалось. Артиллерия Пугачева была превосходнее числом вывезенной из города. Оренбургские казаки с непривычки робели ядер и жались к городу под прикрытием пушек, расставленных по валу. Отряд Наумова был окружен со всех сторон многочисленными толпами. Он выстроился в каре и начал отступать, отстреливаясь от неприятеля. Сражение продолжалось четыре часа. Наумов убитыми, ранеными и бежавшими потерял сто семнадцать человек.

Не проходило дня без перестрелок. Мятежники толпами разъезжали около городского вала и нападали на фуражиров. Пугачев несколько раз подступал под Оренбург со всеми своими силами. Но он не имел намерения взять его приступом. «*Не стану тратить людей*, — говорил он сакмарским казакам, — *а выморю город мором*». Не раз находил он способ доставлять жителям возмутительные свои листы. Схватили в городе несколько злодеев, подосланных от самозванца; у них находили порох и фитили.

Вскоре в Оренбурге оказался недостаток в сене. У войска и жителей худые и к работе неспособные лошади были отобраны и отправлены частию к Илецкой Защите и к Верхо-Яицкой крепости, частию в Уфимский уезд. Но в нескольких верстах от города лошади были захвачены бунтующими крестьянами и татарами, а казаки, гнавшие табун, отосланы к Пугачеву.

Осенняя стужа настала ранее обыкновенного. С 14 октября начались уже морозы; 16-го выпал снег. 18-го Пугачев, зажегши свой лагерь, со всеми тяжестями пошел обратно от Яика к Сакмаре и расположился под Бердскою слободою, близ летней сакмарской дороги, в семи верстах от Оренбурга. Оттоле разъезды его не преставали тревожить город, нападать на фуражиров и держать гарнизон во всегдашнем опасении.

2 ноября Пугачев со всеми силами подступил опять к Оренбургу и, поставя около всего города батареи, открыл ужасный огонь. С городской стены отвечали ему тем же. Между тем человек тысяча из его пехоты, со стороны реки закравшись в погреба выжженного предместия, почти у самого вала и рогаток, стреляли из ружей и сайдаков. Сам Пугачев ими предводительствовал. Егеря полевой команды выгнали их из предместия. Пугачев едва не попался в плен. Вечером огонь утих; но во всю ночь мятежники пальбою сопровождали бой часов соборной церкви, делая по выстрелу на каждый час.

На другой день огонь возобновился, несмотря на стужу и метель. Мятежники в церкви разложили огонь, истопили избу, уцелевшую в выжженном предместии, и грелись попеременно. Пугачев поставил пушку на паперти, а другую велел втащить на колокольню. В версте от города находилась высокая мишень, служившая целью во время артиллерийских учений. Мятежники устроили там свою главную батарею. Обоюдная пальба продолжалась целый день. Ночью Пугачев отступил, претерпев незначительный урон и не сделав вреда осажденным. Утром из города высланы были невольники, под прикрытием казаков, срыть мишень и другие укрепления, а избу разломать. В церкви, куда мятежники приносили своих раненых, видны были на помосте кровавые лужи. Оклады



Е. И. Пугачев.
Гравюра неизвестного художника. 1775 г.

с икон были ободраны, напрестольное одеяние изорвано в лоскутья. Церковь осквернена была даже калом лошадиным и человечьим.

Стужа усилилась. 6 ноября Пугачев с яицкими казаками перешел из своего нового лагеря в самую слободу. Башкирцы, калмыки и заводские крестьяне остались на прежнем месте, в своих кибитках и землянках. Разъезды, нападения и перестрелки не прекращались. С каждым днем силы Пугачева увеличивались. Войско его состояло уже из двадцати пяти тысяч; ядром оного были яицкие казаки и солдаты, захваченные по крепостям; но около их скоплялось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь была кое-как вооружена, кто копьем, кто пистолетом, кто офицерскою шпагой. Иным розданы были штыки, наткнутые па длинные палки; другие носили дубины; большая часть не имела никакого оружия. Войско разделено было на полки, состоящие из пятисот человек. Жалованье получали одни яицкие казаки; прочие довольствовались грабежом. Вино продавалось от *казны*. Корм и лошадей доставали от башкирцев. За побег объявлена была смертная казнь. Десятник головою отвечал за своего беглеца. Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачев строго наблюдал за их исправностию, сам их объезжая, иногда и ночью. Учения (особенно артиллерийские) происходили почти всякий день. Церковная служба отправлялась ежедневно. На ектении поминали государя Петра Федоровича и супругу его, государыню Екатерину Алексеевну. Пугачев, будучи раскольником, в церковь никогда не ходил. Когда ездил он по базару или по бердским улицам, то всегда бросал в народ медными деньгами. Суд и расправу давал, сидя в креслах перед своею избою. По бокам его сидели два казака, один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю и, перекрестясь, целовали его руку. Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удавленных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя по селениям, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности. Смельчаки подъезжали к рогаткам оренбургским; иные, наткнув шапку на копье, кричали: «*Господа казаки! пора вам одуматься и служить государю Петру Федоровичу*». Другие требовали, чтобы им выдали *Мартюшку Бородина* (войскового старшину, прибывшего в Оренбург из Яицкого городка вместе с отрядом Наумова), и звали казаков к себе в гости, говоря: «*У нашего батюшки вина много!*» Из города противу их выезжали наездники, и завязывались перестрелки, иногда довольно жаркие. Нередко сам Пугачев являлся тут же, хвастая молодечеством. Однажды прискакал он пьяный, потеряв шапку и шатаясь на седле, — и едва не попался в плен. Казаки спасли его и утащили, подхватив его лошадь под уздцы.

Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не

предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом; но наедине обходились с ним как с товарищем и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни. Пугачев скучал их опекою. «*Улица моя тесна*», — говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына. Не терпя постороннего влияния на царя, ими созданного, они не допускали самозванца иметь иных любимцев и поверенных. Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки, при взятии Татищевой, удавили его и бросили с камнем на шее в воду. Пугачев о нем осведомился. «*Он пошел,* — отвечали ему, — *к своей матушке вниз по Яику*». Пугачев молча махнул рукой. Молодая Харлова имела несчастие привязать к себе самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ — похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненные, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, оставались долго в том же положении.

В числе главных мятежников отличался Зарубин (он же и Чика), с самого начала бунта сподвижник и пестун Пугачева. Он именовался фельдмаршалом и был первый по самозванце. Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предводительствовали войском. Все они назывались именами вельмож, окружавших в то время престол Екатерины: Чика графом Чернышевым, Шигаев графом Воронцовым, Овчинников графом Паниным, Чумаков графом Орловым. Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца. Он вместе с Падуровым заведовал письменными делами у безграмотного Пугачева и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков. Перфильев, при начале бунта находившийся в Петербурге по делам Яицкого войска, обещался правительству привести казаков в повиновение и выдать самого Пугачева в руки правосудия; но, приехав в Берду, оказался одним из самых ожесточенных бунтовщиков и соединил судьбу свою с судьбою самозванца. Разбойник Хлопуша, из-под кнута клейменный рукою палача, с ноздрями, вырванными до хрящей, был один из любимцев Пугачева. Стыдясь своего безобразия, он носил на лице сетку или закрывался рукавом, как будто защищаясь от мороза. Вот какие люди колебали государством! <...>

А. П. Крюков

РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ

I

Бабушка моя (скончавшаяся лет пять тому назад, на 81 году своей жизни) провела всю свою молодость в пограничных местечках Оренбургской линии, где отец и супруг ее были офицерами в гарнизонах. Эти местечки и теперь могут служить живыми образцами бедных городов древней Руси, а лет за шестьдесят или более они лепились по крутизнам Уральского берега, как гнезда ласточек по кровле крестьянского дома, будучи подобно им выстроены из обломков и грязи. Можно представить себе, какие блестящие общества заключались в таких великолепных жилищах и как далеко простиралось в них знание светских приличий — этот мишурный блеск, которым ныне гордятся не только столицы, но и бедные уездные городки. Впрочем, хотя бабушка моя во время своей молодости вовсе не читала романов (потому что не умела читать) и в глаза не видала тогдашних придворных любезников, но простое сердце ее не было черство, а простой ум умел различать белое от черного, доброе от худого. Мать-природа, щедро наделившая мою бабушку нравственными красотами, не забыла позаботиться и о телесных ее качествах; так что, по свидетельству моего дедушки, она, в свое время, была румяна, как ночью пущенная бомба, бела, как солдатская перевязь, стройна, как флигельман, сладкогласна, как походная флейта, весела, как бивачный огонь, и, что всего лучше, верна, как палаш, который носил он с честию с лишком тридцать пять лет. Нрав моей бабушки, как мне удалось слышать от людей посторонних, был чувствителен, но не слишком робок. Может быть, подобно нынешним романическим красавицам, она падала бы в обморок даже от появления какой-нибудь мышки, если б всегдашняя жизнь между воинственными народами и кровавые сцены, весьма нередко свершавшиеся перед нею, не придали характеру ее довольно твердости не только для перенесения маловажных неприятностей, но и для самой борьбы с существенными бедствиями жизни. Хотя нельзя сказать, чтобы она, как спартанка, была слишком скупа на теплую воду, называемую слезами, но малодушные слезы не были для нее единственным орудием противу обид людей или рока. Проливая их, она не забывала и других, более действительных средств защиты; так что при вражеских нападениях она, как женщина, рыдала, как женщина с духом — дралась.

Такова была бабушка моя в молодости. Впоследствии, живучи в больших городах и видя свет во всех его изменениях, она образовала природный ум свой беседами людей просвещенных; узнала и светских льстецов, и светских любезников, и даже научилась читать и писать; но в обращении и в речах ее остались еще оттенки простоты старого века и то лю-

безное прямодушие, которого уже почти не видим мы между нынешними стариками.

Читатель простит меня за сии подробности о моей бабушке, если узнает, что в детстве я был ее любимцем: при ней рос, при ней учился, при ней начинал чувствовать склонность ко всему прекрасному, уважение ко всему высокому и святому. Хотя в это время она, разумеется, уже нисколько не походила на лестный портрет, начертанный мною по рассказам моего дедушки: была стара, седа, почти слепа и сутуловата, но в голосе ее сохранились еще звуки, доходящие до глубины сердца; а на лице из-за глубоких морщин проглядывали черты добродушия и любезности, не истребленных в душе ее ни горестями, ни годами. С заботливостию матери старалась она ободрять склонность мою к наукам — и в простоте своей думала, что чтение книг — каких бы то ни было — более всего служит к просвещению юного разума и к образованию юного сердца. Как *молодое* дитя, я любил читать романы и сказки; как дитя *старое*, она (вот доказательство ее чувствительности) любила их слушать. Вымышленные бедствия некоторых романических героев сильно трогали ее сердце. Она их помнила и с милым простосердечием сетовала иногда об них как о бедствиях мира существенного.

Однажды я читал ей какую-то повесть, в которой своенравное перо автора изобразило бедствия девушки, увлеченной разбойниками в их пещеру. Никогда еще моя бабушка не бывала в глазах моих столь сильно растрогана, как при чтении сих романических бредней. Сначала участие, которое принимала она в судьбе мечтательной пленницы, обнаруживалось только отрывистыми восклицаниями и вздохами; но наконец она зарыдала так горько, что, почитая слезы ее припадком болезненным, я бросил интересное чтение и кинулся к ней на помощь. «Что с вами сделалось, бабушка? О чем вы плачете, не больны ли вы?»

— Нет, дитя мое, не беспокойся. Я плачу об *ней* бедненькой. Ах! Ведь и со мной в старину было почти то же, что с нею!

— Как, бабушка! И вы видали разбойников? Так разбойники увозили и вас в пещеру?

— Да, дитя мое. На веку моем я испытала и горькое и сладкое... Много, много. Темные времена бывали, дитя мое.

— Ах! Бабушка! Милая, любезная бабушка! Расскажите мне о временах темных, расскажите, как разбойники увозили вас в лес дремучий... Все, все расскажите, любезная бабушка!

— Ладно, дитя мое. Я расскажу тебе все. Только не теперь. Воспоминания старины сильно растрогали мое сердце. Мне нужно успокоиться. Завтра, дитя мое.

«Завтра!» — повторил я, вздохнувши; и — с нетерпением любовника, который под благосклонным сумраком ночи легонько стучится в потаенную дверь своей милой, — ожидал любопытный ребенок этого обетованного *завтра!* Наконец оно наступило. За днем, проведенным в учении и забавах, последовал вечер, и какой вечер? Темный, ненастный, с проливным дождем, с сильным ветром; короче, со всею свитою угрюмого

октября, в начале которого это случилось. Но между тем как по улице скрыпели ворота и ставни, шумел дождь и гудела осенняя буря — в комнате моей бабушки, как в келье святого отшельника, царствовала приютная безмятежность. Так тусклые лучи горевшей пред иконою лампады освещали занимательную картину: в дубовых наследственных креслах сидела (несколько боком к свету) 70-летняя старушка, высокая и сухощавая, с бледным патриархальным лицом, в белом капоре и в темной одежде. Не оставляя своей всегдашней работы *вязать чулок*, она рассказывала (отчасти с жаром, отчасти с усмешкою) длинную повесть мальчику лет 12 или более, который сидел противу нее на низеньком табурете и, опершись подбородком на обе руки, не спускал глаз своих с лица почтенной рассказчицы. Каждое слово ее было поймано его детским вниманием и брошено в хранилище памяти, не ослабленной еще ни заботами, ни страстями. У ног мальчика лежал большой черный кот *Васька*, любимец и внучка и бабушки, который, вовсе не обращая внимания на рассказы госпожи своей, лениво перекатывал одною лапкою клубок ниток, упавший с колен ее.

Конечно, нет такого читателя, который бы не догадался, что описанная мною старуха была моя бабушка, а 12-летний мальчик — я сам. Мне-то, милостивые государи, по предварительному обещанию рассказывала она следующую *старинную быль*, которую постараюсь передать вам в собственных выражениях рассказчицы, свидетельствуя при том, что одною из главных ее добродетелей была величайшая любовь к истине.

II

Давно, очень давно (так начала моя бабушка свою повесть), в то время, когда мне было еще не более шестнадцати лет, жили мы — я и покойный мой батюшка — в крепости Нижне-Озерной, на Оренбургской линии. Надобно тебе сказать, что эта крепость нисколько не походила ни на здешний город Симбирск, ни на тот уездный городок, в который ты, дитя мое, ездил прошлого года: она была так невелика, что и пятилетний ребенок не устал бы, обежавши ее вокруг; домы в ней были все маленькие, низенькие, по большей части сплетенные из прутьев, обмазанные глиною, покрытые соломою и огороженные плетнями. Но *Нижне-Озерная* не походила также и на деревню твоего батюшки, потому что эта крепость имела в себе, кроме избушек на курьих ножках, старую деревянную церковь, довольно большой и столь же старый дом крепостного начальника, караульню и длинные бревенчатые хлебные магазейны. К тому же крепость наша с трех сторон была обнесена бревенчатым тыном, с двумя воротами и с востренькими башенками по углам, а четвертая сторона плотно примыкала к Уральскому берегу, крутому, как стена, и высокому, как здешний собор. Мало того, что Нижне-Озерная была так хорошо обгорожена: в ней находились две или три старые чугунные пушки да около полусотни таких же старых и закоптелых солдат, которые хотя и были

немножко дряхленьки, но все-таки держались на своих ногах, имели длинные ружья и тесаки — и после всякой вечерней зари бодро кричали: *с богом ночь начинается*. Хотя нашим инвалидам редко удавалось показывать свою храбрость, однако ж нельзя было обойтись и без них; потому что тамошняя сторона была в старину весьма беспокойна: в ней то бунтовали башкиры, то разбойничали киргизцы — все неверные бусурманы, лютые как волки и страшные как нечистые духи. Они не только что захватывали в свой поганый плен христианских людей и отгоняли христианские табуны; но даже подступали иногда к самому тыну нашей крепости, грозя всех нас порубить и пожечь. В таких случаях солдатушкам нашим было довольно работы: по целым дням отстреливались они от супостатов с маленьких башенок и сквозь щели старого тына. Покойный мой батюшка (получивший капитанский чин еще при блаженной памяти императрице Елисавете Петровне) командовал как этими заслуженными стариками, так и прочими жителями Нижне-Озерной — отставными солдатами, казаками и разночинцами; короче сказать, он был по-нынешнему комендантом, а по-старинному *командиром* крепости. Батюшка мой (помяни господи душу его в царстве небесном) был человек старого века: справедлив, весел, разговорчив, называл службу матерью, а шпагу сестрою — и во всяком деле любил настоять на своем. Матушки у меня уже не было. Бог взял ее к себе, прежде нежели я выучилась выговаривать ее имя. Итак, в большом командирском доме, о котором я тебе говорила, жили только батюшка, да я, да несколько старых денщиков и служанок. Ты, может быть, подумаешь, что в таком захолустье было нам весьма скучно. Ничего не бывало! Время и для нас так же скоро катилось, как и для всех христиан православных. Привычка, дитя мое, украшает всякую долю, если только в голову не заберется всегдашняя мысль, что *там хорошо, где нас нет*, как говорит пословица. К тому же скука привязывается по большей части к людям праздным; а мы с батюшкою редко сиживали поджав руки. Он или *учил* своих любезных солдат (видно, что солдатской-то науке надобно учиться целый свой век!), или читал священные книги, хотя, правду сказать, это случалось довольно редко, потому что покойник-свет (дай ему бог царство небесное) был учен по-старинному — и сам, бывало, говаривал в шутку, что грамота ему не далась, как турку пехотная служба. Зато уж он был великий хозяин — и за работами в поле присматривал все своим глазом, так что в летнюю пору проводил бывало целые божии дни на лугах и на пашнях. Надобно тебе сказать, дитя мое, что как мы, так и прочие жители крепости сеяли хлеба и косили сена — немного, не так, как крестьяне твоего батюшки, но столько, сколько нам было нужно для домашнего обихода. Об опасности, в какой мы тогда жили, ты можешь судить и по тому, что земледельцы наши работали в поле не иначе как под прикрытием значительного конвоя, который должен был защищать их от нападений киргизцев, беспрестанно рыскавших около линии, подобно волкам голодным. Потому-то присутствие батюшки моего при полевых работах было нужно не только для одной их успеш-

ности, но и для безопасности работающих. Ты видишь, дитя мое, что у батюшки моего было довольно занятий. Что же касается до меня, то и я не убивала времени напрасно. Без похвальбы скажу, что, несмотря на мою молодость, я была настоящею хозяйкой в доме, распоряжалась и в кухне и в погребе, а иногда, за отсутствием батюшки, и на самом дворе. Платье для себя (о модных магазинах у нас и не слыхивали) шила я сама; а сверх того, находила время починивать батюшкины кафтаны, потому что ротный портной Трофимов начинал уже от старости худо видеть, так что однажды (смешно, право, было) положил заплатку мимо прорехи, на целое место. Успевая таким образом отправлять мои домашние делишки, я никогда не пропускала случая побывать в божием храме, если только наш отец Власий (прости ему, господи) не поленится, бывало, отправить божественную литургию.

Впрочем, дитя мое, ты ошибаешься, если думаешь, что я и батюшка жили в четырех стенах одни, ни с кем не знаясь и не принимая к себе людей добрых. Правда, нам редко удавалось хаживать в гости; зато батюшка был большой хлебосол, а у хлебосола бывает ли без гостей? Каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу старик-поручик, казачий старшина, отец Власий и еще кой-какие жители крепости — всех не припомню. Все они любили потягивать вишневку и домашнее пиво, любили потолковать и поспорить. Разговоры их, разумеется, были расположены не по книжному писанью, а так, наобум: бывало, кому что придет в голову, тот то и мелет, потому что народ-то был все такой простой... Но о покойниках надобно говорить одно только хорошее, а наши старые собеседники давно, давно уже покоятся на кладбище.

Следуя старинному обыкновению, я никогда почти не показывалась гостям моего батюшки, да и не слишком того желала, потому что эти старики с их громогласными рассуждениями не могли нравиться девушке моих лет. Мне гораздо было приятнее коротать длинные зимние вечера с несколькими молоденькими подружками, которые прихаживали ко мне и в будни и в праздники с своими прялками и чулками. Несмотря на то что они по большей части были дочери простых родителей: казаков или солдат, я обходилась с ними дружески и простотою моею успела приобрести их доверенность и любовь. Бывало, усевшись в тесный кружок, мы или поем песни, или рассказываем друг другу разные были и небывальщины, или гадаем, разумеется, о том, скоро ли каждая из нас выйдет замуж. Скажу тебе, дитя мое, что где только сойдутся вместе две или три девушки, там уж верно начинаются между ними толки о женихах, — и, знать, такова наша натура слабая, что мы никак не можем изжить своего века, не гадая, не думая о мужчинах. Так и в нашем маленьком кругу любимым предметом для разговоров были немногие молодые люди, которые слыли в крепости женихами. Простодушные подруги мои весьма откровенно высказывали в таком случае свои сердечные тайны, и каждая из них хвалила какого-нибудь молодчика, который нравился ей более прочих. Иная, например, по-

читала первым в свете щеголем и красавцем молодого дьячка за то, что он ходил в голубом длинном кафтане и гладко причесывал голову; другая предпочитала ему казачьего хорунжего, с его черненькими усиками и алым шелковым кушаком; третья, напротив, думала, что хотя казачий старшина и не так уж молод, но заткнет за пояс всякого хорунжего, у которого только что пробивается пушок на подбородке. Слушая моих подружек, я не спорила с ними о достоинствах их женихов и не хвалила ни одного... Но и у меня был уже на примете молодчик, который, с некоторого времени, так овладел всеми моими мыслями, что я даже видела его и во сне. Это был молодой драгунский офицер, недавно прибывший в Нижне-Озерную с отрядом драгун для подкрепления нашего дряхлого гарнизона. Несколько раз случалось мне его видеть, то на улице, едущего на бодром коне, то в церкви, то сквозь замочную скважину в комнате моего батюшки — и сердце мое всякий раз говорило, что он самый бравый, самый любезный молодой человек. Всего более нравились мне в нем мужественная осанка, высокий и стройный стан, черные глаза и черные кудри, которые в старину почитались первыми красотами в мужчине. Как бы то ни было, волею или неволею, я не могла уже выкинуть из мыслей моих драгунского офицера. Днем думала об его черных глазах, ночью они виделись мне во сне. Он был тем для меня милее, что и батюшка мой всегда отзывался об нем с великою похвалою. Сердечный мой так успел понравиться старику, что он никакого гостя не принимал к себе с большею ласкою и радушием, как его. Что касается до меня, то сколько я ни была в то время проста и неопытна, однако ж догадывалась, что красавец мой ко мне неравнодушен. Если бы он меня не любил, думала я, то зачем бы ему смотреть на меня во время божией службы или зачем бы ему беспрестанно ездить мимо окон нашего дома, как будто в целой крепости нет уж для него другой лучшей дороги. Впрочем, думая таким образом, я иногда и сомневалась в любви его. Случалось ли, например, мне не видеть его целый день, я становилась печальна, изредка даже и плакала, твердя: он меня забыл, он меня не любит. Такова-то любовь, дитя мое: она в одно и то же время радуется и печалится, верит и сомневается, смеется и плачет.

Итак, подружки мои не знали, что есть молодчик, которого я предпочитала не только их неотесанным женихам, но и всем красавцам белого света. Я была на этот раз так скрытна, что таилась даже и пред *бабушкою-мельничихою*, всегдашнею моею собеседницею, поверенною и другом. Но кто такова бабушка-мельничиха? — спросишь ты. Виновата, дитя мое: мне бы должно прежде всего познакомить тебя с этою старухою, которая очень много участвовала в моих приключениях. *Бабушка-мельничиха* была старая вдова одного из жителей крепости, который когда-то был мельником, почему и осталось при ней прозвище прежнего его ремесла. В то время, о котором я теперь говорю, она жила своим домом, имела изрядный достаток и пользовалась в кругу своем особенным уважением, которое приобрела своим умом, расторопностию и бойким нравом. Она была женщина высокая, дородная и, несмотря

на 60 лет, лежавших у нее за плечами, потягалась бы силою и молодечеством со всяким добрым детиною. Большая часть жителей крепости была той веры, что бабушка-мельничиха живет *неспроста*, потому что она умела и бобами разводить, и в воду глядеть, знала и привороты и отвороты, и всякие лекарственные зелья. Но такая слава о мельничихе была нисколько не справедлива — и она столько же много ведалась с нечистым духом, как и всякий добрый христианин, который ходит в храм божий, исповедуется и приобщается св. таин. Да и сама *бабушка-мельничиха* мне говаривала весьма часто, что она гадает не по дьявольскому наваждению, а с помощью святой молитвы господней. Как бы то ни было, я любила ее как родную мать свою, потому что она, будучи особенно привязана к нашему дому, взлелеяла меня на руках своих, выучила хозяйству и рукодельям и всегда с охотою оставляла все свои домашние работы, чтобы сокращать для меня скучные зимние вечера любопытными рассказами о временах старинных. Хотя благодарность и обязывала меня не скрывать ничего от этой доброй старухи, но я не могла принудить себя открыть ей мое сердечное горе. Однако ж бабушку-мельничиху не так-то легко было провести. В один вечер, когда я одна-одинехонька сидела в моей светлице, думая и гадая о молодом драгунском офицере, пришла она и, севши подле меня, взявши меня за руки и посмотревши пристально мне в глаза, спросила меня тихим голосом: «Что, Настенька, видела ли ты молодого драгунского офицера?» Я вспыхнула — и запинаясь отвечала: «Да, бабушка». — «Нравится ли он тебе, дитятко?» Что мне было сказать? я немножко призадумалась и опять отвечала: «Да, бабушка». — «Ну, так дело паше и слажено, — сказала старуха. — Ведь он любит тебя без памяти, дитятко. Он хочет сватать тебя у батюшки». — «Как, бабушка? — вскричала я, не думая скрывать своей радости. — От кого ты это узнала?» — «От него самого, дитятко. Он молодец откровенный, не так как ты — моя сударушка: таилась целую неделю и думала, обманываешь меня, как будто уж я ничего и не вижу. Да ладно, — продолжала старуха, — приготовляй-ко приданое, матка-свет. Ведь я недаром пришла к тебе, а сватать. Думать-то нечего: молодец он прекрасной, во всем тебе пара — и его, как будто нарочно для тебя, занес бог в наше убогое захолустье». Не нужно тебе сказывать, дитя мое, что известие бабушки-мельничихи сильно обрадовало меня, и, оставшись опять наедине, я со слезами благодарила матерь пресвятую богородицу за неожиданное счастие, которое она, моя владычица, мне посылала. На другой день, около полудня, я увидела в окно, что к моему батюшке пришли сперва бабушка-мельничиха, потом молодой драгунский офицер, увидела — и сердце мое сильно забилось. Вскоре громкий голос батюшки позвал меня к нему. Там, между им и бабушкой-мельничихой, сидел мой красавец. «Подойди сюда, Настя! — вскричал мой батюшка, когда я вошла. — Подойди, не бойся. Полно сидеть тебе в девках да нянчиться с старым дураком, твоим отцом. Вот тебе жених (продолжал он, толкнувши меня к драгунскому офицеру). Вот тебе жених — и не будь я капитан Шпагин, если ты не будешь такою же доброю женою, как покойная твоя мать».

Между тем как батюшка говорил эти речи, мой суженый опрометью кинулся ко мне и впопыхах зацепил бабушку-мельничиху тяжелым своим палашем, а мне мой сердечный наступил на ногу — и так больно, что я принуждена была вскрикнуть. Я не буду распространяться о том, что и как после этого было. Довольно тебе знать, что отец Власий обручил меня с моим возлюбленным золотыми колечками и что в светлице моей начали каждый вечер сбираться красные девушки шить приданое и петь свадебные песни. В это время жених мой был при мне почти безотлучно. Узнавая его покороче, я уверилась, что он и по уму и по сердцу столь же достоин любви, как и по молодецкому виду; между тем как он и я смотрели в глаза друг другу, батюшка мой без памяти хлопотал о будущем свадебном пире, которым он хотел удивить нашу Нижне-Озерную крепость. Никогда еще старик мой не был так жив, так добр, так радостен, как при этих занимательных для него сборах. Свадьбы нашей откладывать не хотели. Ожидали только моему любезному позволения на брак от его командиров и нимало не сомневались, что оно придет очень скоро. Но вдруг, вместо этого позволения, получаем строгий командирский приказ: поручику Бравину (так звали моего жениха) немедленно выступить с своим отрядом в Оренбург.

Ты не можешь себе представить, дитя мое, как всех нас опечалила эта новость. Какое-то тайное предчувствие говорило моему сердцу, что я теряю моего друга надолго, надолго, если не навсегда. При прощании с ним я рыдала; он утешал меня, но в черных глазах его тоже блистали крупные слезы. Даже плакала бабушка-мельничиха; даже плакал мой батюшка, а это случилось в другой только раз его жизни: в первый раз плакал он, засыпая землею матушкину могилу. Мы сами дивились, как можно так печалиться, расставаясь с человеком, который отлучается только за сто верст и на короткое время. Но души наши предчувствовали бедствия, которые издалека уже сбирались над нашими головами.

Вскоре после отъезда моего жениха достигла до нашей крепости страшная молва о пугачевщине. Говорили много, и вести были различные: одни утверждали, что это или сам дух нечистый, или отродье нечистого духа, что все адские силы за ним следуют, истребляя бедный народ христианский; другие, напротив, рассказывали, что он такой же человек, как и все люди; но храбр, предприимчив и зол как нечистые духи; были между народом и такие глупцы, которые верили, что Емелька Пугач действительно блаженной памяти император Петр Федорович, за которого он себя выдавал. Но все были согласны в том, что Пугачев, собравши рать-силу несметную, затопил ею почти половину матушки России и свирепствует как лютый пожар в лесу дремучем. Всего более наводили на нас ужас рассказы, что Пугачев казнит и вешает всех государственных чиновников, всех дворян, всех людей благородных, что он позорит жен, убивает детей их, не щадя и младенцев невинных. Что пощаду оказывает только одним простолюдинам, которые встречают его с хлебом и с солью. Таковы, дитя мое, были вести, поразившие всех

нас страхом и ужасом. К несчастию, они были по большей части справедливы, как после мы уверились в том собственными глазами.

Не лишнее будет рассказать тебе, кто в самом деле был этот Пугачев и какие страшные дела навлекли на него проклятие людей и гнев милосердного бога. Пугачев, или *Емелька Пугач*, как обыкновенно называли его все добрые люди, был сначала простой и бедный уральский казак, который, попавшись несколько раз в краже лошадей и вытерпев за то доброе наказание, бежал из своей родины, где его все ненавидели и презирали как злого и непутного человека. Лукавый ли помог ему впоследствии приобрести великую власть над своими земляками, или уж господь бог захотел наказать этим человеком наше православное государство — не знаю; но, как бы то ни было, он успел взбунтовать противу законной власти целое уральское казачье войско. Впрочем, скажу тебе, дитя мое, что уральцы, закоренелые в расколе, были в старину всегда склонны к возмущениям и разбоям. Довольно было одной только маленькой искры, чтобы зажечь между ими ужасный пожар мятежа. С этими-то неукротимыми и буйными изуверами кинулся Пугачев на беззащитные приволжские стороны. Покорить их было ему нетрудно, потому что слабые отряды внутреннего войска не могли противустать его огромной и вооруженной шайке; а жители, испуганные такою внезапною грозою, искали спасения в бегстве, вовсе не думая о защите. Кто оказывал хотя малейшее сопротивление, тот неминуемо подвергался мучительной смерти. Все помещики, все зажиточные дворяне, все служивые люди, которых несчастная судьба предавала в руки злодеям, умирали смертию мучеников на виселицах, на колесах, на плахах. Имение их было расхищено, жёны и дочери поруганы, малолетние дети оставлены ходить по миру. Страшно и подумать, дитя мое, как много почтенных, благородных семейств было расстроено, разорено, уничтожено в это несчастное время. Но Пугачев не оставался при одних грабежах обыкновенных; беспрестанно увеличивая свои силы новыми мятежными шайками казаков и даже многими тысячами крестьян бестолковых, прельщавшихся его обещаниями и надеждою богатой добычи, он захватывал в свою власть целые многолюдные города, каковы, например: Уфа, Казань и наш родимый Симбирск. Он даже держал в долгой осаде Оренбург, спасшийся одними только своими высокими стенами, потому что незавидное войско, защищавшее этот город, вовсе не могло бы тягаться с ужасною шайкою Пугачева, который между тем успел привести ее в такой порядок, что в ней, как в какой-нибудь армии, были и пушки, и пушкари, и пешие стрельцы, и конные наездники. Пугачев был так дерзок, дитя мое, что, прежде нежели матушка покойная государыня, узнав о его богопротивных делах, послала настоящее храброе войско свое разогнать эту буйную сволочь и захватить нового *Тушинского вора*, он успел обойти почти целую треть государства, и между тем как главные бунтовщики свирепствовали в больших городах и осаждали оренбургские стены, другие отдельные их шайки под предводительством таких же разбойников, как и *Емелька Пугач*, рассыпавшись по селениям и местечкам, своевольничали и буянили там на при-

волье. К счастию нашей маленькой крепости (пора уж мне продолжать рассказывать тебе о том, что делалось в ней), к счастию, повторю, после начала бунта она долго еще оставалась спокойною и не видала в деревянной ограде своей гостей незваных. Причиною тому было уединенное ее положение, а всего вернее воля всевышнего, хранившего еще нас под святым своим покровом.

Слушая первые известия о Пугачеве, покойный батюшка не хотел нисколько им верить, называя их бабьими бреднями и даже запрещая говорить об них. Но эти известия с каждым днем подтверждались; а наконец батюшка получил и командирский приказ, которым было велено защищать крепость от нападения бунтовщиков и наблюдать всякую осторожность. Тогда старик мой засуетился о том, чтобы крепость наша и вся команда были готовы на всякой случай. При неусыпных его стараниях вскоре крепостной тын был починен, старые пушки, в которых воробьи повили себе гнезда, вытащены из анбара и расставлены в местах опасных, ворота крепости заколочены наглухо, и, где только можно было поставить часового, там уж верно стоял часовой. Между тем батюшка беспрестанно толковал своим драбантам и прочим жителям крепости, как поступать в случае нападения разбойников. Верные солдаты клялись умереть за матушку-государыню, но казаки (не явно, а тишком) толковали другое: «Что-ста нам, — говорили они, — идти безумно на верную смерть. Плеть обуха не перешибет. Покориться будет здоровее. Нам-ста все равно служить кому бы то ни было, лишь бы давали жалованье да провиант. Нам кто ни поп, тот и батька. Не подымем рук на своих земляков и товарищей». К несчастию, батюшка вовсе не слыхал этих толков — и не подозревал ничего. Ах! что бы ему вытолкать из крепости это змеиное племя и остаться одному с своими верными инвалидами!

После таких приготовлений мы еще довольно долго оставались спокойными, что я говорю? спокойными! Мы, а более всех я, бедная, не знали покоя ни днем ни ночью, беспрестанно ожидая прибытия гостей ужасных. О моем женихе не было ни слуху ни духу, и в одних только теплых молитвах пред иконою божией матери находила я отраду для моего сердца. Немало также ободряла меня бабушка-мельничиха, почти не покидавшая светлицы моей в это печальное время. Не унывая ни в каких обстоятельствах жизни, она была всегда шутлива, всегда разговорчива, но при всем том с невероятною проницательностию умела предусматривать всякую опасность и заранее придумывать средства, как бы ее отвратить. «Горем беде не пособить, дитятко мое, — говаривала она мне. — К тому же явной беды еще нет. Разбойников мы не видим. Принесет ли их сюда нелегкая: бог весть. Улита едет, когда-то будет. А мы между тем, надеясь на бога, поживем в радости, а не в печали. Век долог, всем полон. Успеем еще и наплакаться, если богу будет угодно». Впоследствии я узнала, что этой старухе были известны все злонамеренные толки казаков наших и что она говорила об них моему батюшке, но батюшка не хотел ее слушать. Так мы жили, ожидая беды.

В одну ночь (это случилось в начале марта месяца) вдруг была я разбужена барабанным боем и шумом, похожим на шум пожара. В страхе вскакиваю с постели, бегу в горницу батюшки: его там нет; выбегаю за ворота: на улице все мрачно и пусто, только вдали раздается барабанный бой, шум шагов и многие голоса. Вот кто-то бежит мимо меня. Спрашиваю: что сделалось? Прохожий отвечает торопливо: «*Пугач пришел*» — и бежит далее. «*Пугач пришел!*» — это слово было для меня громовым ударом. В величайшем ужасе возвратилась я в мою горницу и пала пред иконою богоматери с молитвою и слезами.

Тут собрались около меня все наши дворовые женщины, которые, сильно дрожа от страха, кое-как рассказали мне некоторые подробности о батюшке. В самую полночь прибежал к нему испуганный солдат с известием, что около крепости показалась толпа конных людей. Старик, дремавший во время опасности одним только глазом, тотчас схватил свою длинную шпагу и отправился из дому, чтобы поставить на поле весь гарнизон. Меня велел он разбудить только в таком случае, когда близко будет какая-нибудь опасность. Эти рассказы несколько ободрили меня. Беда, по-видимому, не так еще велика, чтобы отчаиваться, думала я. Да и в самом деле, полезут ли разбойники прямо на наши пушки и ружья? и как они попадут в крепость, закупоренную со всех сторон, как пивной бочонок? хотя они и прославились бесовскими делами, однако ж все-таки едва ли есть у них крылья, как у нечистых духов, чтобы перелететь через тын нашей крепости. Так утешала я себя, оправляясь после первого ужаса. Но, господи боже мой! вот раздается ружейный выстрел... вот другой, вот третий. Вот и шум вдали делается ужаснее и сильнее. Что делать? Куда бежать? Женщины мои затолковали, что в эдакой беде лучше всего забраться на чердак, или в баню, или куда-нибудь еще дальше. Но вдруг дверь моей горницы отворилась с шумом — и все мы, как которая стояла, так та и рухнулась на пол. Однако ж вошедший человек был не разбойник, а добрый старик — сержант нашего гарнизона. Царица небесная! какой страх! какой ужас! голова у старика расшибена; по лицу текут целые ручьи крови. «Спасайся, беги, барышня! — вскричал он задыхаясь. — Беги к Уралу; беги в лес; беги куда хочешь — только не оставайся в этом старом гнезде. Все погибло! все потеряно!» — «Боже мой! где же батюшка?» — «Батюшка! — подхватил старик, охая и падая на стену. — Да! ты когда-нибудь с ним увидишься; только не скоро! будь прокляты эти разбойники; будь проклято все их племя неверное... Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй меня! свет темнеет в глазах моих... Прощай, божий свет... Прощайте, все добрые люди... беги, барышня...» Старик перекрестился и мертвый упал к ногам моим. Тут оставила меня и последняя бодрость. Ноги мои подогнулись, сердце замерло, слезы остановились в глазах, язык не мог пролепетать и молитвы господней. В оцепенении ужаса ожидала я смерти мучительной. Шум на улице делался поминутно сильнее, и вскоре, смешавшись с воем собак, превратился в ужаснейший крик. Уже можно было различать голоса; уже кто-то ударил сильною рукою в самые ворота нашего дома... В это

мгновение вошла ко мне бабушка-мельничиха. «Пойдем отсюда», — сказала она, взяв меня за руку...

Тут моя бабушка вдруг прервала свой рассказ. Причиною тому был кот Васька, который, разыгравшись клубком ниток, начал сильно тянуть его к себе; а как этот клубок непосредственно соединялся с бабушкиным чулком, то и чулок, выскочив из рук старушки, очутился в лапах блудливого Васьки. «Васька, вор! — вскричала моя бабушка. — Что ты делаешь? Зачем отнял у меня чулок?» — «Васька, плут! — сказал я. — Зачем вырвал у бабушки ее работу?» И с этими словами освободил чулок из лап черного шалуна. Когда наконец все было приведено в надлежащий порядок, то бабушка моя начала продолжать свою повесть.

На чем бишь я остановилась? (сказала моя бабушка). Да! Между тем как шум и гам раздавался уже у самых наших ворот, бабушка-мельничиха, взяв меня за руку, вышла со мною в маленькую заднюю калитку и темными переулками привела меня к своему дому. Дорогою слышали мы многие голоса и ружейные выстрелы, и так близко от нас, что я каждую минуту оглядывалась назад, не доверяя спокойному виду своей спутницы, которая шла хотя довольно скоро, но без всякой торопливости. Дом бабушки-мельничихи находился на берегу Урала, в самом углу нашей крепости, или лучше сказать за крепостью, потому что он отделялся от чистого поля одним только впадающим в Урал крупным оврагом, внизу которого журчал ручеек. Надобно сказать тебе, что этот дом был лучший изо всех обывательских домов в Нижне-Озерной. Он заключал в себе две бревенчатые избы, разделенные большими сенями, как обыкновенно бывает в крестьянских домах. Крутая крыша его, отличавшаяся некоторым родом слухового окна, уступала вышиною разве одной только церковной колокольне. Но всего замечательнее было в доме бабушки-мельничихи то, что на крытом дворе этого дома, занимавшем острый мыс между берегом Урала и оврагом, было так много построено клетей и закоулков всякого рода, что их можно сравнить с теми подземельями старинных рыцарских замков, о которых мы недавно с тобой читали. К сим странным строениям принадлежала также и водяная мельница, находившаяся в самой глубине оврага, так что к ней не иначе можно было подойти, как по узенькой, весьма крутой и опасной тропинке. Некоторые из закоулков в доме бабушки-мельничихи были известны одной только хозяйке, и старые болтуньи нашей крепости уверяли, что в этих-то потаенных местах совершает чудная старуха свои чародейские затеи. «Там, — говорили они, — в каждой клетушке заперто по нечистому духу, и мельничихе стоит только свистнуть, чтобы все они явились к ее услугам». Я уже говорила тебе, дитя мое, что я

вовсе не верила этим пустым рассказам, но, признаюсь, в печальную ночь моего бегства из дома родительского я желала, чтобы бабушка-мельничиха имела хоть малую часть той сверхъестественной силы, которую ей приписывали, и эту силу употребила бы на сокрушение злобных врагов, разрушивших мирное спокойствие нашей крепости; всего более беспокоила меня участь моего батюшки — и сколько ни желала я узнать, что с ним сделалось, но не смела спросить о том у бабушки-мельничихи, боясь услышать какую-нибудь страшную весть. Вот уже мы достигли ворот ее дома, которые отворила нам странная и уродливая фигура, с широким черномазым лицом, с белыми сверкающими глазами и с огромным ртом, достигавшим почти до самых ушей. Это был работник бабушки-мельничихи, киргизец, именем *Бурюк*, по виду — самая глупая тварь, но на деле малый столь сметливый и расторопный, что подобного редко найдешь и между русскими. «Все ли готово?» — спросила его моя спутница. Вместо ответа кивнул он мохнатою головою. «Хорошо, — продолжала она, — теперь ступай в свою конуру и не показывайся этим собакам, которые, чай, скоро к нам нагрянут. Уж *куда бы лиха не вынесла*, а они не выторгуют у меня, у старухи, алтынного за грош. Пойдем, дитятко». Вошедши в избу, бабушка-мельничиха тотчас велела мне скинуть мой беспорядочный барской наряд и нарядиться в приготовленный уже ею сарафан. «Теперь, дитятко, — сказала она мне после этого превращения, — теперь ты моя внучка Акулина. Хоть и увидят тебя разбойники, так беда еще невелика; только ты старайся быть посмелее да не давай им много около себя увиваться. Я их знаю. С ними таки еще можно ладить. Между ними есть один мой куманек, чтобы его нелегкая побрала. Ведь у меня, дитятко, родни до Москвы не перевешаешь. Чуваши, мордва: все наша родня. Да родня-то, что ты ни говори, а все-таки когда-нибудь пригодится». — «Да где ж мой батюшка?» — спросила я наконец. — «Эх, дитятко, батюшка твой, чай, убрался подобру-поздорову. Ведь разбойников-то много — куда ему с ними барахтаться». — «Ах! бабушка, не обманываешь ли ты меня?» — «С какой стати, дитятко, я стану тебя обманывать! Но тише. Слышишь, как шумят наши гости. Ступай-ка за перегородку да нишкни».

Едва только успела я исполнить это приказание, как дверь избы с шумом растворилась и в нее вступила целая толпа незваных гостей. «Здравствуй, хозяйка!» — сказал грубый и глухой голос. «Здорово, кума, — захрипел другой голос, — ждала ли ты к себе дорогого куманька. Вот уж правду сказать, не бывал ни о семике, ни о масленице, принес черт в великий пост. А? Каково поживаешь, старая сова?» — «Коли с добрым словом, так милости просим», — проворчала мельничиха. «Мы не с худом, — заговорил опять глухой басище, — мы своих людей не трогаем. Не попадайся только нам эта ересь нечистая. О! как раз *ухайдакаем!*» «Однако ж, кумушка, — сказал хриплый разбойник, — соловьев баснями не кормят. Нет ли у тебя чего перехватить да чем глотку промочить. Мы тощи, как голодные собаки! .. Не знаю, как теперь, атаман, а в старину моя кума была запаслива. Я недаром надоумил тебя остано-

виться у нее». — «Спасибо, куманек, — сказала старуха, — что ты нагнал ко мне всю эту саранчу. Да они съедят у меня и кирпичи из печки». — «Не бось, кума, — отвечал Хрипун, — у тебя будут жить только двое, да и то люди не простые, а именно наш атаман-молодец, Панфил Саватеич Хлопуша, да твой любезный куманек, эсаул: ведь я, кума, высоко нынче залетел». — «Скоро залетишь и еще выше», — проворчала старуха и начала вытаскивать пироги из печи.

С начала этого разговора я, сидя за перегородкою, прижалась от страха к углу. Но скоро любопытство пересилило страх мой, и я начала рассматривать в щелочку наших гостей. Их осталось в избе только двое: *Хлопуша* и кум бабушки-мельничихи, который, как я после узнала, назывался *Топориком*. Оба они были одеты весьма богато: в цветные бархатные полукафтанья, выложенные позументами и подпоясанные алыми шелковыми кушаками; сапоги на ногах были красные сафьянные, выстроченные золотом. У того и у другого были на боку огромные сабли, с богатыми рукоятками и ножнами, а за поясом торчало по нескольку пистолетов. Длинные ружья свои поставили они в передний угол. Но как скоро бабушка-мельничиха уставила для них стол пирогами и другими кушаньями, то разбойники, раздевшись, остались в одних только красных рубашках и черных плисовых шароварах. Нечего сказать, богато были они разряжены. Только, господи боже мой! Какие ужасные у них были рожи! Ты видел, дитя мое, картину страшного суда, которая поставлена на паперти здешнего собора. Видел на ней врага рода человеческого, притягивающего к себе большою цепью бедных грешников: ну вот, ни дать ни взять, таков был Хлопуша, — тот же высокий сутуловатый рост, те же широкие плечи, та же длинная свинцовая рожа, те же страшные, кровью налитые глаза, сверкающие из-под густых нависших бровей, те же всклокоченные, как смоль черные волосы на голове и та же борода, закрывающая половину лица и достающая почти до пояса. Недоставало только рогов да копыт. Что касается до Топорика, то рыжая голова и борода, широкая красная рожа, кошачьи глаза и небольшой рост делали его похожим на Иуду-христопродавца, изображенного сидящим на коленях у сатаны в той же картине.

Сначала эти страшные гости молча управлялись с бабушкиными пирогами и беспрестанно осушали тяжелые стопы с пенником, которые старуха не ленилась им подносить. Вообще Хлопуша был молчаливее и угрюмее своего товарища, который обращался иногда к кумушке своей с злодейскими шутками, на которые она умела всегда дать ответ. Наконец пенник сделал разбойников словоохотливыми, и между ними начался следующий разговор, из которого, к горю моему, я не проронила ни одного слова.

«Ну как не сказать спасибо свату, здешнему старшине, — начал Топорик, — без него где бы нам теперь так славно ужинать! — или уж не завтракать ли. Послушай-ко, кума, залихватскую штучку он выкинул, волк его не ешь! Открыл нам в ваше совиное гнездо такую лазею, что мы упали как снег на голову. Смех, право, братцы! Этот старый

хрыч, капитанишка, с своими пузатыми солдатишками, туда же, расхорохорился. Только когда он ими командовал: направо, налево, в седой его затылок влепилась такая славная загвоздка, что он полетел кверх ногами». При сих словах разбойника я оцепенела от ужаса, но продолжала слушать, скрепя свое сердце. «Да, — сказал Хлопуша, — не скоро бы можно было попасть в эту берлогу: старый медведь хорошо ее укутал. И я скажу спасибо свату старшине и выпью за его здоровье». — «Пей за упокой, атаман, — подхватил Топорик. — Молодцу не удалось попировать с нами. Какой-то старый хрыч из этих голоколенников просадил ему брюхо своим железным рожном. Жаль, право, молодца. Он бы нашей ватаги не испортил». — «Вот как! — сказал Хлопуша. — А я думал, что он хлопочет теперь об наших товарищах. Жаль, да делать нечего. А что, брат эсаул, всех ли этих индейских петухов ты запер в курятник? Не настроили бы они нам каких пакостей». — «Не бось, атаман. У меня и таракан не уползет, когда дело состоит только в том, чтобы ловить! Долго они уж здесь копошились — пора их немножко провялить. Я велел понаделать и вешалок. Что это? светло становится. Видно заря?» — «Да, славная заря! — сказал Хлопуша, взглянув в окно. — Это горит старое гнездо старого сыча — капитана. Я велел зажечь его нашим ребятам, чтоб им было около чего погреться. Да, кстати, бабка, у старого черта, слышь, была дочь?» — «Была да сплыла, — отвечала бабушка-мельничиха. — Он ее давно уже отослал в Оренбург». — «Экой старой дьявол! догадался. А не худо было бы нам подцепить молоденькую девчонку. Как ты думаешь, эсаул?» — «Ах! атаман, у тебя на уме только девчонки; а по мне, коли есть вот такая кружка, а в кружке вот такое винцо, да если можно его вот так выпить, то черт возьми всех девчонок! Волк их не ешь!» — «Знаешь ли что, однако же, — сказал Хлопуша, подумав, — не худо бы нам провялить немножко и старого хрыча, ну, знаешь, о ком я говорю: капитана-то. Нужды нет, что он уж не дрягает. А все бы это хорошо, в пример прочим. . .». — «Эх, атаман. Кто вешает мертвых собак. Да к тому же какой-то пес успел прежде нас завладеть телом старого быка. Признаться, атаман, я хотел было поживиться его серебряными бляшками, да не тут-то было! нигде не мог его отыскать. Кто знает, может статься, он и уполз куда-нибудь в суматохе».

Нужно ли сказывать тебе, дитя мое, как поразил меня этот проклятый разговор. Сердце мое то сжималось от ужаса, то раздиралось на части. Долго страх смертный заставлял меня одолевать мое отчаяние, но при последних словах разбойника я не могла уже владеть собою. Громко, громко завыла я, повалившись на пол за перегородкой: «Что это?» — вскричали разбойники, выскочив из-за стола и схватив свои сабли и пистолеты. «Эк вы перепугались, родимые! — сказала бабушка-мельничиха насмешливо. — А еще говорите: мы-ста хваты! Не бойтесь, сударики, садитесь-ко на свое место. Это плачет моя девчонка — внука. С ней, бедной, случается падучая». — «То-то же! — сказал Хлопуша мрачно. — Смотри, старуха, нет ли тут какого подвоху. У меня пистолеты не горохом заряжены». — «Полно стращать-то, батька-свет! —

сказала бабушка-мельничиха равнодушно. — Я и кочергой с тобой управлюсь, даром что ты смотришь чертом». — «Ну вот, нашла коса на камень! — вскричал Топорик. — Только, атаман, с кумой не ссорься. Говорят, что она и черта за нос водит. Прошу не гневаться, кумушка, так все толкуют о твоей чести». — «Да, — сказала старуха сердито, — если я и не вожу черта за нос, так уже никто не скажет, чтобы совсем не водилась с чертями. У меня даже они есть и в родне». — «Ах! ты чертова бабка, — сказал Топорик смеясь, — не за мое ли здоровье ты гуляешь». — «А разве ты черт, родимой?» — спросила бабушка добродушно — и разбойники подняли такой смех, что вся изба задрожала. «Однако ж, — сказал развеселившийся Хлопуша, — за то, что твоя внучка нас перепугала, должна она выйти и попотчевать нас винцом». — «Ведь я говорю тебе, батька-свет, что она нездорова», — отвечала хозяйка. «Вздор! — заревел разбойник, — я сам ее выведу», и с этими словами, шагнув за перегородку, вытащил оттуда меня полумертвую. Думая, что приходит мой час последний, я дрожала всем телом и не могла проговорить ни одного слова. К счастию моему, это заставило разбойников подумать, что я в самом деле больна. «Жаль, — сказал Хлопуша, потрепывая меня по щеке жилистой своей лапой, — жаль, голубушка, что ты нездорова, а нечего сказать, эсаул, красавица! Хоть она и бледна, но черт меня возьми, если я видывал девушку красивее этой! Попотчуй же нас, красоточка! Эх, поводись-ко с нами, так разом отстанет от тебя эта черная немочь!» — «Поднеси, Акулинька, гостям по стопе! — сказала мне бабушка-мельничиха. — Да и поди уж ляг хорошенько». Нечего было делать! Дрожащими руками взяла я поднос — и начала потчевать этих гостей, которым с охотою поднесла бы яду змеиного. Всего несноснее были для меня наглые ласки Хлопуши. Лучше бы он кинулся на меня подобно волку лютому, нежели расточал свои мерзкие нежности, которые делали его еще ужаснее в глазах моих.

Наконец два разбойника, сильно отуманившись винными парами, потребовали покоя. Бабушка-мельничиха отвела им другую свою избу, где они и улеглись; между тем как алая заря озарила новые слезы на глазах моих и дымящиеся развалины моего дома родительского. Итак, все радости жизни моей были разрушены! Смертию мучеников погиб мой несчастный родитель; жених мой... Кто мог уверить меня, что и его не постигла та же плачевная участь? Отеческий дом мой сравнялся с землею... я сама была во власти буйных злодеев... В будущем не было уже для меня ни одной надежды отрадной. Прошедшее могло только раздирать душу мою воспоминанием. Самое провидение, казалось, меня оставило! Где же мне было взять столько слез, дитя мое, чтобы оплакать все эти бедствия страшные? Смерть была единственным моим прибежищем. Смерти ждала, смерти просила я; но господу богу не угодно еще было прекратить дней моих. Умная мельничиха не старалась утешать меня. Она знала, что не найдет слов для моего утешения.

Разбойники проснулись уже около вечера. По данному ими заранее приказанию все старшие жители крепости пришли к ним с хлебом и

с солью. Сам отец Власий, предпочитая свою временную, грешную жизнь венцу мученическому и жизни вечной, шел впереди прихожан своих с крестом и образами святыми. Долготерпеливый господь не поразил громом своим старого святотатца, но тайные мучения совести искажали уже лицо его. Весь этот народ, трепещущий за жизнь свою и за свое бедное достояние, преклонял колена пред гнусными душегубцами, как пред вельможами именитыми. Самохвальство и наглость их при этом случае были выше всякого описания. Они потребовали себе поголовной дани от жителей; потребовали, чтобы отец Власий, оставив свои священные книги, отправлял божественную службу по их раскольническим служебникам, и старый грешник (прости господи душу его) повиновался злодеям. В заключение всего этого — при одном воспоминании мороз подирает меня по коже — были безжалостно повешены пять или шесть бедных стариков, несчастный остаток команды моего батюшки, уцелевший от всеобщего поражения минувшей ночи. Громко призывали они проклятие небесное на главы своих мучителей — и вопли их поразили бы ужасом самое жестокое сердце.

Не буду рассказывать тебе, дитя мое, как проводили разбойники у нас жизнь свою. Довольно сказать, что пьянство, разврат, богохуление и срамные речи никогда почти не оставляли их богомерзкой беседы. Но буйная жизнь не мешала им заботиться о своей безопасности: везде были у них расставлены часовые, а по ночам ездили разъезды около крепости. Теперь слушай повествование о собственных моих бедствиях, которые не только не кончились, но с каждым днем становились ужаснее.

Хлопуша для того только, казалось, и жил, чтобы меня мучить. Он непременно требовал, чтобы я всегда находилась при буйных попойках разбойников, — и мне должно было повиноваться. Сколько ни старалась бабушка-мельничиха укротить его мрачное своевольство, все ее старания — просьбы, брань, угрозы — были бесполезны. Хлопуша старался оставаться со мною наедине, насильно сжимал меня в сатанинских своих объятиях и говорил мне такие нежности, от которых сердце мое обливалось кровию. Он так запугал меня своими ужасными ласками, что при одном появлении его я теряла все душевные и телесные силы и трепетала от ужаса. Этот ужас можно сравнить с тем, какой мы иногда чувствуем во время тяжкого сна, возмущенного какими-нибудь страшными грезами: сердце сжималось, вся кровь застывала, душа готова была вырваться вон из тела. Но страстный любовник мой вовсе не хотел замечать моего бедственного состояния и не почитал, по-видимому, трудным заслужить мою взаимную любовь. Он каждый день подносил мне какой-нибудь подарок, вероятно приобретенный грабежом и убийством, и я, бедная, следуя советам мельничихи, принуждала иногда себя принимать эти дары. Старуха всего более боялась, чтобы разбойники не открыли тайны моего превращения, потому что в таком случае ничто уже не могло бы остановить их наглости и самовольства. Впрочем, они, и не зная этой тайны, не слишком ограничивали себя в обращении со мною, и без твердого, проницательного и лукавого нрава мельничихи

я бы могла подвергнуться величайшим их оскорблениям, как ты сейчас о том услышишь.

Однажды в полночь (когда я дремала в углу моем за перегородкою, между тем как бабушка-мельничиха храпела на печке) вдруг слышу я сквозь сон, что кто-то, вошедши в дверь, крадется к моей постеле... Слышу, что нечто тяжелое упало на грудь мою. Мысль о домовом тотчас родилась в суеверной голове моей. С ужасом открываю глаза, и — при свете горевшей пред иконою лампады — вижу пред собою Хлопушу, который, будучи в одной красной рубашке, наложил на меня ужасную свою руку. Болезненный стон вырвался из груди моей. «Не бойся, моя красавица, — торопливо шептал мне страшный посетитель, — не бойся... Не убить, не зарезать тебя пришел я. Любовь не дает мне покоя. Люби меня, будь моею, золотом засыплю тебя... в бархате, в парче ходить будешь... Только полюби меня». При этих словах он хотел взять меня за руку. «Скорей умру! — вскричала я, позабыв в отчаянии всю мою робость. — Скорей умру!» — и силилась оттолкнуть от себя руку ужасного мужика. «Если так, — взревел он вполголоса, — если так — я с тобою сделаюсь, упрямая...». При сих словах он схватил меня за руки. Но в то же мгновение кто-то с величайшею силою отдернул этого волка от бедной овцы. «Разбойник! душегубец! вор! плут! мошенник! — возопила бабушка-мельничиха, потому что это она избавила меня от величайшей опасности. — Разбойник! разве так делают добрые люди? Вон отсюда, мерзавец! вон! или я призову всех чертей, чтобы вырвать из тебя гнусную твою душу!» — «Старая ведьма! — взревел Хлопуша, засучив рукава своей красной рубашки. — Старая ведьма! убирайся сама к отцу своему, сатане...» — и, говоря это, он поднял на старуху жилистые свои кулаки. Неробкая мельничиха готовилась уже выцарапать глаза злому разбойнику, как позади их раздался третий хриплый голос: «Ну вот, атаман! уж у тебя опять потеха с моею дражайшею кумушкой. Полно, полно, атаман! Как тебе не стыдно! Кто свяжется с бабою, тот сама баба! А ты, честнейшая моя кумушка, что так окрысилась? Ну, стоит ли того какая-нибудь девчонка, чтобы для нее поднимать такой гвалт! Разойдитесь же, пожалуйста; или не прикажете ли разлить вас водой». — «Не потерплю эдакого срама у себя в доме! — вскричала мельничиха. — Вон, разбойники! Полно вам у меня пировать! Сколь волка ни корми, он все в лес глядит. Я покажу вам, какова бабушка-мельничиха... вон, — говорю я». — «Ах! ты старая ведьма, — мрачно заворчал Хлопуша, подвигаясь к ней поближе. — Дай-ко я попробую, отскочит ли мой кулак от твоего проклятого лба». — «Ну уж вот это кума нехорошо! — захрипел в то же время Топорик. — Зачем попрекаешь нас своими оглодками. Коль правду-то сказать, так мы и без твоего позволения умели бы себя потчевать на твой счет. Право, ты некстати уж так хорохоришься!» — «Посмотрим, как ты будешь храбр, — проворчала старуха. — *Дядя!* — сказала она протяжно и дико, оборотясь к печке. — *Дядя! дома ли ты?*» — «А?» — отозвался в тишине ночи чей-то грубый и как бы нечеловеческий голос. Глаза всех устремились на печь, из которой, казалось, выходил оный. И что же? в черном, закопченном ее

челе мелькнула чья-то такая же черная, гнусная образина. «С нами крестная сила!» — закричали оба разбойника и опрометью кинулись из избы... Я сама дрожала от ужаса.

«Ну, теперь уж они сюда не воротятся! — сказала бабушка-мельничиха, тихонько смеясь. — Теперь почивай себе, дитятко, с богом». — «Но, бабушка...», — сказала я, указывая на печь. — «Ничего, дитятко, не бойся, — говорила старуха, — это не дьявол, наше место свято, а просто мой честный работник *Бурюк*... Ведь надобно же было чем-нибудь напугать этих душегубцев». — «Да как же он очутился в печи-то, бабушка?» — «Да так просто, дитятко: залез в печь, да и только. Я уж ведь наперед знала, что этот леший — Хлопуша сюда привалит. Вот видишь ты: за избой, в которой живут разбойники, есть у меня маленький *тайничок*, в которой я на всякий случай сложила мое добришко; из этого тайничка слышно все, что говорят разбойники, и видно все, что они делают. Я каждый вечер их подслушиваю. Ведь с ними, дитятко, дружбу води, а за пазухой носи камень. Вот я и услыхала вчерась, что Хлопуша задумал прийти к тебе: да и велела моему домовому заранее засесть в темный угол. Ну, теперь вылезай, мой чертенок, да убирайся в свою конуру». И в самом деле, из печи вылез работник *Бурюк*, который, будучи выпачкан в золе и саже, много походил на нечистого духа. После этого бабушка-мельничиха спокойно забралась к себе на печь и скоро захрапела по-прежнему. Но я, измученная страхом и борьбою с разбойниками, целую ночь провела в беспокойном бреду и как будто бы на горячих угольях, а поутру не могла уже приподнять головы с подушки: сильная горячка со мной приключилась. Целый месяц, дитя мое, пролежала я на одре неутолимой болезни и во все это время весьма редко приходила в себя. Ужасные грезы: убийства, кровь, целые полчища духов нечистых, самый ад, с его неугасимым пламенем, попеременно тревожили мое больное воображение. Меня исповедовали, приобщали, соборовали маслом. Бабушка-мельничиха истощала надо мною все свои познания в лечебном искусстве — и не было у ней такого целительного зелья, которым бы она меня не поила. Эта добрая старуха показала в сем бедственном случае всю свою привязанность к своей питомице. Ни днем, ни ночью не отходила она от моей постели, предупреждала малейшие мои желания и оплакивала меня, как детище свое милое. Наконец, благодаря ее стараниям, а более всего молодости, которая сильнее и душевных и телесных недугов, я выздоровела, или, лучше сказать, начала выздоравливать. Мало-помалу, в продолжение месяца, возвратились ко мне и сон, и аппетит, и рассудок. Самая горесть моя сделалась гораздо спокойнее. Слабая, но отрадная надежда начала понемногу прокрадываться в мою душу — и хотя я не видала еще конца моим бедствиям, но мне казалось, что, по благости провидения, они не могут быть бесконечными; что жених мой когда-нибудь ко мне возвратится и что я могу быть еще счастлива. Причиною такой спасительной перемены в расположении души моей было отчасти то, что ужасный Хлопуша перестал уже меня преследовать и, по-видимому, оставил все свои адские замыслы. После чудесного ночного приключе-

ния он сделался еще угрюмее прежнего, но с бабушкою-мельничихою обходился необыкновенно тихо и уважительно, как бы стараясь загладить вину свою перед нею. Бывало, он весьма редко оставлял дом наш; напротив того, в это время почти каждый божий день пировал с своими буйными товарищами у других жителей крепости. Как ребенок радовалась я частым его отлучкам и со слезами благодарила всевышнего, что он, создатель мой, избавил меня, бедную голубку, от когтей этого коршуна кровожадного. Таким-то образом, дитя мое, в великих злоключениях жизни малейший луч отрады ободряет нашу угнетенную душу, поселяя в ней спасительную надежду.

Однако ж опытная бабушка-мельничиха не совсем верила наружному спокойствию своего мрачного гостя. «У него недоброе на уме, дитятко, — говорила она. — За ним теперь надобно смотреть да и смотреть. Недаром выглядывает он, как сыч, исподлобья. Но старуха еще надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо проведет он меня, либо нет!» Желая во что бы то ни стало выведать замыслы Хлопуши, бабушка-мельничиха решилась подслушивать все тайные разговоры его с Топориком, и для этого всякой раз, когда наши разбойники оставались одни в избе своей, хитрая старуха забиралась в свой *тайничок*, о котором она говорила мне прежде. Но в один вечер, будучи занята каким-то весьма важным делом, она никак не могла отправиться на эту необыкновенную стражу. Подумав немножко, она решилась поручить ее мне. «Нечего делать, дитятко, — говорила она, — надобно тебе посидеть нынешний вечер в моей будке. Бояться нечего. Пускай боится тот, у кого нечиста совесть, а ты, моя лебедушка, с крестом да с молитвой можешь спокойно ночевать и на банном полке в крещенский вечер. Пойдем же, я проведу тебя в мой тайничок. Сиди там тихо, так тихо, как таракан за печкой. А пуще всего: слушай, не пророни ни одного слова разбойников. Нет нужды, хоть они, мошенники, и будут порой лаяться по-собачьи. Ведь у красных девушек уши золотом завешаны. Непременно, во что бы то ни стало, надобно нам выведать: какой дьявол лежит в черной душе этого вора. Выведаем — хорошо, не выведаем — мы пропали. Вот тебе и все мое наставление».

Скажу тебе, дитя мое, что в молодости моей я была не самого робкого духа, а к тому же очень хорошо знала, что бабушка-мельничиха не сделает ни одного дела наобум и на ветер. Потому-то, не думая долго, я согласилась исполнить ее приказание. Куда же мы пошли? Недалеко, дитя мое. В подполье нашей избы. Оттуда поползли мы по какому-то узкому ходу и скоро достигли до маленькой лесенки, которая привела нас прямо в бабушкин тайничок. Шепнув мне: «Сиди тихо и слушай!» — бабушка скрылась.

Оставшись одна, я с робостию осмотрела место моего пребывания. Это была низенькая и маленькая каморка, приклеенная, так сказать, к задней стене той избы, в которой жили разбойники. Сквозь узкую поперечную щель, прорезанную между двумя стенными бревнами, можно было видеть из каморки все, что делается в избе, и слышать каждое проговоренное там слово. Напротив того, из избы вовсе нельзя было при-

метить этого потаенного места, потому что щель находилась в темном углу и почти у самого потолка. Несмотря на то, я сначала сильно перепугалась, увидавши себя в таком близком соседстве с нашими ужасными жильцами. Однако ж, скоро пришедши в себя, я тихонько уселась на один из стоявших в каморке ларцов и начала, по совету бабушки, слушать, а по совету моего любопытства — смотреть.

Оба разбойника лежали, один противу другого, на разостланном по полу широком шелковом ковре, опираясь локтями на сафьянные седельные подушки. Между ими и разными оружиями на низеньком ларчике стояли: большая баклага с вином, поднос с круто насоленным ломтем черного хлеба и оловянная стопка, из которой они беспрестанно потягивали. Тут же горела сальная плошка, которая мигающим светом своим то освещала, то покрывала тенью угрюмую свинцовую рожу Хлопуши и зверски улыбающуюся красную харю Топорика.

— Ну-тка, выпьем еще, эсаул! — сказал первый. — Черт возьми! пить так пить.

— От питья я не прочь, атаман, — отвечал Топорик. — Только, дедушка, пей да дельце помни. Скажи-ка мне, свет-атаман, зачем мы здесь киснем, как болотная тина?

— А вот я тебе скажу, зачем мы здесь киснем: я так хочу, вот и все тут. Коли тебе здесь скучно, эсаул, так убирайся к черту!

— Не то чтобы скучно, батюшка-атаман, не то чтобы грустно, золотой мой, да боязно. Ведь нас здесь небольшая сила, а Оренбург-то не за горами.

— Покуда жив наш Емельян, — сказал Хлопуша, — так я плюю и на твой Оренбург, и на всю эту голоколенную сволочь, и на самого сатану.

— Эх, почтеннейший атаман! в том-то и сила, что кобыла сива. У Емельяна-то, слышь ты, не очень здорово. Вести все приходят нерадостные: из-под турка армия идет.

— Ну так что ж? — сказал Хлопуша. — Пускай идет, — разве мы этих армий-то не разбивали?

— Да, ладно было разбивать кривых да слепых. Тут, батюшка-атаман, идет войско другого покроя. С этим не много набарахтаешься! Как раз велят прочитать черту молитву. Эх, золотой мой атаман! хорошо воевать, а и того лучше сидеть за теплой печкой. Ударить камнем из-за угла — наше дело! а стоять противу этих дурацких пушек, — нет, черт возьми! Не лучше ли бы нам, дражайший мой атаман, покуда лукавый нас еще не побрал, убраться подобру-поздорову.

— Знаю, эсаул, знаю: ты блудлив как кошка, а труслив как заяц; врешь много вздору, да иногда невзначай болтаешь и правду. Черт возьми! Ждать бы нам здесь точно нечего. Уж коли быть, так быть с нашим Емелей... Но, — прибавил Хлопуша мрачно, — скорей черт вытянет из меня грешную душу, нежели я просто оставлю это сычиное гнездо!

— Что же тебя к нему привязало, как висельника к перекладине? — спросил Топорик.

— Что? — отвечал Хлопуша. — А вот, эсаул, я тебе скажу что... наперед выпьем... Слушай же: девчонка-то из головы у меня не выходит, как будто сам черт засадил ее в мою душу.

— Ну так! — вскричал Топорик. — Ты опять с девчонками! Да разве она не сдается? Что же? пряничков ей, жемочков, знаешь, золотой мой, как это в старину важивалось.

— Да, поди ты сладь с нею! — отвечал Хлопуша. — Она на меня так же умильно смотрит, как и на самого сатану.

— Э-хе-хе-хе, дражайший мой атаман, ты таки, нечего сказать, немножко на него и походишь. Не сердись, золотой мой... Что же ты намерен с нею сделать?

— Что? и сам не знаю, — отвечал Хлопуша. — Не будь этой старой ведьмы, я бы знал, что с ней сделать. Но, эсаул, коли я с вида похож на сатану, так не уступлю ему и на деле. Пускай эта колдунья выкликает своих домовых, не струшу, эсаул! К черту ее! к черту всех; а девка будет моя!

— Нечего сказать, золотой мой атаман, с моею почтеннейшею кумушкой худо возиться: мало того, что у нее целый свет родня, — все черти ей братья да кумовья. Ты человек храбрый, дражайший атаман, а не шепнул чего-нибудь на ушко этому черному приятелю. Уф! волк его не ешь! меня и теперь мороз по коже подирает. Нет! почтеннейшая кумушка: я всегда нижайший слуга вашей чести — ссориться с вами не буду... К тому же, атаман, мне приходит что-то страшно. Хочу отстать от нашего молодецкого ремесла. Полно! пора покаяться. Благо у нас теперь есть свой батька-поп...

— А я было хотел тебя попросить об одном деле, — сказал Хлопуша, — но ты постригаешься в монахи и, стало быть, уж больше мне не слуга.

— Почему же не так, золотой мой? Разве спасенный человек хуже мошенника сослужит службу? Говори, родной мой.

— Дело-то, правда, святое, — сказал Хлопуша, озираясь, и потом, понизив голос, прибавил: — Надобно сбыть с рук эту старую ведьму.

— Зачем же?

— Глупая башка! разве не она причиною того, что я до сих пор, как голодная собака, смотрю на жирный кусок? Не все ли черти у нее в услугах, не все ли казаки ей родня. Да, знаю, что за нее и кроме чертей есть кому заступиться... Итак, что прикажешь делать?.. Отказаться от девки? Топорик! ты любишь одну только винную баклагу... Но я, слушай меня: для этой девки — я зарежу отца, мать, отдам сатане свою душу... Ну, понял ли ты меня?.. Эсаул! — прибавил Хлопуша дружески. — Сослужи мне последнюю верную службу: отправь к черту старую колдунью; за такое богоугодное дело ты прямо попадешь в рай!

— Атаман, золотой, серебряный, драгоценный мой атаман! Рад бы душою услужить тебе. Но на душе моей так много грехов; она мне кума, да и черти... (с нами крестная сила — что там зашумело?) Атаман, и

черная рожа не выходит у меня из башки. Но почему не справишься с нею ты сам?

— Не хочу марать рук, эсаул... — отвечал Хлопуша с замешательством. — К тому же, к тому же... Итак, ты не согласен?..

— Боюсь, золотой мой.

— Ну, — сказал Хлопуша, — не хочешь как хочешь; вольному воля, а я было думал за эту услугу подарить тебе моего карего жеребца...

— Жеребца? — вскричал Топорик.

— Хотел было (продолжал Хлопуша) дать в придаток мешочек с рублевиками...

— Целый мешок! — проворчал Топорик.

— И ко всему этому прибавить мое турецкое ружье и пистолет с золотою насечкою...

— Дражайший атаман, — вскричал Топорик плачущим голосом...

— Но как ты не хочешь, — продолжал Хлопуша, — то я все это отдам Савичу. Савич малой неробкой, не откажется мне услужить.

— Дражайший атаман! Я подумаю. Коли ружье, пистолет, рублевики... атаман! ведь уж старухе быть же убитой?

— Так верно, как сегодняшний день пятница! — отвечал Хлопуша.

— Золотой атаман! как ты думаешь, не лучше ли укокошить ее своему человеку, нежели чужому? Родная рука хоть долго мучиться не заставит. Не богоугодное ли будет это дело?

— Я то же думаю, — отвечал Хлопуша, — но что толковать, эсаул, ты ведь не хочешь?

— Так и быть, атаман. Я решусь. Ну а подарки твои, дражайший атаман? Только как и когда?

— Чем скорее, тем лучше, — отвечал Хлопуша. — Выпьем же да и потолкуем. Во-первых, угомонить старую колдунью надобно так, чтобы никто не видал и, по крайней мере, не было никакой явной улики. Нехорошо, брат эсаул, худой славы я не люблю. Итак, ты завтра ночью подавишь немножко ей около горла — и дело будет с концом; она не запирается, а спит одна на печи.

— Но черномазой? — сказал Топорик со страхом.

— Экой ты, брат, простак! не будет ведьмы, провалятся и черти. То-то и хорошо, что с кумушкой-то твоей мы и всех чертей в ад отправим.

— Да, атаман, не худо от них заранее отвязаться. Но что же после этого будет, дражайший мой атаман?

— После этого красотка будет моя — и мы бросим это старое дупло...

— Вот что хорошо, то хорошо, атаман. Только мне все что-то страшно... Этот черномазый...

— Так ты спятился? — сказал Хлопуша мрачно.

— Дражайший мой атаман, а лошадь моя?

— Твоя, если сделаешь дело.

— И деньги, и прочее, и прочее, золотой мой?

— Твои, твои.

— Ну так я твой! — вскричал Топорик. — В будущую ночь мы по-

шепчем с дражайшей нашей кумушкой... Эх, выпьем еще, атаман... пить умереть и не пить умереть!

— Га! — сказал Хлопуша, стиснувши зубы. — Это будет славно. Итак, завтра...

Я уже наскучила тебе, дитя мое, этим длинным и богопротивным разговором, который на деле был еще вдесятеро длиннее и ужаснее. Но я хотела показать тебе: к чему были способны эти закоренелые злодеи и какой великой опасности подвергались мы, живучи под одной кровлею с ними. Впрочем, напрасно старалась бы я передать тебе собственные их речи, они были так мерзки и страшны, что волосы становились от них дыбом. Когда я возвратилась к бабушке-мельничихе, то старуха, увидав мою бледность и смущение, подумала было, что меня опять схватила горячка. Впрочем, мельничиха выслушала рассказ мой с удивительным хладнокровием. «Видишь ли, дитятко, — сказала она, — видишь ли, что я угадала злые замыслы этого зверя. Не подслушай бы их разговора, так завтра поминай бы меня как звали. А теперь, — промолвила она с усмешкою, — теперь, проклятый мой куманек, задушишь ты разве козу, а не меня грешную. Теперь я знаю, как с тобой сделаться. Ляжем же благословясь, дитятко, спать. Утро вечера мудренее».

«Но и нам, — сказала мне бабушка, — дитя мое, пора уже отправиться на покой. Я так заболталась, что не видала, как прошло время. Ступай почивать, друг мой. Завтра я доскажу тебе мою быль, если ты только не соскучишься ее слушать». — «Ах! бабушка, я рад бы не спать целую ночь, слушая ваши рассказы. Мне смертельно хочется знать, что сделалось с этою доброю мельничихой и как она отвратила от себя угрожавшую ей опасность?» — «Завтра все узнаешь, дитя мое, до тех пор почивай спокойно; поди, и да будет над тобою благословение божие».

Я должен был повиноваться приказанию бабушки и скоро, обнявшись с подушкою, заснул безмятежным сном детства.

III

Я не спал почти целую ночь; бабушкин рассказ и возбужденное оным во мне любопытство кружили мою голову. Напоследок настало утро; я поспешно вскочил с постели, оделся, помолился богу и побежал к бабушке. Но она до вечера отложила окончание своей повести. Как долог казался для меня день, как медленно катилось солнце в небе и какою отрадою наполнилась душа моя, когда вечерние сумерки, будто долгожданные гости, заглянули в окна нашего домика! .. Вот подали свечи, и я по-прежнему уселся с бабушкой в ее комнате.

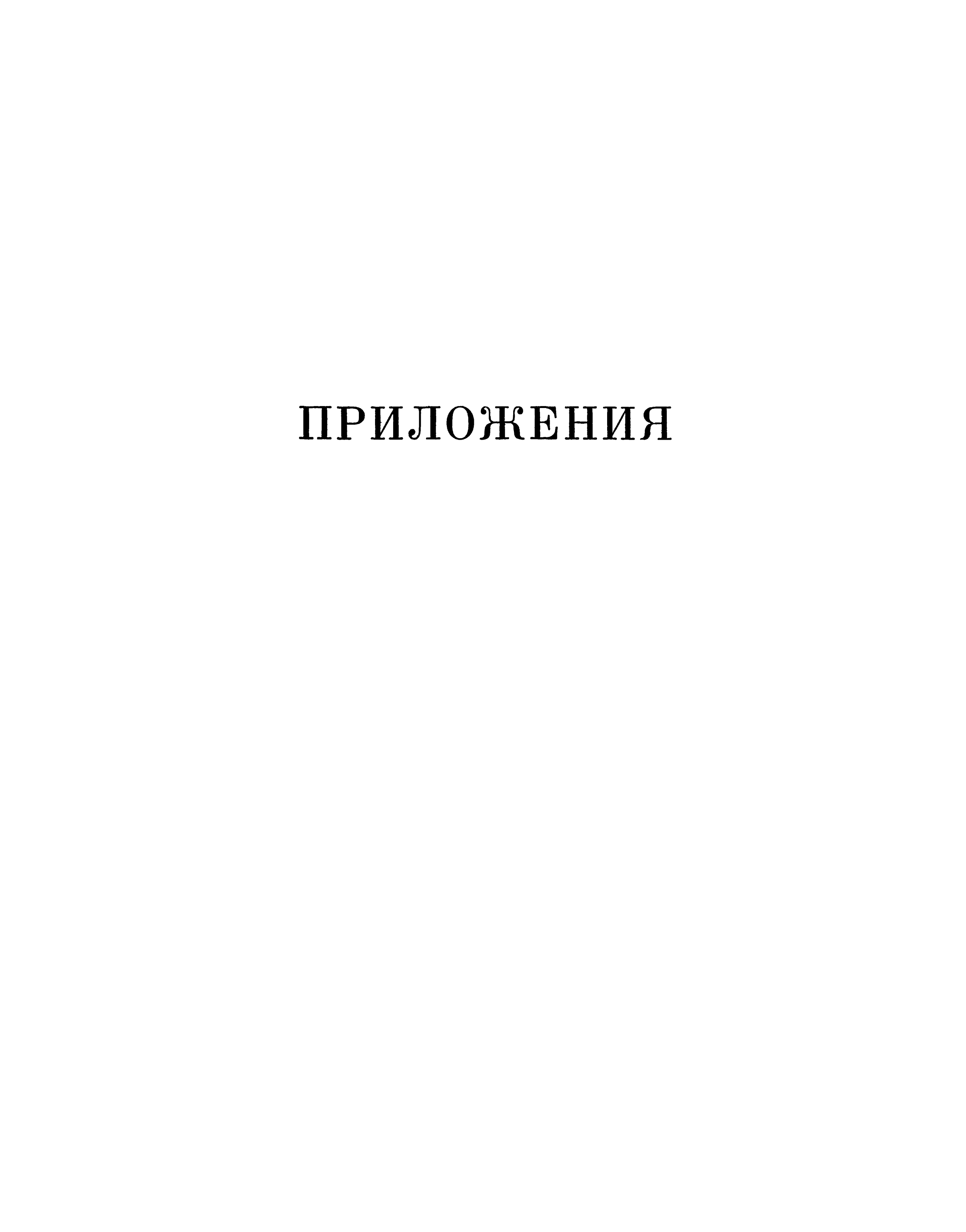
— На чем, бишь, мы вчера остановились? — сказала добрая старушка.

— На том, бабушка, что вы подслушали разговор Хлопуши и Топорика, которые хотели извести умную мельничиху.

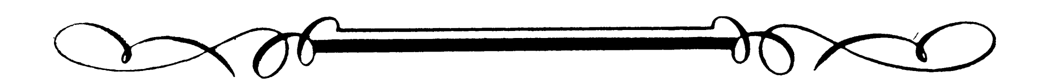
— Да, да; теперь помню, дитя мое. Слушай же далее: я говорила уже тебе, что бабушка-мельничиха хладнокровно выслушала рассказ мой; мы легли спать, и поутру она казалась так спокойною, как будто бы и не знала, что дорогой куманек хотел задушить ее. Жильцов наших деньденьской не было дома; и поздно вечером они пришли из гостей пьянешеньки. Бабушка-мельничиха, помолясь святым иконам, забралась на печку и велела мне идти спать в свою каморку. «Не бойся, дитятко! — говорила она. — Никто, как бог! »

На дворе бушевал ветер, дождь лил ливмя, и было так темно, хоть глаз выколи! .. Бабушка-мельничиха храпела на печке; а я от страха не могла сомкнуть и глаза. Около полуночи скрыпнула дверь, и при свете лампады зверский вид Топорика обдал меня, как холодною водою... он выступал тихо; вдруг дверь захлопнулась за ним со стуком; но бабушка-мельничиха не просыпалась и храпела пуще прежнего. Топорик медленно подвигался вперед, и с каждым его шагом сильнее и сильнее слышалось мне мяуканье и фырканье кошек... Дрожа всем телом, я смотрела сквозь щелочку перегородки. Топорик, по-видимому, робел; но все ближе и ближе подходил к печке; мяуканье и фырканье становилось громче, черные кошки запрыгали вокруг разбойника, и грубый, хрипловатый голос проревел: «Кто тут?» А бабушка-мельничиха спала преспокойно и храпела пуще прежнего... Страшная, черная образина с длинными, жилистыми руками высунулась из устья печи, и Топорик, вскричав: «С нами крестная сила!», бросился вон из избы. Бабушка-мельничиха захохотала: «Эк мой Бурюк и мои доморощенные кошки переполохали этого душегубца! — сказала она. — Видишь ли, дитятко, как пуглив человек, посягающий на злое дело! .. Недолго пировать этим злодеям здесь, войско матушки государыни уже в стенах Нижне-Озерной!»

Раздавшиеся в крепости выстрелы оправдали слова бабушки-мельничихи; скоро Хлопуша, Топорик и все сообщники гнусного Пугача были схвачены и получили мзду по делам своим. В числе наших избавителей находился и мой нареченный супруг Бравин. Через год я вышла за него замуж. «Видишь ли, дитя мое, — сказала моя бабушка в заключение своего рассказа, — что худое дело никогда добром не кончится».



ПРИЛОЖЕНИЯ



Ю. Г. Оксман

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД РОМАНОМ «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

I. КРЕСТЬЯНСКО-СОЛДАТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1830—1831 гг. И ГЕНЕЗИС РОМАНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

Перспективы крестьянской революции и связанные с ней вопросы о той или иной линии поведения либерального меньшинства правящего класса, сдавленного рамками полицейско-крепостнического государства, но в то же время терроризированного и призраком новой пугачевщины, впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 г.

Письма и заметки поэта именно этой поры дают исключительно богатый материал для суждения об эволюции его общественно-политических взглядов под непосредственным воздействием все более и более грозных вестей о расширении плацдарма крестьянских «холерных бунтов» и солдатских восстаний.

«Les temps sont bien tristes, — писал Пушкин 29 июня 1831 г. П. А. Осиповой. — L'épidémie fait à Petersbourg de grands ravages. Le peuple s'est ameuté plusieurs fois. Des bruits absurdes s'étaient répandus. On prétendait que les médicins empoisonnaient les habitants. La populace furieuse en a massacré deux. L'empereur s'est présenté au milieu des mutins <...>. Ce n'est pas le courage, ni le talent de la parole qui lui manquent; cette fois-ci l'émeute a été apaisée; mais les désordres se sont renouvelés depuis. Peut-être sera-t-on obligé d'avoir recours à la mitraille» (14, 184).[1]

Даем это письмо в переводе: «Времена стоят печальные. В Петербурге свирепствует эпидемия. Народ несколько раз начинал бунтовать. Ходили нелепые слухи. Утверждали, что лекаря отравляют население. Двое из них были убиты рассвирепевшей чернью. Государь явился среди бунтовщиков <...>. Нельзя отказать ему ни в мужестве, ни в умении говорить; на этот раз возмущение было подавлено; но через некоторое время беспорядки возобновились. Возможно, что будут вынуждены прибегнуть к картечи».

[1] Здесь и далее ссылки на изд.: *Пушкин.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1937—1949 — даются в тексте с указанием тома и страницы.

Особенно нервно реагировал Пушкин на террористические акты, сопровождавшие вооруженные выступления военных поселян. «...ты верно слышал о возмущениях новогородских и Старой Руси. Ужасы, — писал Пушкин 3 августа 1831 г. князю П. А. Вяземскому. — Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новог‹ородских› поселен‹иях› со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт старо-русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (14, 204—205).

Напомним, что секретное «Обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 г.», вошедшее в официальный отчет III Отделения, следующим образом характеризовало ситуацию, взволновавшую Пушкина: «В июле месяце бедственные происшествия в военных поселениях Новгородской губернии произвели всеобщее изумление и навели грусть на всех благомыслящих. Происшествия сии возбудили в то же время и толки, сколь вредно и опасно может быть для столицы соседство военных поселений».[2]

Еще резче и тревожнее был отклик на новгородские события самого Николая I. В письме к графу П. А. Толстому царь прямо свидетельствовал о том, что «бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные! Не дай и сохрани нас от того милосердный бог, но я крайне беспокоюсь», а принимая 22 августа 1831 г. в Царском Селе депутацию новгородского дворянства, он же заявлял: «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются. Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма не хорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж — гнездо злодеяний — разлил яд свой по всей Европе. Не хорошо. Время требует предосторожности».[3]

---

[2] Крестьянское движение 1827—1861 гг. М., 1931, вып. 1, с. 10; ср.: *Пушкин*. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949, т. 12, с. 199—201. Основной документальный материал о восстании 1831 г. опубликован в кн.: *Слезскинский А*. Бунт военных поселян в холеру 1831 г. (по неизданным конфирмациям). Новгород, 1894. См. также работу: *Евстафиев П. П*. Восстание военных поселян Новгородской губернии в 1831 г. М., 1934.

[3] *Шильдер Н. К*. Император Николай I. Спб., 1903, т. 2, с. 613. Обращение Николая I к депутатам новгородского дворянства мы цитируем по публикации «Новгородские дворяне и военные поселяне» (Рус. старина, 1873, № 9, с. 411—414).

В огне и буре происшествий 1831 г. получали необычайно острый политический смысл и исторические уроки пугачевщины.

Переписка Пушкина позволяет установить, что ближайшим информатором его о жестоких эксцессах восстания военных поселян — фактах, не подлежавших, конечно, оглашению в тогдашней прессе, — был поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии.

«Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назади, мой любезнейший Александр Сергеевич, — писал Н. М. Коншин в первых числах августа 1831 г. Пушкину. — Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истязают; величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами, — и это все вместе. Черт возьми, это ни на что не похоже! Народ наш считаю умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла» (14, 216).

Эти заключения не вызывают у Пушкина никакого протеста, никаких сомнений. Если бы «История Пугачева» или «Капитанская дочка» писались в пору восстания военных поселян под Новгородом и Старой Руссой, Пушкин стоял бы, вероятно, на позициях, не очень далеких от тех, которые занимал Н. М. Коншин.[4]

Впечатления от событий 1831 г. не могли не оживить воспоминаний Пушкина и о крестьянских волнениях осенью 1830 г., когда он «в самый разгар холеры, чуть не взбунтовавшей 16 губерний» (12, 310), застрял на несколько недель в Болдине.

«Le peuple est abattu et irrité, — писал Пушкин 9 декабря 1830 г. своей приятельнице Е. М. Хитрово. — L'année 1830 est une triste année pour nous. Espérons — c'est toujours bien fait d'espérer» (*перевод:* «Народ подавлен и раздражен. 1830-й год — печальный год для нас. Будем надеяться — надеяться всегда хорошо») (14, 134).

С тревогами 1830 и 1831 гг. в «Капитанской дочке» были связаны не только дискуссии широкого философско-исторического плана о русском народе и о судьбах помещичье-дворянского государства, но и некоторые характерные формулы официозной фразеологии, перемещенные из писем Н. М. Коншина в рассуждения на те же темы П. А. Гринева. С болдинскими воспоминаниями оказались связанными и совершенно конкретные детали бытописи последнего романа Пушкина. Напомним, например, известную сцену «Пропущенной главы»:

«„Что такое?“ — спросил я с нетерпением. „Застава, барин“, — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне ‹и› снял шляпу, спрашивая пашпорту» (8, кн. 1, 376).

---

[4] О деятельности Н. М. Коншина в Новгородской следственной комиссии см. в кн.: *Слезскинский А.* Бунт военных поселян..., с. 212—213. Биографические данные о нем же см. в кн.: *Кирпичников А. И.* Очерки по истории новой русской литературы. М., 1903, т. 2, с. 90—121, и в публикации: *Бейсов П. С.* Воспоминания Н. М. Коншина о Боратынском. — Краевед. зап. / Ульян. обл. краевед. музей, 1958, вып. 2, с. 373—404.

Сцена эта полностью восходила к рассказу Пушкина об одной из его попыток пробиться из Болдина в Москву в октябре 1830 г.: «Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава! Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку <...>. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать» и пр. (12, 310). Эти же впечатления от крестьянской карантинной милиции 1830 г. предопределили зарисовку столкновения Гринева с пугачевской заставой у Бердской слободы при попытке его пробиться из Оренбурга в Белогорскую крепость (см. выше, с. 60).

К болдинским писаниям 1830 г. восходили и известные строки главы IV «Капитанской дочки» (8, кн. 1, 303): «Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь».

В черновой редакции «Барышни-крестьянки», датированной 20 сентября 1830 г., нами обнаружены следующие строки:

«И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь».

II. БИОГРАФИЯ ГЕНЕРАЛИССИМУСА А. В. СУВОРОВА ИЛИ «ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА»?

Академик Я. К. Грот, публикуя в «Русском вестнике» за 1862 г. переписку Пушкина с военным министром графом А. И. Чернышевым о материалах по истории пугачевщины в архивах Главного штаба, тогда же впервые предложил вниманию читателей свои соображения о том, что «в начале 1833 г. поэт возымел мысль написать историю Суворова», что лишь в процессе реализации этого замысла он заинтересовался данными об участии Суворова в ликвидации «мятежа Пугачева» и что только обилие интересных неизданных материалов о событиях 1773—1774 гг. заставило Пушкина отказаться от его начального плана и перейти от генералиссимуса Суворова к Емельке Пугачеву.

Концепция Я. К. Грота была популяризирована в 1880 г. в примечаниях П. А. Ефремова к новому изданию «Сочинений Пушкина», вошла затем в широкий школьный оборот благодаря известному изданию Льва Поливанова «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики», безоговорочно утвердилась в специальной литературе и, наконец, перед самой революцией 1917 г. была канонизирована в академическом издании «Истории пугачевского бунта».

«На историческую работу о Пугачеве поэт натолкнулся довольно случайно, — удостоверял академический комментатор профессор Н. Н. Фирсов. — Из переписки Пушкина видно, что он собирался писать по истории, но в его воображении мелькали иные темы: то величественный

образ Петра I, историю коего Пушкин намеревался разрабатывать в сотрудничестве с Погодиным, то замысловатая, овеянная военной легендой фигура генералиссимуса Суворова, то полная ума и сарказма, эффектная, львиная фигура здравствовавшего тогда, хотя и опального, героя Бородина и Кавказа — генерала А. П. Ермолова. В начале 1833 года Пушкин наиболее активно заинтересовался славным „генералиссимусом“, но, как это ни странно на первый взгляд, задуманная Пушкиным „История Суворова“ привела поэта к „Истории Пугачева“. Как это случилось? Несколько справок разъясняет, в чем тут дело. Прежде всего укажем на то обстоятельство, что тогда общий ход пугачевщины был мало известен и, по традиции, „неутомимому“ Суворову приписывалось „взятие самозванца и конечное прекращение мятежа“. Неудивительно поэтому, что Пушкин, решив написать „Историю графа Суворова“, пожелал получить из архивов Главного штаба в числе прочих документов для этой „Истории“ и „следственное дело о Пугачеве“. 29 февраля военный министр граф Чернышев, удовлетворяя просьбу Пушкина, препроводил к нему из С.-Петербургского архива Инспекторского департамента и три книги, касающиеся до истории графа Суворова-Рымникского. Приступая к изучению бумаг о Пугачеве, Пушкин предполагал, что очерк о нем с рассказом об участии Суворова в поимке самозванца явится одною из глав в истории его главного героя — Суворова; но документы о Пугачеве, с которыми он познакомился, по-видимому, захватили поэта, и он увлекся этой исторической темой... Мы не должны забывать о такой преемственности в исторических занятиях Пушкина, тем более что о ней не забыл и сам автор, представив публике (в предисловии) свою „Историю Пугачевского бунта“ как отрывок оставленного труда; Пушкин не обозначил *какого*, — вероятно, чувствуя всю непропорциональность между историей Пугачева и относящимся к ней небольшим кусочком биографии Суворова».[5]

Мы привели формулировки академического комментария полностью только для того, чтобы более к ним не возвращаться. Вся аргументация проф. Н. Н. Фирсова, объединяя ошибки и передержки его предшественников, построена на ложном толковании предисловия Пушкина к «Истории Пугачевского бунта» и на столь же неправильной интерпретации переписки Пушкина с генерал-адъютантом А. И. Чернышевым.

---

[5] *Пушкин.* Соч. Пг., 1914, т. 11, с. 20—24 второй пагинации. Характерно, что даже В. Я. Брюсов, очень резко выступивший против Н. Н. Фирсова в специальной статье «Пушкин перед судом ученого историка», не решился оспаривать традиционной версии об обращении Пушкина к материалам о Пугачеве лишь в связи с начатой им биографией А. В. Суворова (Рус. мысль, 1916, № 2, с. 110—123). На позициях Н. Н. Фирсова остался по сути дела и Е. А. Ляцкий, принявший всерьез мнимый интерес Пушкина к написанию биографии Суворова и толковавший этот проект «биографии» как «своего рода мостик» для перехода Пушкина к Пугачеву (см.: *Ляцкий Е. А.* Пушкин-повествователь в «Истории пугачевского бунта». — В кн.: Пушкинский сборник. Прага, 1929, с. 266—267). Эта ошибка подрывала значение правильных, но, к сожалению, никак не аргументированных высказываний Е. А. Ляцкого о необходимости критического отношения к данным письма Пушкина к графу А. И. Чернышеву от 9 февраля 1833 г. См. далее, с. 150.

В самом деле, Пушкин нигде не писал о том, что его работа о Пугачеве является «отрывком» какого-то другого, им якобы «оставленного труда». Напомним точный печатный текст первых строк предисловия к «Истории Пугачевского бунта»: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых». И далее: «Дело о Пугачеве, доныне не распечатанное, находилось в государственном Санкт-Петербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы <...>. Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно несовершенный, но добросовестный».

Итак, Пушкин подчеркивал в своем предисловии только тот факт, что его труд был задуман в масштабах, гораздо больших, чем его удалось осуществить, что собранный им материал далеко не полностью вошел в его книгу и что поэтому сам автор рассматривает последнюю только как «часть труда», им «оставленного».

Пушкин не скрыл от читателей и одной из важнейших причин прекращения своей работы — невозможности воспользоваться материалами следственного дела о Пугачеве, оставшегося, несмотря на все его старания, «нераспечатанным». Сохранившиеся черновики отмеченного выше предисловия (9, кн. 1, 398—401), равно как и вся переписка Пушкина, относящаяся к изданию «Истории Пугачева», непреложно свидетельствуют о том, что поэт, называя свой труд «оставленным», никак не связывал «Истории Пугачева» с «Историей Суворова». Все же домыслы об этой линии исторических интересов Пушкина основывались на неправильном понимании письма будущего автора «Истории Пугачева» к графу А. И. Чернышеву от 9 февраля 1833 г.:

«Приношу Вашему сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе, — писал Пушкин. — Следующие документы, касающиеся Истории графа Суворова, должны находиться в архивах Главного Штаба.

1. Следственное дело о Пугачеве.
2. Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.
3. Донесения его 1799 года.
4. Приказы его к войскам.

Буду ожидать от Вашего сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами» (15, 47).

Письмо это, закрепляющее какую-то нам неизвестную беседу Пушкина с А. И. Чернышевым о Суворове, ни одним словом не свидетельствовало о намерении Пушкина писать «Историю Суворова». Пушкин в своем письме выражал интерес лишь к документам, «касающимся Истории графа Суворова», причем неожиданно начинал перечень необходимых ему материалов «следственным делом о Пугачеве». Идущие вслед за тем упоминания о донесениях Суворова во время кампаний 1794 и

1799 гг. производят впечатление совершенно случайных привесков к строкам о «следственном деле Пугачева», ибо ни начальные моменты биографии Суворова, ни такие этапы ее, как знаменитые операции под Туртукаем в 1773 г., под Кинбурном в 1787 г., под Очаковым, Фокшанами и Рымником в 1789 г., под Измаилом в 1790—1791 гг. и многие другие, почему-то вовсе не занимают Пушкина. Даже если предположить, что поэт в беседе с военным министром дал последнему какой-то повод для неправильного заключения о своей готовности заняться «Историей Суворова», то эту беседу следовало бы понимать как определенный тактический ход для получения доступа к совсем иным архивным материалам.

Поскольку генералиссимус А. В. Суворов принимал некоторое участие в ликвидации восстания Пугачева, постольку не мог вызвать подозрений и интерес Пушкина к документам 1773—1774 гг. Нельзя при этом забывать о том, что пугачевщина являлась темой запретной для исследователей, что все без исключения архивные данные о ней официально считались секретными и что, наконец, самое обращение к материалам о крестьянской войне не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем в 1831 г. лишь разыскания в области биографии Петра Великого.

Самым же сильным аргументом в пользу того, что занимал Пушкина в начале 1833 г. не Суворов, а Пугачев, является план исторического романа (см.: 8, кн. 2, 929), точная дата которого на девять дней предшествовала обращению поэта к графу А. И. Чернышеву.[6] Приводим этот план полностью:

Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость — подступает Пуг.‹ачев› — Шв.‹анвич› предает ему крепость — взятие крепости — Шв.‹анвич› делается сообщником Пуг.‹ачева›. Ведет свое отделение в Нижний — спасает соседа отца своего — Чика между тем чуть было не повесил стар‹ого› Шв.‹анвича› — Шв.‹анвич› привозит сына в П.‹етер›-б.‹ург› — Орлов выпрашивает его прощение.

31 янв. 1833.

III. ПЛАНЫ РОМАНА О ШВАНВИЧЕ — СПОДВИЖНИКЕ ПУГАЧЕВА

Роман, первые контуры которого наметились в записной книжке Пушкина в самом конце января 1833 г., относился ко временам Пугачева, причем героем его являлся один из случайных сообщников самозванца —

[6] Дата первого плана романа о Шванвиче (31 января 1833 г.), равно как и некоторые другие заготовки для будущей «Капитанской дочки», относящиеся к 1833 г., позволили П. В. Анненкову утверждать, что «Капитанская дочка» была якобы «написана вчерне» уже к «осени 1833 года» (см.: *Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855, с. 360). Эта ошибочная датировка в течение нескольких десятков лет бытовала во всех изданиях сочинений Пушкина и в биографических трудах о нем. Еще более несостоятельна попытка Н. И. Фокина отнести замысел романа Пушкина о Шванвиче к 1830—1832 гг. См. его статью «К истории создания „Капитанской дочки“» (Учен. зап. / Урал. гос. пед. ин-т, 1957, т. 4, вып. 3, с. 104—124). Биографические данные о Шванвичах с наибольшей полнотою собраны и освещены в статье: *Блок Г. П.* Путь в Берду. — Звезда, 1940, № 10, с. 208—217; № 11, с. 139—149.

подпоручик 2-го гренадерского полка Михаил Александрович Шванвич (он же Шванович), сын лейб-кампанца, крестник императрицы Елизаветы Петровны. Взятый в плен 8 ноября 1773 г. под Юзеевой отрядом Чики, он доставлен был в Берду, присягнул Пугачеву и в течение нескольких месяцев состоял в его штабе в должности переводчика. В марте 1774 г., после разгрома войск Пугачева под Татищевой, Шванвич бежал в Оренбург, где вскоре был арестован. Лишенный по суду чинов и дворянства, он много лет прозябал затем в ссылке в Туруханском крае, где и умер, не дождавшись амнистии.

Краткое обвинительное заключение по делу Шванвича вошло в правительственное сообщение от 10 января 1775 г. «О наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. С присоединением объявления прощаемым преступникам»: «Подпоручика Михайла Швановича, — отмечалось в разделе восьмом этого документа, — за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, — лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу» (9, кн. 1, 190).

Никаких других данных о Шванвиче Пушкин не мог заимствовать из печатных источников, так как их еще и не существовало. Естественно поэтому предположить, что поскольку архивные материалы о Шванвиче в январе 1833 г. еще были недоступны поэту, его интерес к исторической личности Шванвича определился под непосредственным воздействием каких-то *устных* свидетельств об этом соратнике Пугачева. И действительно, в бумагах Пушкина сохранилось несколько заметок, тематически близких плану задуманного им исторического романа. Все эти заметки восходили к рассказам современников, а иногда и знакомцев отца и старшего брата М. А. Шванвича (см. выше, с. 99).

Позднее, готовя для Николая I свои дополнительные замечания к «Истории Пугачева», которые по цензурным соображениям нельзя было включить в печатный текст книги, Пушкин писал: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворянин не был замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему. Из хороших фамилий, был Шванвич; он был сын кронштадского коменданта, разрубившего палашем щеку гр. А. Орлова» (9, кн. 1, 478).

В другой заметке, относящейся к «анекдоту» о старом Шванвиче и А. Г. Орлове, Пушкин подробно рассказывал о том, как Александр Мартынович Шванвич, гвардейский офицер времен Петра III, буйный кутила, «повеса и силач», обезобразивший Алексея Орлова, разрубив ему щеку в «трактирной ссоре», после переворота, «возведшего Екатерину на престол, а Орлова на первую степень в государстве», «почитал себя погибшим». Однако «Орлов пришел к нему, обнял его и остался с ним приятелем». Впоследствии А. М. Шванвич служил в Новгороде, сын же его, «находившийся в команде Черны‹шева›, имел малодушие пристать к Пу-

гачеву и глупость служить ему со всеусердием. Г.‹раф› А. Орлов выпросил у гос.‹ударыни› смягчение приговора» (9, кн. 1, 479—480).

Краткие биографические данные об отце и сыне Шванвичах имели официальное назначение — они направлялись царю. Но в этих же справках нетрудно установить сейчас и некоторые наметки будущих сцен и образов задуманного Пушкиным исторического романа.

Для того чтобы точнее определить факты, известные Пушкину о будущем Швабрине, напомним данные о подпоручике Шванвиче, вошедшие в рукописное «Известие о самозванце Пугачеве», автором которого был один из летописцев осады Оренбурга — священник Иван Полянский. Копия этого «Известия», сохранившаяся в бумагах Пушкина (9, кн. 2, 579—598), была использована и в «Истории Пугачева» (данные главы третьей о Хлопуше), и в «Капитанской дочке».

Как рассказывает Иван Полянский, первые сведения о переходе подпоручика Шванвича на службу к Пугачеву получены были в осажденном Оренбурге 6 ноября 1773 г. вместе с данными о разгроме самозванцем войск генерал-майора Кара. Передавая, что сам генерал едва «убрался» от преследовавших его пугачевцев, перебежчики с ужасом вспоминали о том, как подпоручик Шванвич, захваченный в плен «с прочими офицерами и солдатами», «пришедши в робость, падши пред Емелькою на колена, обещался ему, вору, верно служить, за что он, Швановичь, прощен Емелькою, и, пожаловавши того ж часу его атаманом, Емелька, остригши ему, Швановичу, косу ‹...› велел ему дать к его атаманству принадлежащую мужичью и разного звания толпу», после чего «и самым делом он, Швановичь, ему, Емельке, верно служил, так что не только русские, но и немецкие в Оренбург присылал на Емелькино имя с большим титулом письма и манифесты варварские. Те же самые солдаты сказывают, что Емелька от генерала Кара солдат отбил больше 200 человек, которых, к присяге вор всех приведши, себе в службу взял; офицеров всех, не хотящих присяги своей нарушить, перевешал, а Швановича одного оставил» (9, кн. 2, 594).

Рукописи Пушкина свидетельствуют о том, что замысел романа о Шванвиче родился в процессе работы поэта над романом «Дубровский». Вплотную подойдя в «Дубровском» к проблеме крестьянского восстания и к истории дворянина и офицера, изменившего своему классу, Пушкин в своем повествовании оказался несколько скованным поэтикой западноевропейских романов конца XVIII—начала XIX столетия о благородных разбойниках, борцах за униженных и оскорбленных, мстителях за поруганную справедливость. Особенно явно связан был с этой традицией (после Пушкина она вновь возродилась в романах Эжена Сю и Александра Дюма) образ центрального персонажа — однолинейно-мелодраматического Владимира Дубровского, непосредственного предшественника Шванвича.

Между 15 и 22 января 1833 г. Пушкин еще работал над начатым в октябре 1832 г. «Дубровским», а 31 января в одной из его тетрадей появляется план повести о Шванвиче.

У нас нет никаких оснований утверждать, что новый замысел Пуш-

кина в том или ином отношении противостоял «Дубровскому» и представлял собою принципиальный отказ от повествовательных форм, получивших воплощение в первом из этих произведений. Приемы сказа, характерные для будущей «Капитанской дочки» и очень рано закрепленные в проектах романа о Шванвиче (см. черновой набросок предисловия к нему от 5 августа 1833 г.), отнюдь не исключали других методов решения вопроса о внешней и внутренней структуре эпического письма (напомним в связи с этим хотя бы «Пиковую даму»). Повествованием о Шванвиче и Пугачеве вовсе не отменялся роман о Дубровском: на некоторое время откладывалось лишь продолжение работы над ним.[7] Кстати сказать, известное свидетельство Пушкина в письме к жене от конца сентября 1834 г. из Болдина, обычно относимое к «Капитанской дочке», с несравненно большим основанием должно быть приурочено к «Дубровскому»: «И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю» (15, 192—193).

Пушкин был увлечен работой над «Дубровским» в течение нескольких месяцев. Мы не располагаем ни одним свидетельством о том, чтобы он был неудовлетворен результатами своего труда, чтобы он был готов отказаться от таких своих творческих достижений в недописанном романе, как образы Троекурова, князя Верейского, кузнеца Архипа. Характеры и коллизии «Дубровского» оставили большой след в русской классической литературе. Нельзя забывать и о том, как высоко оценен был «Дубровский» его первыми читателями и критиками, в числе которых были и Белинский, и Тургенев, и Чернышевский.

Но самым значительным аргументом в пользу того, что Пушкин дорожил начатым им романом и рассчитывал вернуться к нему, является факт отказа поэта от перемещения каких бы то ни было страниц «Дубровского» в другие произведения.

Как известно, Пушкин очень широко пользовался материалом своих старых записных книжек, начатыми и не оконченными по тем или иным причинам стихотворными и прозаическими прозведениями для новых художественных построений. Так, например, из начатой им в 1829 г. повести о прапорщике Черниговского полка целая страница была перемещена в повесть «Станционный смотритель»; так, из «Романа в письмах», над которым Пушкин работал в том же 1829 г., он перенес некоторые детали бытописи в повести «Метель» и «Барышня-крестьянка»,

[7] Основные материалы о романе «Дубровский» см.: *Степанов Н. Л.* Проза Пушкина. М., 1962, с. 118—123; *Соболева Т. П.* Повесть А. С. Пушкина «Дубровский». М., 1963. В современной литературе о «Дубровском» мнимое «недовольство» Пушкина этим романом особенно резко подчеркнуто Б. В. Томашевским: «Пушкин остался недоволен „Дубровским“, — утверждает исследователь в работе «Пушкин и народность». — Написав уже две части и набросав план третьей, он бросил свой роман. По-видимому, мелодраматический характер героя и механичность романтической интриги были причинами, по которым Пушкин расстался со своим произведением, не доведя его до конца» (см.: *Томашевский Б. В.* Пушкин — родоначальник русской литературы / Под ред. Д. Д. Благого и В. Я. Кирпотина. М.; Л., 1941, с. 95; вошло в кн.: *Томашевский Б. В.* Пушкин: Материалы к монографии. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 146).

а некоторые образы, ситуации и наблюдения — в «Пиковую даму» (1834); так, в начальные главы «Египетских ночей» перенесены были стихи о «Клеопатре» (1824) и две страницы «Отрывка» («Несмотря на великие преимущества...») 1830 г., а в «Медном всаднике» (1833) и в «Родословной моего героя» (1836) ожили строфы неоконченной поэмы «Езерский» (1832—1833). Точно по таким же соображениям перемещена была в роман «Дубровский» (1832) страница из брошенной «Истории села Горюхина» (1830).

Мы могли бы значительно увеличить число примеров этого рода, но едва ли они нужны.[8] И без этого ясно, что если бы Пушкин не собирался возвратиться к рукописи «Дубровского», он поступил бы с нею так же, как и с другими брошенными произведениями, т. е. широко использовал бы в новых повестях и романах, прежде всего — в «Капитанской дочке». Между тем ни одна строка из написанных им девятнадцати глав «Дубровского» не перешла в его более поздние начинания. Никак не подрывает этого заключения творческий учет в главе VIII «Капитанской дочки» той самой «старой меланхолической песни», которую поют и крестьяне Дубровского: «Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, молодцу, думу думати». При доработке «Дубровского» эта песня легко могла быть заменена любой другой из того же цикла.

---

6 февраля 1833 г. Пушкин обрывает работу над «Дубровским», а через три дня обращается к А. И. Чернышеву с просьбою о предоставлении ему доступа к «следственному делу о Пугачеве». Все эти даты достаточно красноречивы и не нуждаются в комментариях. Между тем популяризаторы легенды об интересе Пушкина в начале 1833 г. к биографии генералиссимуса Суворова, а не к восстанию Пугачева, почему-то никогда к рабочему календарю и бумагам Пушкина не обращались и никаких выводов из совершенно безошибочно устанавливаемой последовательности фактов творческой истории «Дубровского», романа о Шванвиче и монографии о Пугачеве не делали.

Имя Шванвича стоит в центре еще двух дошедших до нас планов задуманного Пушкиным исторического романа. Один из них, возможно, даже предшествовал тому, который оформился 31 января 1833 г. В нем Шванвич связан еще не с Пугачевым, а с его ближайшим соратником — Перфильевым.

Афанасий Петрович Перфильев, сотник Яицкого казачьего войска, был главою тайной делегации, прибывшей незадолго до восстания Пугачева в Петербург и пытавшейся через графа А. Г. Орлова найти путь к Екатерине II, чтобы вручить ей петицию о нуждах казачества, разоряемого

[8] Материалы о разных формах использования в художественной прозе Пушкина его ранних неоконченных повестей, черновых отрывков и набросков, образных, пейзажных и бытовых зарисовок, сентенций и т. п. с наибольшею полнотою учтены нами в комментариях в изд.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.: Academia, 1936, т. 4, с. 717—746 и 761—784.

своими старшинами и бюрократической агентурой центральной власти. Миссия Перфильева оказалась безуспешной. Однако, когда до Петербурга дошли вести о первых успехах Пугачева под Оренбургом, при дворе возник проект использования Перфильева в качестве правительственного эмиссара для отвращения казачества от самозванца и для захвата последнего. Перфильев спешно выехал в район восстания, но вместо борьбы с Пугачевым присоединился к нему 6 декабря 1773 г. в Берде и вскоре занял один из руководящих постов в штабе мятежников. Захваченный в конце 1774 г. под Черным Яром, Перфильев оказался единственным из соратников Пугачева, отказавшимся «принести покаяние», за что лишен был «церковного причастия» и оставлен под «вечной анафемой». Приговоренный к четвертованию, Перфильев обнаружил исключительную твердость духа и в самый момент казни, 10 января 1775 г. Как свидетельствует использованная Пушкиным рукопись воспоминаний И. И. Дмитриева, очевидца казни, Пугачев «во все продолжение чтения манифеста, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю» (9, кн. 1, 148).

Заметка о Шванвиче и Перфильеве имеет в бумагах Пушкина всего три строки:

Кулачный бой — Шванвич — Перфильев — [9]
Перфильев, купец —
Шванвич за буйство сослан в деревню — встречает Перфильева — (8, кн. 2, 930)

Таким образом, завязкой романа в первом его варианте являлась встреча Шванвича с Перфильевым в Петербурге. Не случаен был в этом контексте и «купец», упоминаемый в плане рядом с Перфильевым. Это Евстафий Долгополов, разорившийся ржевский купец, соратник Пугачева, предложивший правительству, после разгрома повстанцев под Казанью, захватить и выдать Пугачева. В своем письме к князю Г. Г. Орлову Долгополов ссылался на содействие, якобы обещанное ему Перфильевым. Документы позднейшего следствия о Пугачеве и его сообщниках обнаружили совершенную непричастность Перфильева к афере Долгополова. Да и самый образ этого сподвижника Пугачева, его действия в пору восстания, его героическое поведение во время следствия, суда и казни говорили о том, что именно Перфильев являлся с начала и до конца самым последовательным врагом самодержавно-помещичьего государства. Об этом, кстати сказать, свидетельствовала и запись о Перфильеве самого Пушкина, сделанная им в 1834 г. в процессе его работы над бумагами Д. Н. Бантыша-Каменского о событиях 1773—1775 гг.: «Перфильев сказал: пусть лучше зароют меня живого в землю, чем отдаться в руки государыни» (9, кн. 2, 776).

---

[9] Над первой строкой, в скобках, набросан вариант «на пиках», т. е. «бой на пиках», а не «кулачный». Менее вероятное чтение этих двух слов: «на пирах».

«Капитанская дочка». План («Крестьянский бунт. . .»). Автограф. 1833 г.
ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 1, № 277.

Третий вариант повести о Шванвиче исключает из числа ее персонажей Перфильева, а вместе с ним и петербургскую завязку отношений между героями. В новом проекте Пушкин непосредственно связывает Шванвича с самим Пугачевым теми же нитями («Метель, кабак, разбойник вожатый»), которые были впоследствии развернуты в «Капитанской дочке»:

Крестьянский бунт — помещик пристань держит, сын его.[10]

Метель — кабак — разбойн.<ик> вожатый — Шванвич ст.<арый>. Молод.<ой> чел.<овек> едет к соседу, бывш.<ему> воеводой, — Марья Ал. сосватана за плем.<янника>, кот.<орого> не люб.<ит>. М.<олодой?> Шв.<анвич> встречает разб.<ойника> вожат.<ого> — вступает к Пугачеву. Он предвод.<ительствует> шайкой — является к Марье Ал. — спасает семейство и всех.

Последняя сцена — мужики отца его бунтуют, он идет на помощь — уезжает — Пугачев разбит — мол.<одой> Шванвич взят — отец едет просить. Орлов. Екатер.<ина>. Дидерот. Казнь Пугачева. (8, кн. 2, 929)

Если для двух первых планов повести о Шванвиче характерно отсутствие любовной интриги (свидетельство, конечно, не о том, что эта интрига вообще могла отсутствовать в повести, а лишь о том, что любовная коллизия не играла в ней существенной роли), то в третьем варианте плана этот узел начинает завязываться. Правда, образ Марьи Александровны <или Алексеевны?>, дочери «соседа» Шванвичей, в новом плане едва намечен, он еще, так сказать, «проходной», лишенный тех черт характера, которые определяют функцию Марьи Ивановны как одного из центральных персонажей будущей «Капитанской дочки». Но не случайно, что именно Марью Александровну спасает герой повести от пугачевцев, в рядах которых активно действует и сам, подобно будущему Швабрину.

В третьем варианте плана нет ни Гринева, ни семьи Мироновых, ни капитанской дочки. Место действия в плане не определено, но во всяком случае это не Белогорская крепость, а помещичья усадьба в одной из поволжских губерний. Судя по наметкам «последней сцены» нового варианта романа («мужики отца его бунтуют, он идет на помощь»), в 1833 г. уже определились контуры «пропущенной главы» будущей «Капитанской дочки», той самой главы, которую Пушкин в 1836 г. изъял из черновой редакции уже законченного романа перед его перепиской для сдачи в цензуру. С окончательной редакцией «Капитанской дочки» связана и концовка третьего варианта ее плана («Казнь Пугачева»), навеянная, видимо, знакомством Пушкина с рукописью неизданных воспоминаний И. И. Дмитриева, оказавшихся в его распоряжении не ранее осени 1833 г.

В то же время можно утверждать, что старый Шванвич в начальных планах романа еще не имел ничего общего с Андреем Петровичем Гриневым: Шванвич-отец даже «пристань держит», т. е. явно связан с раз-

---

[10] Далее набросаны были цифры, определявшие, вероятно, хронологию повести: <17>74. 1770.

бойничьей вольницей. Во второй главе «Капитанской дочки» сохранился отдаленный след этой характеристики старого Шванвича — мы имеем в виду описание степного постоялого двора, к которому выводит Пугачев во время бурана кибитку Гринева: «Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань» (8, кн. 1, 290).

Чем дальше Пушкин отходил от первых вариантов фабулы своего романа о дворянине-пугачевце, тем резче менялся и образ отца героя. В «Капитанской дочке» Андрей Петрович Гринев прежде всего человек строгого долга, носитель просветительских принципов общественной морали, высокие понятия которого о служении дворянина и офицера государству определяют его наставления сыну при отправке последнего в армию: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду» (8, кн. 1, 282). Эту «честь» сохранил и он сам, преждевременно уйдя в отставку, чтобы отстоять то, «что почитал святынею своей совести».

Образ старого оппозиционера, прозябающего в деревенской глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 г., за свое отчуждение от растленного двора Екатерины II и ее фаворитов, принадлежал, как известно, к числу любимейших образов Пушкина (см. «Мою родословную», «Родословную Пушкиных и Ганнибалов», данные о «славном 1762 годе» в «Дубровском»). Этот образ был связан даже с семейными преданиями об опале деда поэта, Льва Александровича:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних верен оставался
Паденью третьего Петра.

Рукопись последней редакции «Капитанской дочки» позволяет установить, что Андрей Петрович Гринев «служил при графе Минихе и вышел в отставку в 1762 году» (см. раздел «Из вариантов рукописей», с. 87). Таким образом и он «как Миних верен оставался паденью третьего Петра». Эта дата отставки старика Гринева, исключенная из печатного текста, объясняет и опальное пребывание его в деревне, и постоянное раздражение при чтении «Придворного календаря», и нежелание отправить Петрушу на службу в гвардию, в Петербург. В начальных планах романа и самый факт появления молодого Шванвича в штабе мнимого Петра III мотивировался, вероятно, старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II, что позволяло и его «измену» трактовать не как сознательный переход дворянина и гвардейца на сторону крестьянской революции, не как попытку того или иного компромисса с последней (мотивировки для подцензурного издания пушкинской поры совершенно, конечно, неприемлемые), а как случайную трагедию одного из членов правящего класса, оказавшегося, по мотивам особого и сугубо личного порядка, в стане восставших крепостных рабов.

IV. РАБОТА НАД «ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВА» И НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ФАБУЛЫ БУДУЩЕЙ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ». РУКОПИСНАЯ И ПЕРВОПЕЧАТНАЯ РЕДАКЦИИ РОМАНА

Работа над задуманным романом не пошла дальше начальных набросков плана, ибо изучение архивных материалов о пугачевщине, доступ к которым Пушкин получил 25 февраля 1833 г., настолько его увлекло, что вместо романа он сразу же принялся за «Историю Пугачева». Книга писалась небывало быстрыми темпами. 25 марта 1833 г., т. е. ровно через месяц, завершена была черновая редакция главы первой монографии. а еще через два месяца, судя по дате последней ее главы («22 мая 1833 г.»), «История Пугачева», в самой сжатой, местами даже еще в полуконспективной форме, доведена была до конца.

Однако ошибочно было бы думать, что «История Пугачева» означала отказ Пушкина от работы над романом. Об определенном параллелизме в эту пору художественных и исследовательских интересов Пушкина свидетельствуют не только бумаги его архива, но и общеизвестное автопризнание. Так, готовясь к поездке в Казань и Оренбург для ознакомления с районом восстания, а также для собирания местных архивных и фольклорных материалов о нем, Пушкин на официальный запрос от имени Николая I о целях его путешествия отвечал 30 июля 1833 г. управляющему III Отделением: «Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (15, 70). Это глухое упоминание о начатом романе нельзя толковать как простую отписку, имевшую целью только прикрыть основную мотивировку поездки — необходимость доработки «Истории Пугачева». Через пять дней после приведенного письма Пушкин набрасывает проект художественного введения к роману, генетически связанного с замыслом повести о Шванвиче, но с весьма существенными изменениями не только его персонажных характеристик, но и некоторых линий развития самой фабулы.

Вместо Шванвича, служившего Пугачеву «со всеусердием» и на ответственных командных постах, в новых вариантах плана романа о дворянине-пугачевце появляется уже Башарин, личность также историческая, но существенной роли в событиях 1773—1774 гг. не игравшая. Эта смена героев очень симптоматична. От Шванвича, измена которого была осмыслена политически, который пусть и не надолго, но сознательно соединяет свою судьбу с судьбами крестьянского восстания, Пушкин переходит к Башарину, не союзнику, а пленнику Пугачева, помилованному по просьбе его солдат, но скоро вновь оказавшемуся в рядах правительственных войск.

Архивные материалы о занятии пугачевцами 29 ноября 1773 г. крепости Ильинской позволили Пушкину восстановить в «Истории Пугачева» следующую сцену суда и расправы Пугачева:

«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. „*Зачем вы шли на*

меня, на вашего государя?" — спросил победитель. — „Ты нам не государь, — отвечали пленники, — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец". Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. „*Коли он был до вас добр,* — сказал самозванец, — *то я его прощаю*". И велел его, так же как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвезти в крепость» (9, кн. 1, 35—36).

Эта сцена, впоследствии широко развернутая в главе VII «Капитанской дочки», позволяет уяснить и источник сведений Пушкина о Башарине — показания о нем фурьера Иванова в бумагах архива Главного штаба, доставленных поэту по распоряжению графа Чернышева между 25 февраля и 29 марта 1833 г. (15, 51, 54, 57).

Таким образом, никак не раньше марта-апреля 1833 г. мог сложиться и тот новый вариант плана романа о дворянине-пугачевце, который первоначально связан был в замыслах Пушкина с фактами биографии поручика Шванвича. Мы должны особенно подчеркнуть именно эту последовательность планов романа и их хронологию, так как до получения материалов из архива Главного штаба о капитане Башарине, пощаженном Пугачевым при взятии крепости Ильинской, Пушкин никакими данными об этом эпизоде не располагал. Имя капитана Башарина не встречалось ни в одном из печатных источников, во-первых, и не принадлежало к числу имен, известных людям из окружения Пушкина, во-вторых.

Приводим план романа о капитане Башарине:

Башарин отцом своим привезен в П.<етер>б.<ург> и записан в гвардию — за шалость сослан в гарнизон [11] — пощажен Пугач.<евым> при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Синбирск под начальством одного из полковников Пугач.<ева>. Он спасает отца своего, который его не узнает. Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугач.<ева> — принят опять в гвардию. Является к отцу в Москву — идет с ним к Пугач.<еву>.

[Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость.]

[Пугачев, взяв одну, подступает к другой — Башарин первый на приступе.]

[Требует в награду.]

К этому же плану относятся несколько строк, намечающих новую мотивировку одного из узловых моментов фабулы, — появление героя в стане Пугачева:

Башарин дорогою во время бурана спасает башкирца (le mutilé). Башкирец спасает его по взятии крепости — Пугачев щадит его, сказав

[11] К этому месту плана относится вставка, сделанная карандашом на полях в верхней части листа. Вставка эта от времени совершенно стерлась и читается с большим трудом. Условная ее расшифровка: «Он отправился из страха отцовского гнева» (8, кн. 2, 928).

башкирцу: «*Ты своею головою отвечаешь за него*». Башкирец убит — etc. (8, кн. 2, 929)

Из проекта введения к роману о Башарине, относящегося к 5 августа 1833 г., мы можем установить, что он был задуман как записки героя, т. е. точно та́к, как повествование в «Капитанской дочке», построенное как рассказ П. А. Гринева. Политическая дидактика мемуариста прикрывалась в этом предисловии совершенно якобы бесхитростным обращением автора к своему внуку: «Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей». И далее: «Ты увидишь, что, завлеченный пылкостию моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых. То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоем два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство» (см. выше, с. 99).

По своей тональности это «введение» настолько близко к «Капитанской дочке», что если бы мы не знали его даты, то никак не могли бы ассоциировать его героя с Башариным. Этот же план, несмотря на наличие в нем многих эпизодов, близких «Капитанской дочке», в своих основных линиях гораздо более тесно связан с начальным замыслом Пушкина, когда в центре эпопеи стоял не Гринев, а Шванвич. В фабуле романа о Башарине вновь воскресли петербургские сцены, известные нам по варианту «Шванвич — Перфильев» (см. выше, с. 155—157).

Башарин — гвардеец, высланный «за шалость» из столицы в окраинный крепостной гарнизон, как будущий Швабрин в Белогорскую крепость. Он и возвращается в гвардию, побывав в войсках и Пугачева и его усмирителя Михельсона. В черновых заметках, развивающих и дополняющих начальный план, появляются первые контуры образов отца и дочери Мироновых — «старый комендант» и «комендантская дочка». Пушкин, правда, перечеркивает эти строчки, но мы не можем не учесть, что Башарин, подобно будущему Гриневу, не только уже связан с «комендантской дочкой», но даже спасает ее от пугачевцев, в рядах которых действует и он сам. Башарин честно служит Пугачеву. Он даже «первый на приступе» и после взятия крепости, в которой скрывается любимая им девушка, «требует в награду» за свой подвиг именно ее, дочь убитого коменданта. С этой фабульной линией связан в новом варианте романа и другой литературный штамп — Башарин «спасает отца своего, который его не узнает». Как далеки еще эти надуманные эффекты от «нагой простоты» типических ситуаций того же плана в «Пропущенной главе» будущей «Капитанской дочки»!

Приближает этот план к «Капитанской дочке» и новый вариант мотивировки пощады Башарина Пугачевым («Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца»). Возвращаясь в этой сцене к одному из планов романа о Шванвиче, Пушкин рассчитывает свести своего героя уже не с самим Пугачевым, а с одним из изувеченных в процессе следствия

и суда деятелей башкирского восстания 1741 г. От этого замысла Пушкин скоро отказался — вместо «старого башкирца» в последнем плане «Капитанской дочки» появляется опять Пугачев. Но образ изувеченного башкирца настолько прочно утвердился в памяти поэта, что именно с этим башкирцем, у которого отрезаны язык, уши и нос, мы встречаемся в «Капитанской дочке» (сцена допроса его в главе VI и его же образ в главе VII, когда изувеченный старик сам распоряжается у виселицы в качестве палача).

К зиме 1834—1835 гг. относится последний из известных нам планов новой перестройки некоторых частей романа о Шванвиче. Мы говорим только о перестройке, и притом не всего романа, а лишь некоторых его эпизодов, так как в новом варианте плана нет ни начальных сцен произведения (завязка отношений между его героем и Пугачевым во время бурана), ни его концовки (судьба Валуева—Гринева после получения им в Оренбурге письма от Марьи Ивановны и роль последней в его спасении). В новом варианте плана характерен, в отличие от всех предшествующих, упор не на политическую линию Шванвич — Пугачев, а на локальный историко-бытовой материал (семья Горисовых, т. е. будущих Мироновых, и роман Валуева—Гринева с Марьей Ивановной на фоне белогорской идиллии, разрушаемой в огне и буре гражданской войны). Снижение героя продолжается — Валуев не Шванвич и даже не Башарин, но все же образ его не расщеплен еще, как в окончательной редакции романа, на Швабрина и на Гринева, — поэтому в новом варианте нет и поединка (будущей главы IV), а ранение героя происходит не на дуэли, а во время осады крепости.

Оговорим еще одну особенность этого плана — в нем новый «герой» обозначен именем и фамилией своего живого прототипа. Это Петр Александрович Валуев (1815—1890) — девятнадцатилетний жених дочери князя П. А. Вяземского, друга Пушкина. Не трудно установить и прототип героини. Под именем и фамилией Марьи Горисовой (барышни) в плане значится Марья Васильевна Борисова, молодая девушка, сирота, жившая в доме П. И. Вульфа. Именно о ней Пушкин шутливо писал 27 октября 1828 г. из Малинников, что «намерен на днях в нее влюбиться» (14, 33). Характерен и зачеркнутый вариант фамилии Валуева — Швабрин, впоследствии использованный в «Капитанской дочке». Знак вопроса (в скобках), заменяющий фамилию пугачевского атамана, подступающего к крепости, свидетельствует о том, что Пушкин еще не решил, сам ли Пугачев будет показан в этой главе романа или кто-либо из его соратников.

Приводим текст нового плана:

Валуев приезжает в креп.<ость>.

Муж и жена *Горисовы*. Оба душа в душу — Маша, их балованная дочь (барышня Марья Горис.<ова>). Он влюбляется тихо и мирно.

Получают известие, и капит.<ан> советуется с женою. Казак, привезший письмо, подговаривает крепость — капит.<ан> укрепляется, готовится к обороне, [а дочь отсылает], подступает (?).

Крепость осаждена — приступ отражен — Валуев ранен — в доме ком.<енданта> — второй приступ. Крепость взята. Сцена виселицы. [Швабрин] Валуев взят во стан Пуг.<ачева>. От него отпущен в Оренб.<ург>.

Валуев в Оренб.<урге>. Совет. Комендант. Губернат.<ор>. Тамож.<енный> см.<отритель>. Прокурор. Получает письмо от М.<арьи> Ив.<ановны>. (8, кн. 2, 930)

Этот вариант плана исключительно близок к центральной части «Капитанской дочки», т. е. главам VI—X. Если его отнести к зиме 1834—1835 гг. (план набросан на листке, занятом стишками некоего А. Боде, дата которых 28 октября 1834 г.), то процесс создания первой редакции «Капитанской дочки» придется, по-видимому, на какую-то часть 1835 и первую половину 1836 г. Пушкин рассчитывал на более быстрые темпы работы, о чем свидетельствует его письмо к П. А. Плетневу от начала октября 1835 г. из Михайловского: «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, — через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (16, 56).

Роман не был дописан осенью 1835 г. не только из-за отсутствия «сердечного спокойствия». Неуспехом «Истории Пугачева» и отдельного издания «Повестей», запрещением «Медного всадника» и решением вернуться к «Дубровскому» лишь после напечатания «Капитанской дочки» создавалось положение, при котором Пушкин не мог рисковать гибелью в цензуре своего романа о Пугачеве. Несмотря на то что путь в печать был некоторым образом расчищен для него «Историей Пугачева», этот роман приходилось приспособлять к цензурно-полицейским требованиям с помощью целого ряда сложнейших литературно-тактических перестроек и ухищрений. Художественной и политической ответственностью этой неблагодарной работы и были прежде всего обусловлены медленные темпы ее осуществления.

Дошедшие до нас планы романа особенно ярко, как это было показано уже выше, демонстрируют процесс постепенного интеллектуального снижения его героя. Вместо Шванвича, выходца из кругов петербургской гвардейской оппозиции, активного союзника Пугачева, в четвертом варианте плана появляется капитан Башарин — пленник Пугачева, пощаженный по просьбе любивших его солдат, но скоро вновь оказавшийся в рядах правительственных войск. В шестом варианте плана исторический Башарин, которого Пушкин предполагал связать с Пугачевым случайным эпизодом «спасения башкирца» во время бурана (фабульное зерно, давшее в последней редакции «Капитанской дочки» заячий тулупчик), заменяется безличным Валуевым (в черновой редакции романа Валуев назван был Буланиным, чтобы не возникало никаких ассоциаций с его живым прототипом), но и этот невольный пугачевец, фигура почти нейтральная, в силу именно своей нейтральности в разгар крестьянской войны, не мог, разумеется с точки зрения охранительного аппарата дворянской монархии, функционировать в качестве положительного героя в исторической эпопее. Для закрепления

в «Капитанской дочке» даже скромных позиций Валуева—Гринева приходилось противопоставить ему резко отрицательный образ пугачевца из дворян, что и было осуществлено Пушкиным в последней редакции романа путем расщепления единого прежде героя-пугачевца на двух персонажей, один из которых (Швабрин), трактуемый как злодей и предатель, являлся громоотводом, охраняющим от цензурно-полицейской грозы положительный образ другого (Гринева).[12]

Фамилии Буланина и Гринева не вымышлены — обе они взяты были Пушкиным из известных ему документов о событиях 1773—1774 гг. В ведомости об обывателях, умерщвленных пугачевцами в окрестностях города Пензы, значился прапорщик Иван Буланин (9, кн. 1, 124), а в правительственной информации от 10 января 1775 г. об окончании процесса Пугачева имя подпоручика А. М. Гринева отмечалось в ряду тех, кои «находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными» (9, кн. 1, 191).

Ломка романа не ограничилась, конечно, отказом от его начального плана и изменением характера и функций его героев. Дошедшие до нас черновые и беловые рукописи «Капитанской дочки», относящиеся к 1836 г., позволяют установить, что Пушкину даже в процессе переписки романа приходилось исключать из него ряд сцен, образов и положений, социально-политическая значимость и острота которых была неприемлема для подцензурной печати 1830-х гг.

Так, например, при перебелении чернового автографа глав X—XII Пушкин изменил мотивировку появления Гринева в лагере Пугачева. Судя по рукописям, Гринев, получив отказ генерала Рейнсдорпа помочь ему спасти Марью Ивановну, принимает решение обратиться за помощью к Пугачеву. В этом и заключалась мелькнувшая в его голове «странная мысль», о которой упоминалось в начальной редакции главы X. С такой ситуацией более гармонировал и эпиграф главы XI — Гринев появляется у Пугачева в качестве его гостя, а не пленника. Полностью тогда же изъята была из романа глава, в которой Пушкин дал несколько ярких бытовых зарисовок крестьянского бунта в усадьбе отца Гринева. Эта глава (Гринев назывался в ней еще Буланиным, а Зурин — Гриневым) намечена была в одном из самых ранних планов романа о Шванвиче («Последняя сцена — мужики отца его бунтуют, он идет на помощь...»). Изымая эту главу из черновой редакции «Капитанской дочки», Пушкин сам назвал ее «Пропущенной главой» (см. об этом

---

[12] Имена и фамилии основных персонажей «Капитанской дочки» полностью оправдывают тонкое наблюдение А. З. Лежнева о пристрастии Пушкина к именам, «бытовой колорит которых не слишком ярок: Гринев, Миронов, Белкин, Дубровский, Муромцев, Берестов. Повинуясь общему закону, он дает густо бытовое имя-отчество жанровой фигуре, но никогда не героине: Василиса Егоровна (Миронова-мать) и Марья Ивановна (дочь). Кстати, любопытно отметить, что особенно охотно Пушкин называет своих героинь Машами («Капитанская дочка», «Дубровский», «Метель», «Выстрел», «Роман на Кавказских водах», «Роман в письмах»)» (см.: *Лежнев А.* Проза Пушкина: Опыт стилевого исследования. М., 1937, с. 244).

далее, с. 293) и сохранил в своих бумагах, не в пример другим частям рукописи.

Исторические черты дворянина-пугачевца, еще очень четкие в начальных планах повести о поручике Шванвиче, постепенно нейтрализуясь и стушевываясь в линии поведения Башарина, Валуева и Буланина, в окончательной редакции «Капитанской дочки» раздваиваются в образах Швабрина и Гринева. Если этот разлом прежде единого персонажа и был обусловлен в конечном счете соображениями цензурно-тактического, а не художественного порядка (роман о дворянине, сознательно переходящем на сторону крестьянской революции, не мог рассчитывать на печать), то нет все же никаких оснований для признания вольного или невольного пугачевца Шванвича политическим рупором Пушкина даже в тех вариантах его фабулы, которые предшествовали «Капитанской дочке».

Вчерне роман был закончен 23 июля 1836 г. Занявшись собственноручной его перепиской, Пушкин 27 сентября представил цензору П. А. Корсакову «первую половину» романа. 19 октября «Капитанская дочка» переписана была до конца, а около 24 октября сдана для подписи к печати. В обоих обращениях в цензуру Пушкин настойчиво просил сохранить тайну своего имени, предполагая выпустить роман в свет анонимно. Какие-то несущественные изменения Пушкину пришлось внести по требованию цензора в первые главы романа, а по поводу заключительной его части он же должен был письменно разрешить недоуменный вопрос своего официального читателя: «Существовала ли девица Миронова и действительно ли была у покойной императрицы?»

«Имя девицы Мироновой, — отвечал Пушкин 25 октября 1836 г. П. А. Корсакову, — вымышленно. Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (16, 177—178).

В переписке Пушкина с П. А. Корсаковым впервые появляется название его романа, до тех пор едва ли кому известное и в дошедших до нас бумагах великого поэта не упоминающееся.

Можно только гадать о причинах, в силу которых Пушкин не связал своего романа с именами Пугачева и Гринева, хотя эти его персонажи имели преимущественные права на выдвижение их в заголовке.

Остановившись на названии «Капитанская дочка», Пушкин тем самым поднимал в общей концепции романа роль Марьи Ивановны Мироновой как положительной его героини. Этим названием подчеркивался в «Капитанской дочке» и жанр семейной хроники как сюжетной основы утверждаемого им исторического повествования нового типа.

«Марья Ивановна, — правильно заключает один из исследователей прозы Пушкина, — далека от исторических событий, но в обстановке взбудораженной и жестокой стихии восстания, в потоке обрушившихся на нее несчастий она не теряет душевной силы, присутствия духа, нравственного обаяния. Маша Миронова сродни Татьяне Лариной — в ней

Пушкин еще раз подтвердил свой идеал скромной, но сильной духом русской женщины. Вместе с тем, выдвигая на первый план Машу Миронову, писатель выделял и тот внутренний смысл своей повести, который гласил, что в грозных испытаниях исторических бурь, ломающих и уничтожающих благополучие многих тысяч людей, опрокидывающих устоявшиеся формы жизни, высшей ценностью является человек, сохранение в нем той духовной красоты, благородства и гуманности, которые, пройдя сквозь горнило испытаний, в конце концов торжествуют».[13]

V. ВОСПОМИНАНИЯ И. А. КРЫЛОВА И ПОВЕСТЬ А. П. КРЮКОВА «РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ» КАК ПЕРВООСНОВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРОЕВ РОМАНА И БЫТА БЕЛОГОРСКОЙ КРЕПОСТИ

25 февраля и 8 марта 1833 г. Пушкин получил из архива Военного министерства первые партии секретной переписки о восстании Пугачева и о действиях правительственных войск по его ликвидации.[14] В числе документов, с которыми познакомился поэт, были и материалы об осаде пугачевцами Яицкого городка, одним из наиболее энергичных защитников которого являлся капитан Андрей Прохорович Крылов, отец баснописца. Понятно, что в числе первых живых свидетелей гражданской войны в Оренбургских степях, опрошенных Пушкиным, был Иван Андреевич Крылов.[15]

В своей статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825) Пушкин характеризовал знаменитого баснописца как «представителя духа» русского народа (11, 34); в полемических заметках 1830 г. он называл Крылова «во всех отношениях самым народным нашим поэтом — le plus national et le plus populaire» (11, 154); стихами Крылова постоянно уснащал свои произведения и письма, а за недооценку его басен горячо упрекал П. А. Вяземского (13, 89, 238, 240).

---

[13] *Степанов Н. Л.* Проза Пушкина, с. 221. Об этом же очень тонко писал А. Македонов в статье «Гуманизм Пушкина»: «Маша — совершенно обыкновенна, она просто человек, только человек. Но именно поэтому она в определенных условиях приобретает черты некоей *героической личности*, побеждающей обстоятельства, судьбу, причем этот героизм не имеет в себе ничего «тиранского». Ее спокойная решительность, сознание внутренней правоты, внутренняя сила побеждает, покоряет всех тех людей, с которыми она сталкивается. Она — победительница, она — настоящий герой повести (отсюда и название повести). Судьба, казалось, обрекла ее на то, что ее любовь к Гриневу не может осуществиться, ибо между ними стоит социальное неравенство. Но Маша избежала пути Дуни (в «Станционном смотрителе») и пути „русалки". Человеческое победило принцип класса» (Лит. критик, 1937, № 1, с. 92—100).

[14] Документальный и мемуарный материал, собранный Пушкиным для «Истории Пугачева», см. в академическом издании Пушкина (9, кн. 1 и 2), а также в специальных работах, указанных далее, на с. 282.

[15] Рассказы И. А. Крылова о пугачевщине, записанные Пушкиным, см. выше, с. 101. Критический свод дошедших до нас данных о литературных и личных отношениях Пушкина и Крылова см. в кн.: *Оксман Ю. Г.* От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника»: Исследования и материалы. Саратов, 1959, с. 36—42 и 111—114.

Поэтический опыт Крылова, как одного из величайших мастеров художественного слова, его опора на русскую сатирическую традицию, на просторечие и фольклор, его неразрывная связь с национально-демократической культурой, его ориентация на массового читателя обусловили тягу к нему наиболее передовых писателей-декабристов, вместе со всеми их учениками и попутчиками. На Крылова ориентировался и молодой Пушкин, разрывая с традициями Карамзина и Жуковского.

Нам известны две встречи Пушкина и Крылова, относящиеся к началу 1833 г., — одна из них произошла на заседании Российской Академии 4 февраля, а другая через два дня, на похоронах Н. И. Гнедича. Возможно, что в эти дни Пушкин и поделился впервые с Крыловым своими планами романа о Пугачеве (первые варианты нового замысла относились к концу января 1833 г.) и тогда же условился о встрече с ним для беседы о событиях 1773—1774 гг. Встреча эта, состоявшаяся 11 апреля 1833 г. в Петербурге, дала Пушкину материал для интереснейшей записи рассказов Крылова о делах и людях занимавшей его эпохи.

Пушкин широко использовал эту запись в «Истории Пугачева». Так, на основании данных И. А. Крылова о некоторых подробностях осады Яицкого городка, не получивших отражения в официальных источниках, Пушкин значительно выдвинул и очень положительно в своей монографии охарактеризовал скромного армейского капитана А. П. Крылова, как фактического руководителя защиты крепости, и несколько иронически отнесся к действиям полковника И. Д. Симонова, номинального начальника крепостного гарнизона. Напомним, например, описание штурма Яицкого городка пугачевцами 31 декабря 1773 г.: «Симонов оробел; к счастию, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения» (9, кн. 1, 37).

Внимательно учтены были Пушкиным все бытовые детали воспоминаний Крылова — о голоде в Оренбурге, об угрозе Пугачева «обречь смерти» капитана Крылова и всю его семью, презрительная характеристика генерала Рейнсдорпа (9, кн. 1, 36—38). Один из эпизодов защиты Яицкого городка, рассказанный в «Истории Пугачева» (9, кн. 1, 16), почти дословно перешел в главу VII «Капитанской дочки», в которой изменено было только имя Крылова, названного капитаном Мироновым.

Опираясь на рассказы И. А. Крылова об его отце, полунищем боевом офицере, выслужившемся из солдат, Пушкин создал в «Капитанской дочке» яркий образ капитана Миронова, тоже выдвиженца из низов, дворянина только по своему чину, пасынка крепостнического государства, но принадлежащего к той славной когорте простых русских людей, которые, служа своей родине, никогда не щадили, по крылатому слову Радищева, «ради отечества ни здравия своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства».

Когда «Капитанская дочка» была уже закончена и готовилась к печати, Пушкин в нескольких строках начатого им предисловия глухо упомянул еще об одном источнике своего романа:

«Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю. Читателю легко будет распозна<ть> нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические. А для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением. [Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был] » (8, кн. 2, 928).

Что же именно имел в виду Пушкин, ссылаясь в этом наброске на какой-то «оренбургский анекдот» и переходя затем от этого «анекдота» к его альманашной публикации? Нам представляется, что недописанное предисловие имело непосредственное отношение к факту использования в некоторых сценах «Капитанской дочки» повести под названием «Рассказ моей бабушки», опубликованной в «Невском альманахе на 1832 год»,[16] за подписью А. К. (инициалы эти принадлежали оренбургскому литератору-краеведу А. П. Крюкову).

В основе этого рассказа лежали бесхитростные воспоминания дочери коменданта Нижне-Озерной крепости капитана Шпагина (фамилия вымышленная) о тех злоключениях, которые выпали на ее долю после взятия крепости войсками Пугачева. Укрывшись после гибели отца в избе мельничихи, которая выдает капитанскую дочку за свою племянницу и тем спасает от домогательств Хлопуши, Настя Шпагина остается верна своему жениху, молодому офицеру Бравину, находящемуся в Оренбурге; с ним она и соединяется после освобождения Нижне-Озерной правительственными войсками. О близости образа капитана Миронова его прототипу в «Рассказе моей бабушки» особенно убедительно свидетельствуют следующие строки: «Покойный мой батюшка (получивший капитанский чин еще при блаженной памяти императрице Елисавете Петровне) командовал <...> отставными солдатами, казаками и разночинцами <...>. Батюшка мой <...> был человек старого века <...> Он или *учил* своих любезных солдат (видно, что солдатской-то науке надобно учиться целый свой век!), или читал священные книги, хотя <...> был учен по-старинному — и сам, бывало, говаривал в шутку, что грамота ему не далась, как турку пехотная служба. <...> Каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу старик-поручик, казачий старшина, отец Власий и еще кой-какие жители крепости...».[17]

Нет никаких сомнений, что введение в фабулу романа о Пугачеве и Шванвиче образов капитана Миронова, старика-поручика, казачьего

---

[16] Невский альманах на 1832 год. Спб., 1832, с. 250—332. Перепечатку «Рассказа моей бабушки» см. выше, с. 118—142. Комендантом Нижне-Озерной крепости был не капитан Шпагин, как указывалось в «Невском альманахе», а майор Харлов, молодая жена которого после его гибели стала наложницей Пугачева (см. выше, с. 110, 117). Возможно, конечно, что Настя в «Рассказе моей бабушки» была дочерью Харлова от первого брака, а подлинную фамилию коменданта не позволяли сохранить в рассказе, предназначенном для печати, бытовые и литературные условности. Отметим кстати, что Пушкин, создавая в «Капитанской дочке» образ коменданта Белогорской крепости, кроме рассказов Крылова и повести А. П. Крюкова, воспользовался еще и присловьем «слышь ты» из реплик Скотинина в «Недоросле» Д. И. Фонвизина (д. 2, явл. 3), которое, впрочем, встречается и у Крюкова.

[17] Невский альманах на 1832 год, с. 263—264.

старшины, священника, равно как и многих конкретных деталей быта степной окраинной крепости, обусловлено было знакомством Пушкина не только с воспоминаниями Крылова, но и с «Рассказом моей бабушки».

VI. ПОЛИТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ ГРИНЕВА, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИЯ В РОМАНЕ

В концовке третьего из дошедших до нас вариантов плана романа о Шванвиче мы находим неожиданное упоминание имени Дени Дидро («Дидерот»). Великий французский просветитель упоминается в этом плане в связи с хлопотами старого Шванвича в Петербурге за сына, оказавшегося в рядах соратников Пугачева: «...отец едет просить. Орлов. Екатер.‹ина›. Дидерот. Казнь Пугачева» (8, кн. 1, 929). Переписка Пушкина позволяет установить, что за четыре или за пять месяцев до возникновения этого варианта плана он жил в Москве, где хлопотал по делам, а на досуге беседовал с П. В. Нащокиным и читал «Mémoires de Diderot» (15, 32).

В библиотеке Пушкина сохранилось посмертное четырехтомное издание «Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot», вышедшее в свет в Париже в 1830—1831 гг.[18] Самый внимательный анализ статей, заметок и писем Дидро в этом четырехтомнике не дает материала для каких бы то ни было ассоциаций имени Дидро с именами Пугачева и Шванвича, но в предисловии к этому изданию дочери Дидро читатель обнаруживает беглую справку о поездке Дидро в Петербург, позволяющую установить, что «самый ревностный из апостолов Вольтера», как Пушкин аттестовал Дидро, с сентября 1773 г. по февраль 1774 г. жил в столице Российской империи, т. е. находился в ней весь тот отрезок времени, который соответствует начальным месяцам восстания Пугачева и его наибольшим успехам. Это совпадение дат, очевидно, и привлекло внимание Пушкина к Дидро при разработке планов «Капитанской дочки».

Трудно сказать, какова была бы функция «Дидерота» в фабуле романа, если бы Пушкин не отказался от своего замысла. Судить об этом приходится тем осторожнее, что ни в сочинениях, ни в переписке Дидро не сохранилось не только прямых высказываний, но даже попутных упоминаний о пугачевщине. Тем не менее, однако, позиция Дидро была совершенно ясна для Пушкина.

В пору работы над романом о Шванвиче поэт уже располагал одним из редчайших списков еще не изданных тогда воспоминаний княгини Е. Р. Дашковой, в которых она рассказывала о своих спорах с Дидро

---

[18] *Модзалевский Б. Л.* Библиотека Пушкина: (Библиографическое описание). Спб., 1910, с. 225—226. Критическую сводку высказываний Дидро о России и русских см. в работах: *Бильбасов В. А.* Дидро в Петербурге. Спб., 1884; *Tourneux M.* Diderot et Catherine II. Paris, 1899; *Алексеев М. П.* Д. Дидро и русские писатели его времени. — В кн.: XVIII век. Л., 1958, сб. 3, с. 416—431.

о «рабстве наших крестьян».[19] Эти споры происходили в Париже за три года до восстания Пугачева. Дидро требовал от русских помещиков скорейшего освобождения крепостных крестьян, доказывая, что даже те их прослойки, благосостояние которых сравнительно обеспечено, «будь они свободны, стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Княгиня Дашкова, возражая Дидро, связывала проблему раскрепощения крестьян с расширением политических прав русского дворянства и с общим поднятием в стране «просвещения».

Княгиня Дашкова принадлежала к той придворной аристократии, к той новой знати, которая приходила к власти с каждым новым дворцовым переворотом, с каждым новым временщиком. Разумеется, Дашкова не с Гриневым и не с Дубровским, а с Паниным и Троекуровым.[20] Пушкин прямо говорит об этом в черновой редакции романа «Дубровский»: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне» (8, кн. 1, 162).

Суждения княгини Дашковой о «просвещении» и «свободе», высказанные в ее споре с Дидро и оправданные, с точки зрения апологетов помещичье-дворянской диктатуры, всем последующим ходом русской истории, начиная с пугачевщины и кончая «ужасами» восстания военных поселян, оставили определенный след не только в планах романа о Шванвиче, но и в окончательной редакции «Капитанской дочки». Мы имеем в виду философско-исторические афоризмы Гринева, прерывавшие в главе VI романа рассказ о пытке, которой подвергают старого башкирца, распространявшего в Белогорской крепости «возмутительные листы» Пугачева: «Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записи мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (8, кн. 1, 319).

В «Пропущенной главе» романа эти же размышления Гринева-мемуариста были дополнены и углублены еще более агрессивным высказыванием общеидеологического порядка: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас

---

[19] Записки Е. Р. Дашковой / Пер. с франц. по изд., сделанному с подлинной рукописи под ред. и с предисл. Н. Д. Чечулина. Спб., 1907, с. 101—103. Пушкин, в бумагах которого сохранились выписки из французского текста воспоминаний Дашковой, пользовался, вероятно, тем списком с рукописи, который принадлежал П. А. Вяземскому (Рус. арх., 1866, с. 17—21).

[20] Первой наметкой образа Троекурова в «Дубровском» можно считать строки одной из черновых строф поэмы «Езерский», над которой Пушкин работал в марте 1832 г.:

Матвей Арсеньевич Езерский,
Случайный, знатный человек,
Был [очень] славен в прош‹лый век›.

невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» (8, кн. 1, 383—384).

Перерабатывая эти политические формулировки для главы XIII последней редакции «Капитанской дочки», Пушкин оставил только первую из них, а все остальное отсек начисто.[21]

В новом варианте декларация Гринева утрачивала свою прежнюю остроту и претенциозность. Без навязчивой проекции в будущее, без прозрачных ассоциаций, связывающих Пугачева и пугачевцев с людьми, «которые замышляют у нас невозможные перевороты» (намек этот мог относиться и к Радищеву, и к декабристам, и к тому и другим вместе), скептическая сентенция о «русском бунте» превратилась в простую констатацию горестных впечатлений Гринева от событий и уроков крестьянской войны, живым свидетелем которой он оказался в 1773—1774 гг.

Для правильного понимания суждений, характеризующих политическую платформу Гринева, далеко не достаточно сослаться на их связь с установочными положениями княгини Дашковой в ее споре с Дидро, хотя эта связь и совершенно бесспорна. Не менее бесспорна близость мыслей Гринева и их словесного оформления тем пессимистическим суждениям о революции как о тормозе прогресса, которые Н. М. Карамзин декларировал в «Письмах русского путешественника».

«Утопия (или царство счастия), — писал Карамзин, — будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания добрых нравов... Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».[22]

В устах Гринева эта убогая «философия истории» не производила впечатления анахронизма, тем более что она документировалась в его же обращении к читателям ссылкой на «кроткое царствование императора Александра». Можно ли, однако, ставить знак равенства между суждениями автора «Капитанской дочки» и его «героя», если нам хорошо известно, что Пушкин всегда был глубоко враждебен тем идеологам дворянского консерватизма, мысли которых популяризировал Гринев? Больше того, борясь с философско-историческими принципами и княгини

---

[21] О словах Гринева «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» см. примеч. на с. 290—291.

[22] *Карамзин Н.* Соч. М., 1803, т. 4, с. 193 («Письма русского путешественника», ч. 3, письмо из Парижа от 1790 г.). Формула «без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» в заметках Пушкина по поводу «Путешествия» Радищева очень близка известной сентенции Ж.-Ж. Руссо о проекте «вечного мира» Сен-Пьера: «des moyens violents et redoutables à l'humanité» («средства жестокие и ужасные для человечества»). Цитируя в 1821 г. эти слова Руссо, Пушкин писал: «Il est évident que ces terribles moyens, dont il parlait, s'étaient les révolutions» (*перевод:* «Ясно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, — революции» — 12, 189). См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин: Материалы к монографии, кн. 2, с. 149.

Дашковой и Карамзина, Пушкин никогда, по собственным его словам, не принадлежал к числу «подобострастных» поклонников культуры XIX столетия, отвергая ее антигуманистический характер, свой век считал «жестоким веком» и, вопреки Гриневу, не имел никаких оснований идеализировать Александра I, которому «подсвистывал» до самой его смерти.

Напомним, что созданию «Капитанской дочки» сопутствовали не только «История Пугачева» и статьи о Радищеве, но и работа над «Медным всадником» и «Сценами из рыцарских времен». А в тот самый день, когда закончена была переписка «Капитанской дочки», т. е. 19 октября 1836 г., Пушкин, отвечая Чаадаеву на его «Философическое письмо», заявлял: «Нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко» (16, 393).

Мы выписываем полностью эти строки, так как они являются едва ли не самым значительным свидетельством бескомпромиссно отрицательного отношения Пушкина к верхам дворянской общественности 1830-х гг., с их «равнодушием ко всякому долгу, справедливости и истине», с их «циничным презрением к человеческой мысли и достоинству». Приходя в отчаяние от духовного одичания правящего класса, Пушкин, разумеется, не мог в это же самое время простодушно «дивиться» вместе с Гриневым «быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия».

Изучение истоков суждений Гринева о культуре и революции привело нас к общественно-политическим взглядам княгини Дашковой и Карамзина. Как прописные истины, характерные для консервативно-дворянского мышления, дидактические афоризмы Гринева, в тех же словах и в той же художественной функции, определились в творческом сознании Пушкина не в процессе его работы над образами «Капитанской дочки», а в пору изучения им «Путешествия из Петербурга в Москву».

Книгу Радищева Пушкин знал давно — и знал не понаслышке. Не являлись новостью для него и те споры о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», которые волновали передовых русских людей 1810-х и 1820-х гг. Пушкин был близок с Н. И. Тургеневым еще в ту пору, когда будущий вождь Союза Благоденствия, негодуя на низкий культурный уровень верхушки русского поместного дворянства, следующим образом обобщал свои мысли по этому поводу: «Есть ли верить, — писал он 14 ноября 1817 г. своему брату, — словам тех, которые говорят, что образованность и свобода рождаются единственно от просвещения и что хорошие писатели всего более действуют на образованность, есть ли верить словам сим, то в последние 30 лет мы далеко должны бы уйти вперед и в образованности и в свободе. Но опыт не подтверждает слов сих». И далее: «Свобода, устройство гражданское производят и образованность и просвещение. *Одно просвещение* никогда не доведет до свободы. Франция прежде революции была в сем случае убедительным

доказательством. Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению».[23]

В письме от 13 октября 1818 г. Н. И. Тургенев писал тому же своему корреспонденту: «Беда, как мы и в просвещении пойдем назад. По крайней мере идти недалеко — „Мы на первой станции образованности“, — сказал я недавно молодому Пушкину. — „Да, — отвечал он, — мы в *Черной Грязи*“».[24]

Это меткое символическое обобщение следствий затянувшейся диктатуры «дикого барства» имело в каламбуре Пушкина двойной упор, ассоциируясь не только с названием первой ямской станции на большой дороге из Москвы в Петербург, но и с заголовком заключительной главы книги Радищева, той главы («Черная Грязь»), где подытоживались его мысли о «горестной участи многих миллионов» жертв «самовластия дворянского».[25]

Возобновляя старый спор Дидро с княгиней Дашковой о «просвещении» и «свободе» и переводя эту дискуссию в условия 1810-х гг., и молодой Пушкин и Н. И. Тургенев в борьбе со своими оппонентами имели на вооружении не только «Путешествие» Радищева. В 1804 г. вышла в свет в Петербурге книга И. П. Пнина «Опыт о просвещении относительно к России». Страстный противник крепостничества, автор этого замечательного трактата отнюдь не являлся сторонником революционной ломки исторически сложившихся форм социально-политического быта. Он верил и в реформы сверху, принимал не только царя, но и сословное государство, в котором все четыре основных «состояния» — дворянство, духовенство, мещанство и крестьянство — якобы «необходимо нужны, поелику каждое из оных есть не что иное, как звено, государственную цепь составляющее». И все же Пнин отказывается понимать, почему в России «из сих четырех состояний одно только земледельческое является в страдательном лице».

И. П. Пнин не сомневается, что «там, *где нет собственности*, где никто не может безопасно наслаждаться плодами своих трудов, там самая *причина* соединения людей истреблена, там узел, долженствующий скреплять общество, уже разорван, и будущее, истекая из настоящего положения вещей, знаменует черную тучу, страшную бурю в себе заключающую».[26]

«Опыт о просвещении» И. П. Пнина лег в основание двух антикрепостнических рукописных трактатов, вышедших из среды декабристов. Один из них — «Нечто о состоянии крепостных крестьян» — принадлежал

---

[23] Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к С. И. Тургеневу / Ред. и примеч. А. Н. Шебунина. М.; Л., 1936, с. 241 (курсив наш).

[24] Там же, с. 267.

[25] *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Спб., 1790, гл. «Черная грязь», с. 417—418.

[26] *Пнин И. П.* Опыт о просвещении относительно к России. — В кн.: *Пнин И. П.* Соч. М., 1934, с. 132—133. Литературно-политическую характеристику Пнина и наиболее полный свод материалов о нем см. в кн.: *Орлов Вл.* Русские просветители 1790—1800-х годов. Л., 1950, с. 63—176 и 445—459.

Н. И. Тургеневу и подан был в конце 1819 г. царю через петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича.[27] Второй — «О рабстве крестьян» — вышел в конце 1820 г. из-под пера капитана В. Ф. Раевского и представлял собою гневную отповедь на записку известного идеолога крепостничества графа Ф. В. Ростопчина «Замечания на книгу графа Стройновского „Об условиях помещиков с крестьянами"».

«*Не человек созревает до свободы*, — писал Раевский, — но свобода делает его человеком и развертывает его способности <...> Общий голос некоторых невежд: «*еще рано, еще умы не готовы*» — означает или выражает отголосок феодализма и малодушия. Делать добро и действовать благородно гораздо лучше рано, нежели поздно <...> Крестьянин, не имеющий никакого голоса и не смеющий доносить, жаловаться и быть свидетелем на своего помещика, *может ли созреть для свободы?* Нет! Отягощение приводит его в отчаянное бездействие и невнимание к собственному».[28]

Пушкин был одинаково близок и с Н. И. Тургеневым и с В. Ф. Раевским. Поэтому у нас есть все основания утверждать, что спор о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», получивший отражение и в первой и во второй из отмеченных выше декабристских записок о необходимости скорейшей ликвидации крепостных отношений, ему был не менее памятен в пору работы над «Капитанской дочкой», чем парижская дискуссия Дидро с княгиней Дашковой.

К «Путешествию из Петербурга в Москву» и к его проблематике Пушкин вновь обратился через восемь лет после разгрома декабристов. Свою работу над статьей о книге Радищева он начал в Болдине в первых числах декабря 1833 г., тотчас же после окончания второй редакции «Истории Пугачева». Эта редакция, созданная под впечатлением «Путешествия» Радищева, отменила первый вариант монографии о Пугачеве, вчерне законченный в конце мая 1833 г. в Петербурге.

Одной из наиболее острых и ответственных частей статьи Пушкина являлся тот ее раздел, который посвящен был предпоследней главе книги Радищева («Пешки») и назывался в его беловой редакции «Русская изба» (11, 256—258). Именно в этой части своего трактата Пушкин характеризовал с наибольшей четкостью и полнотою правовое положение русского крестьянина и условия его экономического быта, именно в этом разделе определял свое отношение к особенностям подхода Радищева к занимавшим их обоих большим проблемам и реагировал на сформулированные с железной логикой суждения автора «Путешествия из Петер-

---

[27] Записка Н. И. Тургенева «Нечто о состоянии крепостных крестьян» была опубликована по автографу, представленному царю в 1819 г., в изд.: Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его императорского величества канцелярии. Спб., 1891, вып. 4, с. 441—460.

[28] См.: *Базанов В. Г.* Владимир Федосеевич Раевский. Л.; М., 1949, с. 110, 112 (записка В. Ф. Раевского «О рабстве крестьян»). О записке В. Ф. Раевского см. также в нашей статье «Из истории агитационной литературы двадцатых годов XIX века» (в кн.: Очерки из истории движения декабристов / Под ред. Н. М. Дружинина, Б. Е. Сыроечковского. М., 1954, с. 509).

бурга в Москву» о неотвратимости крестьянской революции, если крепостничество в ближайшее же время не будет ликвидировано тем или иным путем сверху.

Трудности, стоявшие перед Пушкиным как политическим публицистом, усугублялись еще и тем, что писал он не памфлет, рассчитанный на нелегальное распространение, а статью для печати. Он хорошо знал о невозможности в цензурно-полицейских условиях 1830-х гг. хоть сколько-нибудь свободной трактовки вопросов, поставленных в книге Радищева, а потому и писал о них с исключительной осторожностью, избегая точных цитат и обнаженных формулировок, часто лишь намеками, эзоповским языком.

Самым заголовком «Русская изба» Пушкин искусно маскирует тематику этого раздела своей статьи и усыпляет бдительность цензуры, переводя внимание читателя с политических выводов Радищева на его бытовые зарисовки. Якобы всерьез стремясь подорвать не только общие заключения, но и конкретные наблюдения автора «Путешествия», Пушкин иронизирует по поводу его «приторных и смешных» сравнений русского крестьянина с «несчастными африканскими невольниками», по поводу его «карикатурного» описания условий быта русского мужика. Пушкин подчеркивает свое нежелание быть голословным и, в противовес Радищеву, дает большой и разнообразный сравнительно-исторический материал — от «Путешествия в Московию» Мейерберга и зарисовок французской деревни в книгах Лабрюйера и маркизы де Севинье до «Писем из Франции» Фонвизина. И действительно, некоторые параллели, извлеченные из этих источников, давали основание утверждать, что быт французского хлебопашца XVII—XVIII столетия был не лучше, а хуже условий жизни русского крестьянина той же поры. Но, выдвигая этот тезис, утешительный для мышления апологетов крепостного строя, Пушкин как бы вскользь, на ходу, вносит в свои заключения оговорку, совершенно аннулирующую цепь всех предшествующих сопоставлений. В самом деле, если Фонвизину, путешествовавшему по Франции лет за 15 до «Путешествия из Петербурга в Москву», судьба русского крестьянина «показалась счастливее судьбы французского земледельца», если по авторитетным свидетельствам других наблюдателей «судьба французского крестьянина не улучшилась» ни в царствование Людовика XV, ни в правление его сына, то впоследствии, по удостоверению Пушкина, «все это, конечно, переменилось» (11, 231). В начальной редакции главы эти строки имели еще более выразительную концовку: «И я полагаю, что французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина» (11, 231). Пушкин прямо не говорит о причинах этого коренного изменения условий быта «французского земледельца», но и из контекста совершенно ясно, что французский крестьянин стал счастливее *после* царствования «преемника Людовика XV», т. е., в переводе с эзоповской фразеологии на общепонятную, *после казни Людовика XVI* и ликвидации революционным путем дворянского землевладения.[29]

[29] Некоторые обобщения, вытекавшие из анализа текста «Русской избы», впервые опубликованы были нами (см.: *Оксман Ю. Г.* От «Капитанской дочки» к «Запи-

Итак, если судьбу французского крестьянина сделала «счастливой» победоносная революция, то в судьбе русского крестьянина со времен Фонвизина и Радищева никаких перемен к лучшему не произошло. Пушкин утверждает, что «ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 г., как русская деревня в 1833 г.». Не рискуя сравнивать наблюдения Радищева во время «Путешествия из Петербурга в Москву» со своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Оренбург и из Оренбурга в Болдино, Пушкин предлагает своему читателю вглядеться в зарисовки Мейерберга, сделанные почти 200 лет назад, и, со своей стороны, не находит существенных изменений к лучшему.

Каков же ход дальнейшей работы Пушкина над этой главой? В абзаце четвертом, непосредственно следующем за сентенцией о счастливом положении французского земледельца, Пушкин признается, что «строки Радищева навели на него уныние»: «Я думал о судьбе русского крестьянина.

К тому ж подушное, боярщина, оброк,
И выдался ‹ль› когда на свете
Хотя один мне радостный денек?..»

Характерно, что Пушкин не рискует дать точную цитату из нелегального Радищева о тяжести крепостного гнета и заменяет ее строфой из басни Крылова «Крестьянин и Смерть». Не остается никаких сомнений в том, что Пушкин, говоря об «унынии», которое вызвали в нем строки Радищева, имел в виду следующее обращение Радищева к правящему классу: «Звери алчные, пьявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем: то, чего отнять не можем, — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет ‹...›. С одной стороны — почти всесилие, с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребии заклепанного во узы, се жребии заключенного в смрадной темнице, се жребии вола во ярме».[30]

В черновой редакции своих замечаний к этой главе «Путешествия» поэт заставляет полемизировать с Радищевым вымышленного «английского путешественника», утверждающего, что свободный английский крестьянин «несчастнее русского раба» (11, 231). В беловой редакции главы «Русская изба» Пушкин заменяет английского туриста московским барином, от имени которого якобы и корректирует Радищева. Этот «барин» подменяет в окончательной редакции «Русской избы» не только английского путешественника, но и самого Пушкина.[31] Именно в его уста поэт

скам охотника», с. 74—76). Эти страницы бегло пересказаны в кн.: *Еремин М. П.* Пушкин-публицист. М., 1963, с. 212—213.

[30] Именно эта цитата из «Путешествия» Радищева (глава «Пешки») заменена была в статье Пушкина выпиской из басни Крылова.

[31] Впервые образ рассказчика в неоконченной статье Пушкина о «Путешествии из Петербурга в Москву» был отделен от ее автора в работе: *Макогоненко Г. П.* Пушкин и Радищев. — Учен. зап. / Ленингр. гос. ун-т, 1939, № 33, вып. 2, с. 110—133.

вкладывает знаменитую сентенцию: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения <...> Благосостояние крестьянина тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены, но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (11, 58).

Именно эти строки неоконченной статьи о книге Радищева и перенесены были Пушкиным через два года после их написания в главу VI «Капитанской дочки» как автоцитата, необходимая для конкретизации в романе условных идеологических позиций его героя. Для того чтобы обеспечить прохождение романа в печать, Пушкин должен был пойти на расщепление образа дворянина-интеллигента, оказавшегося в стане Пугачева. Положительными чертами Шванвича наделен был Гринев, а отрицательными — Швабрин. Но этого раздвоения оказалось недостаточно, и Пушкин решительно отделил Гринева — участника событий, молодого человека, невольно поддающегося обаянию Пугачева, от Гринева — позднейшего мемуариста и комментатора, безоговорочно осудившего, с моралистических позиций правящего класса, крестьянское восстание и его вождей.[32]

Еще в середине 1825 г., в дискуссии, которую затеял Пушкин в своей переписке с Рылеевым по поводу его уступок цензуре, обесцветивших «Войнаровского», будущий автор «Истории Пугачева» уже, видимо, близко подошел к тем самым решениям некоторых проблем эзоповского

Наблюдения Г. П. Макогоненко были развиты в 1949 г. в статье: *Мейлах Б. С.* «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкина. — Изв. ОЛЯ АН СССР, 1949, № 3, с. 218; вошло в кн.: *Мейлах Б. С.* Пушкин и его эпоха. Л., 1958, с. 398—400. О нашем толковании образа путешественника как одного из многих других сатирических образов носителей реакционной общественно-политической и литературной идеологии, созданных Пушкиным в период 1827—1836 гг., см. далее, с. 179. Ничего нового не внесли в предложенную нами расшифровку текста «Русской избы» случайные замечания об этой ключевой главе статьи Пушкина о Радищеве в очерке: *Абрамович С. Л.* Крестьянский вопрос в «Путешествии из Москвы в Петербург». — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1962, т. 4, с. 224 и 233—236.

[32] Для молодого Гринева, а не для Гринева-мемуариста характерны были и те его черты, о которых напомнил Ю. М. Лотман в статье «Идейная структура „Капитанской дочки"». Исследователь утверждает, что герой романа Пушкина привлекает и сейчас симпатии читателей потому, что он «не укладывается в рамки дворянской этики своего времени — для этого он слишком человечен». И далее: «Ни в одном из современных ему лагерей он не растворяется полностью. В нем черты более высокой, более гуманной человеческой организации, выходящей за пределы его времени. Отсвет пушкинской мечты о подлинных человеческих общественных отношениях падает и на Гринева». Мы согласны с Ю. М. Лотманом и в том, что в отличие от Гринева Швабрин «без остатка умещается в игре социальных сил своего времени. Гринев у пугачевцев на подозрении как дворянин и заступник за дочь их врага, у правительства — как друг Пугачева. Он не „пришелся" ни к одному лагерю — Швабрин к обоим: дворянин со всеми дворянскими предрассудками (дуэль), с чисто сословным презрением к достоинству другого человека, он становится слугой Пугачева» (Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 19—20).

языка, которые впоследствии получили плоть и кровь в образах «Истории села Горюхина», «Повестей Белкина», «Путешествия из Москвы в Петербург» и даже «Капитанской дочки».

Письмо Пушкина с разбором «Войнаровского» не сохранилось, но об его установочных положениях мы можем судить по ответу Рылеева: «Ты во многом прав совершенно, особенно говоря о Миллере. Он точно истукан. Это важная ошибка; она вовлекла меня и в другие. Вложив в него верноподданнические филиппики за нашего великого Петра, я бы не имел надобности прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова» (13, 182).

Пушкину не пришлось смягчать впечатления от Пугачева автокомментариями, писанными не столько для читателей, сколько для цензоров, — «говорить за Войнаровского для Бирукова».

В подчеркнуто наивных философско-исторических сентенциях и моралистических афоризмах Гринева, комментировавших события романа, окончательно определился в творчестве Пушкина метод новых форм эзоповского языка и связанных с этим языком некоторых других приемов художественной экспозиции. На подступах к «Капитанской дочке» все больше и больше занимает внимание поэта работа над сатирическим образом бесхитростного выразителя консервативно-помещичьей идеологии, который то пытается полемизировать с Радищевым (московский барин, член «английского клоба», едущий из Москвы в Петербург), то негодует на «Историю Пугачева» (образ престарелого «провинциального критика» в ответе Пушкина на рецензию Броневского), то громит всю современную мировую литературу с позиций мракобесов Российской академии, не замечая комического эффекта своих претензий («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной»). Все эти образы генетически связаны между собою, выполняя одну и ту же литературно-политическую функцию и в художественной прозе и в публицистике Пушкина. К числу их принадлежит и Гринев как автор записок о временах Пугачева, в которых он «с важностью забавной» судит об успехах европейского просвещения, о «кротком царствовании Александра I» и о том, что «всякие насильственные потрясения гибельны и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».

Для усыпления бдительности цензурно-полицейских органов и официозной печати этой дымовой завесы было совершенно достаточно, но внимательный читатель с условными «верноподданническими филиппиками» Гринева-мемуариста мог не считаться. Язык образов и логика фактов были гораздо убедительнее сентенций их толкователя.

VII. ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ПУГАЧЕВА

10 апреля 1834 г. Д. Н. Бантыш-Каменский, автор известной «Истории Малой России» и собиратель материалов для «Словаря достопамятных людей русской земли», обратился к Пушкину с предложением прислать ему «верное описание примет, обыкновенной одежды и образа жизни Пугачева», почерпнутое «из писем частных особ» к его, Бан-

тыш-Каменского, «покойному родителю» (15, 125). Пушкин реагировал на это предложение очень живо и в середине мая получил уже от Бантыш-Каменского не только сводку данных о Пугачеве, но и специальную подборку биографических материалов о крупнейших деятелях восстания 1773—1774 гг. и об его усмирителях.

Все эти материалы Пушкин получил уже после того, как работа над основным текстом «Истории Пугачева» была доведена им до конца и даже успела пройти через цензуру Николая I. Тем не менее поэт с большим вниманием отнесся к бумагам Бантыш-Каменского и в письме к последнему от 3 июня 1834 г. высоко оценил их значение: «Не знаю, как Вас благодарить за доставление бумаг, касающихся Пугачева. Несмотря на то что я имел уже в руках множество драгоценных материалов, я тут нашел неизвестные, любопытные подробности, которыми непременно воспользуюсь» (15, 155).

Чем же Пушкин воспользовался из этих материалов в своей монографии? В печатном тексте «Истории Пугачева» ссылка на бумаги Бантыш-Каменского сделана только однажды, и то по весьма случайному и малозначительному поводу, — мы имеем в виду справку в главе седьмой об убитом в Казани генерале Кудрявцеве: «Извлечено из неизданного Исторического словаря, составленного Д. Н. Бантыш-Каменским» (9, кн. 1, 115).

Можем ли мы заключить на основании единственной печатной ссылки Пушкина на «Словарь» Бантыш-Каменского, что в других случаях он в своей «Истории» к этому источнику не обращался? Разумеется, нет! Сошлемся, например, на строки о Белобородове в перечне сподвижников Пугачева, который Пушкин дает в главе третьей своей монографии. Ни в черновых рукописях «Истории Пугачева», ни в беловой рукописной ее редакции мы не найдем имени Белобородова в ряду «главных сообщников» самозванца. Имя Белобородова появляется только в печатном тексте, т. е. лишь после того, как Пушкин познакомился с биографией Белобородова, составленной Бантыш-Каменским, и сделал из нее следующую выписку:

«Иван Наумов сын Белобородов, отставной канонер, пристал к Пуг‹ачеву› в 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие войсковые атаманы и в фельдмаршалы. Был жесток, знал грамоты, соблюдал в шайках строгую дисциплину. Взят в июле под Казанью, пытан в Тайной экспедиции, наказан кнутом 13 августа, потом привезен в Москву и казнен смертию на Болоте 5 сентября 1774 — в 10 час. пополудни (?).[33]

(Б.‹антыш›-Каменский)».

На основании данных Бантыш-Каменского Пушкин дополнил перечень «главных сообщников» Пугачева именем Белобородова и оттенил в его характеристике именно те черты, которые автор «Словаря достопа-

[33] Знаком вопроса Пушкин откликнулся на нелепость обозначения в «10 час. пополудни» вместо «в 10 часов утра».

мятных людей» считал для Белобородова основными: «Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца. Он вместе с Падуровым заведовал письменными делами у безграмотного Пугачева и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бутовщиков» (9, кн. 1, 28).

Характеристика Белобородова, бегло намеченная в «Истории Пугачева», была художественно развернута впоследствии в «Капитанской дочке», в знаменитой сцене главы «Мятежная слобода», когда «щедушный и сгорбленный старичок» в голубой ленте, которого Пугачев называет то «Наумычем», то «фельдмаршалом» (вот когда Пушкину пригодилась его выписка из Бантыш-Каменского!), настаивает на том, что Гринев подослан в лагерь пугачевцев от «оренбургских командиров», и требует его повешения.

В числе материалов, полученных Пушкиным от Бантыш-Каменского, была биография и самого Пугачева.

Опираясь на такие источники, как официальное «Описание происхождения, дел и сокрушения злодея, бунтовщика и самозванца Емельяна Пугачева», как сентенция «О наказании смертною казнию самозванца Пугачева и его сообщников», как «Летопись Рычкова», Бантыш-Каменский, вопреки его уверениям, не располагал для своего труда никакими «письмами частных особ о Пугачеве», если не считать тех, которые опубликованы были в «Записках о жизни и службе А. И. Бибикова» (Спб., 1817). Из официальных источников Бантыш-Каменский механически перенес в свою компиляцию все их тенденциозно-памфлетные измышления о Пугачеве и многочисленные фактические ошибки при изложении событий 1773—1774 гг. Ни одна деталь повествования Бантыш-Каменского не представляла для Пушкина интереса новизны, чем, конечно, и объясняется его молчание об этой биографии как в основном тексте «Истории Пугачева», так и в примечаниях и приложениях к ней.

Однако, отвергая какую бы то ни было связь монографии Пушкина с рукописной биографией Пугачева, вошедшей впоследствии в «Словарь достопамятных людей русской земли»,[34] мы не можем не признать разительного сходства одной из страниц этой биографии с пушкинской зарисовкой Пугачева в начальных главах его «Истории». Это была именно та страница, которую Бантыш-Каменский характеризовал как «верное описание примет» и «образа жизни Пугачева». К чему же сводилось описание этих «примет»?

«Пугачев имел лицо смуглое, но чистое, сухощавое, — гласила эта справка, — глаза быстрые и взор суровый; левым глазом щурил и часто

---

[34] Словарь достопамятных людей русской земли, составленный Дмитр.‹ием› Бантыш-Каменским. М., 1836, ч. 4, с. 231—253. Дата цензурного разрешения: 30 октября 1836 г. Об использовании Пушкиным первоисточников этого «Словаря» см. в названной выше моей книге «От „Капитанской дочки“ к „Запискам охотника“» (с. 126—127).

мигал; нос с горбом; волосы на голове черные, на бороде такие же с проседью; роста был менее среднего; в плечах хотя широк, но в пояснице тонок; говорил просто, как донские казаки. Платье его состояло из плисовой малиновой шубы, под которою носил панцырь, и из таких же шаровар и казачьей шапки. С любимцами своими за обедом часто напивался допьяна; они сидели часто в шапках, а иногда в рубахах, пели бурлацкие песни, не оказывая ему никакого почтения; но когда он выходил на улицу, следовали за ним с открытыми головами. Являясь среди народа, Пугачев всегда бросал в толпу деньги. . .».

Нет надобности напоминать сейчас общеизвестные строки «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки», чтобы доказать совпадение их даже в деталях с этими зарисовками Пугачева и его быта. Однако не будем спешить с выводами, ибо все то, о чем повествовал Бантыш-Каменский, принадлежало не ему, а его первоисточникам, хорошо известным Пушкину в подлинниках.

В основном тексте «Истории Пугачева» Пушкин не дал или, точнее, не мог еще дать той портретной и речевой характеристики своего героя, которую он с таким мастерством развернул через несколько лет в «Капитанской дочке». Но, даже не ставя себе в 1834 г. этих задач, великий поэт уже в «Истории Пугачева» полностью использовал все первоисточники Бантыш-Каменского. В самом деле, первые краткие сведения о внешнем облике Пугачева Пушкин дает в главе второй своей работы, показывая будущего вождя крестьянского восстания после его бегства из казанской тюрьмы: «Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою» (9, кн. 1, 15). В главе четвертой Пушкин закрепляет это изображение, относящееся к лету 1773 г., деталями более раннего портрета Пугачева (1771): «Он был сорока лет от роду, росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темно-русые, бороду черную, небольшую и клином» (9, кн. 1, 41).

В обеих этих справках Пушкин опирается не на компиляцию Бантыш-Каменского, а на подлинные документы: в первом случае на показания яицкого казака Кожевникова, у которого скрывался Пугачев после своего бегства из казанской тюрьмы, во втором — на описание примет Пугачева, сделанное со слов его жены.

В приложениях к «Истории Пугачева» Пушкин печатает «Летопись» П. И. Рычкова, в которой находим мы еще один источник Бантыш-Каменского — показания о Пугачеве писаря оренбургского соляного правления Полуворотова: «Рост его ‹Пугачева› небольшой, лицо имеет смуглое и сухощавое, нос с горбом; а знаков он ‹Полуворотов› на лице его не приметил, кроме сего, что левый глаз щурит и часто им мигает. Волосы на голове черные, борода черная ж, но с небольшою сединою. Платье имеет: шубу плисовую малиновую, да и шаровары такие ж; шапку казачью. Речь его самая простая и наречия донских казаков; грамоте или очень мало, или ничего не знает» (9, кн. 1, 235).

Пушкин полностью перепечатывает первоисточник и основную часть отмеченного выше рассказа Бантыш-Каменского — показания корнета

Пустовалова, бывшего в плену у Пугачева и бежавшего 16 марта 1774 г. из Берды в Оренбург.

«Лицо имеет он, — сообщал Пустовалов о Пугачеве, — смуглое, но чистое, глаза острые и взор страховитый; борода и волосы на голове черные; рост его средний или и меньше; в плечах хотя и широк, но в пояснице очень тонок; когда случается он в Берде, то все распоряжает сам и за всем смотрит не только днем, но и по ночам; с сообщниками своими, которых он любит, нередко вместе обедает и напивается допьяна, которые обще с ним сидят в шапках, а иногда-де и в рубахах, и поют бурлацкие песни без всякого ему почтения; но когда-де выходит он на базар, тогда снимают шапки и ходят за ним без шапок, а он сам, когда публично ходит, то почти всегда бросает в народ медные деньги» (9, кн. 1, 324).

Показания Пустовалова, широко использованные Пушкиным в тексте главы третьей «Истории», извлечены были из «Летописи Рычкова» и вместе с последней перешли в «Приложения» к «Истории Пугачева».

Мы напомнили об основных документальных источниках, с помощью которых Пушкин реконструировал в своей «Истории» портретные черты Пугачева, вовсе не для того, чтобы показать несоизмеримость сведений Пушкина с эрудицией даже самого осведомленного из его предшественников. Для раскрытия пушкинского понимания образа Пугачева гораздо существеннее другой вывод, который позволяют нам сделать его первоисточники. И в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке» портрет Пугачева является не простым обобщением впечатлений от его живого образа, зарегистрированных в тех или иных документах и мемуарах, а результатом большой творческой работы по изучению, критическому отбору и политическому осмыслению всех этих исторических материалов.

Бантыш-Каменский смотрит на Пугачева глазами его классовых врагов, глазами его судей. Поэтому их свидетельства биографом только суммируются, а не анализируются. Если, например, в показаниях корнета Пустовалова отмечается в ряду других черт самозванца его якобы «страховитый взор», то составитель «Словаря достопамятных людей» закрепляет этот штрих в справке о Пугачеве как основной («взор суровый»), несмотря на то что в других свидетельствах о Пугачеве эта «примета» отсутствует. Решительно отбрасывает ее и Пушкин.

Почти во всех показаниях о Пугачеве подчеркивается его неграмотность («грамоте или очень мало, или ничего не знает», «безграмотный Пугачев», «он же вовсе и грамоте не умеет»). Повторяется об этом не раз и в биографической справке Бантыш-Каменского. Разумеется, не может обойти эту характерную деталь и Пушкин. Но уже в «Замечаниях о бунте», представленных Николаю I в дополнение к печатному тексту «Истории», великий поэт утверждал, что эта «безграмотность» Пугачева нисколько не мешала ему в его воззваниях к народу находить именно те слова, образы и формулировки, соперничать с которыми никак не могли ни правительственные манифесты, ни «публикации» высокообразованного начальства на местах: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам, — писал Пушкин, — есть удивительный обра-

зец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или *публикации,* Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (9, кн. 1, 371).

И все же подлинный исторический образ вождя крестьянского восстания не получил яркого художественного воплощения на страницах «Истории Пугачева». Не имея возможности полным голосом говорить о Пугачеве по соображениям цензурно-тактического порядка, Пушкин еще в большей степени был стеснен в этих страницах своего труда усвоенной им политической концепцией событий 1773—1774 гг. Эта концепция, уходящая своими корнями еще в пору изучения Пушкиным событий периода крестьянских войн и польской интервенции начала XVII в. и истории первого самозванца, закреплена была известной недооценкой личности самого Пугачева в «Путешествии из Петербурга в Москву» и теми соображениями, которые Пушкин нашел об этом в письмах генерала А. И. Бибикова к Д. И. Фонвизину: «Пугачев, — утверждал Бибиков, — не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование» (9, кн. 1, 45).

Эти строки, которые Пушкин с таким сочувствием выдвигал в главе пятой своей «Истории», дают ключ к его толкованию взаимоотношений Пугачева и его атаманов в главе третьей («Пугачев не был самовластен» и пр.). Эти же установки определяют позиции исследователя в главе восьмой: «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции. Довольно было появления двух или трех злодеев, чтоб взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки грабителей и бунтовщиков; и каждая имела у себя своего Пугачева...» (9, кн. 1, 69).

Вот почему в «Истории Пугачева» оказались только мастерские этюды к портрету Пугачева, но не цельный и законченный образ вождя крестьянского движения.

Не менее далек от оригинала был и тот вариант нарочито суженной характеристики Пугачева, который дал Пушкин в своем обращении в 1835 г. к поэту-партизану Д. В. Давыдову при посылке ему «Истории пугачевского бунта»:

Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

Декабрист Н. И. Тургенев еще в 1819 г., в пору своего постоянного общения с Пушкиным, бросил замечательную мысль о том, что многие пробелы русской историографии объясняются только тем, что «историю пишут не крестьяне, а помещики».[35] Работая над «Историей Пугачева»,

[35] Нечто о состоянии крепостных крестьян в России. Записка статского советника Николая Тургенева 1819 года. — В кн.: Декабристы: Отрывки из источников / Сост. Ю. Г. Оксман. М.; Л., 1926, с. 53.

Пушкин сделал все, что только было в его силах, чтобы избежать этих упреков. Едва закончив в Болдине новую редакцию своего труда (в отмену той, которая сложилась к середине 1833 г.), Пушкин в одном из черновых набросков письма к Бенкендорфу от 6 декабря 1833 г. отмечал, что «по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни господствующему образу мыслей» (15, 226).

Как известно, рупором этого «господствующего образа мыслей», т. е. общественного мнения крепостников, явился тотчас по выходе в свет «Истории Пугачева» министр народного просвещения и начальник Главного управления цензуры С. С. Уваров.

«В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают, — отмечал Пушкин в своем дневнике в феврале 1835 г. — Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении» (12, 337).

Глава цензуры реагировал на «Историю пугачевского бунта» точно так же, как и в свое время Екатерина II на «Путешествие из Петербурга в Москву», назвав его страницы «совершенно бунтовскими»: «Намерение сей книги на каждом листе видно, — писала царица. — Сочинитель <...> ищет всячески и защищает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства».[36]

Переходя от «Истории Пугачева» к «Капитанской дочке», Пушкин не мог уже не учитывать последствий сближения своей позиции с позицией Радищева, тем более что сближение это подсказывалось не только мнительностью и злонамеренностью тех или иных его критиков, но самым существом дела — особенностями пушкинской трактовки крепостнической общественности с «великими отчинниками» во главе и его же оценкой перспектив крестьянской революции. Трудности показа в этих условиях образа вождя крестьянского движения не упрощаются, а увеличиваются. В период между «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачева» Пушкину приходится работать над полемической статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву» и над очерком «Александр Радищев». Эти поиски новых путей к осмыслению событий романа оказываются особенно необходимыми потому, что поэт решительно отказывается от своего прежнего подхода к Пугачеву как человеку более или менее случайному, как к слепому орудию в руках яицких казаков, как к «прошлецу, не имевшему другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной» (9, кн. 1, 27).

В окончательной редакции романа от этой трактовки его героя почти не остается уже и следа. Мы говорим «почти», ибо образ Пугачева дан в «Капитанской дочке» не однолинейно, а в разных аспектах, в речах и действиях, о которых сообщает читателю не только автор романа, но и Гринев, от имени которого ведется повествование.[37]

---

[36] Архив князя Воронцова. М., 1872, кн. 5, с. 407—422.

[37] В политических афоризмах Гринева Пушкин явно пародировал порою тематику и язык философско-исторических сентенций В. Б. Броневского, выступившего

Пушкин, конспектируя летом 1833 г. рукописную хронику П. И. Рычкова «Осада Оренбурга», обратил внимание на рассказ о поведении пленного Пугачева в ставке графа П. И. Панина: «В Синбирск привезенный на дворе гр. Панина Пугачев отвечал ему дерзко и смело (хотя и признавался в самозванстве), за что граф ударил его несколько раз по лицу» (9, кн. 2, 772).

Поэт И. И. Дмитриев, рассказывая Пушкину об этой сцене, вспомнил еще одну жуткую ее деталь: «Панин вырвал клок из бороды Пугачева, рассердясь на его смелость» (9, кн. 2, 498).

В окончательном тексте «Истории Пугачева» Пушкин тщательно учел оба эти свидетельства. Но самый факт развертывания в самостоятельный эпизод кратких мемуарных данных о бессудной расправе графа Панина с Пугачевым не мог бы, конечно, иметь места, если бы в распоряжении Пушкина не оказалось еще одного источника. Мы имеем в виду то предание о Панине и Пугачеве, которым Пушкин это столкновение политически и психологически мотивировал в главе восьмой «Истории Пугачева»: «Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. — Кто ты таков? — спросил он у самозванца. — *Емельян Иванов Пугачев,* — отвечал тот. — Как же смел ты, вор, назваться государем? — продолжал Панин. — *Я не ворон* (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), *я вороненок, а ворон-то еще летает* <...>. Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды» (9, кн. 1, 78).

Кто же из симбирских старожилов (а сцена эта едва ли могла быть записана в другом месте) познакомил Пушкина с преданием о бесстрашной реплике Пугачева, которую не мог вспомнить Дмитриев и которую не записал Рычков? Естественнее всего предположить, что на помощь Пушкину здесь пришел П. М. Языков, старший брат Н. М. Языкова, один из интереснейших представителей симбирской интеллигенции 1830-х гг., знаток местного края и ревнитель его преданий, этнограф, историк и натуралист, с которым Пушкин провел несколько часов на пути в Оренбург и вновь увидался по дороге в Болдино. Именно о нем Пушкин писал 12 сентября 1833 г. жене из Симбирска: «Здесь я нашел старшего брата Языкова, человека чрезвычайно замечательного и которого готов я полюбить, как люблю Плетнева или Нащокина. Я провел с ним вечер» (15, 80).

В пользу симбирской локализации предания о смелой пугачевской шутке, вызвавшей кулачную расправу с ним графа Панина, свидетельствует и тот факт, что именно в Симбирской губернии записана была

против «Истории Пугачева» в «Сыне отечества» 1835 г.: «Политические и нравоучительные размышления, — писал Пушкин, — коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точность известий и ясного изложения происшествий» (9, кн. 1, 392).

А. М. Языковым, другим братом поэта, народная песня о беседе Пугачева с его тюремщиком:

Судил тут граф Панин вора Пугачева.
— Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иваныч,
Много ль перевешал князей и боярей?
— Перевешал вашей братьи семьсот семь тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
За твою-то бы услугу повыше подвесил.[38]

Предание, рассказанное Языковым, оставило след не только в «Истории Пугачева». Слова из живой речи пленного крестьянского вождя, записанные Пушкиным в Симбирске в 1833 г., явились тем зерном, из которого выросла вся речевая характеристика Пугачева в «Капитанской дочке».

Радищев, характеризуя мотивы или, как он говорил, «голоса русских народных песен», в них, в этих «голосах», предлагал искать ключи к правильному пониманию «души нашего народа».[39]

Пушкин с исключительным вниманием отнесся к этим творческим заветам автора «Путешествия из Петербурга в Москву» и уже во время своей поездки в Заволжье, Оренбург и Уральск именно в фольклоре нашел недостававший ему материал для понимания Пугачева как подлинного вождя крестьянского движения и свойств его характера как типических положительных черт русского человека. Это было открытием большой принципиальной значимости, ибо без него было бы невозможно и новаторское разрешение задачи воскрешения подлинного исторического образа Пугачева.

В процессе работы над монографией и романом Пушкин явился и первым собирателем и первым истолкователем устных документов народного творчества о Пугачеве, памятью о котором более полувека продолжало жить крестьянство и казачество Поволжья и Приуралья. Подобно тому как еще в пору своей михайловской ссылки великий поэт в «мнении народном» нашел разгадку успехов первого самозванца и гибели царя Бориса, так и сейчас, в осмыслении образа нового своего героя, он опирался не только и не столько на свои изучения памятников крестьянской войны в государственных архивах, сколько на «мнение народное», запечатленное в преданиях, песнях и рассказах о Пугачеве. В 1825 г. Пушкин считал Степана Разина «единственным поэтическим лицом русской истории» (13, 121); пугачевский фольклор позволил ему эту формулу несколько расширить.

---

[38] Песни и сказания о Разине и Пугачеве / Вступ. статья, ред. и примеч. А. Лозановой. М.; Л., 1935, с. 186 и 386—387. Подробнее об этом эпизоде и об его отражении в народной песне см.: Лит. наследство. М., 1952, т. 58, с. 231—232.

[39] *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву, гл. «София», с. 7.

«Уральские казаки (особливо старые люди), — осторожно удостоверял Пушкин в своих замечаниях о восстании, представленных царю 31 января 1835 г., — доныне привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-летняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал. — Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженым отцом? — Он для тебя Пугачев, — отвечал мне сердито старик, — а для меня он был великий государь Петр Федорович» (9, кн. 1, 373).

Без учета этих ярких и волнующих рассказов свидетелей и участников восстания, непосредственно воздействовавших на Пушкина своей интерпретацией личности Пугачева как подлинного вождя крестьянского движения, как живого воплощения их идеалов и надежд, «Капитанская дочка» не могла бы, конечно, иметь того политического и литературного звучания, которое она получила в условиях становления русского критического реализма как новой фазы искусства. Мастерство Пушкина, как и мастерство Толстого, это мастерство раскрытия самых существенных сторон действительности, самых существенных черт национального характера, показываемого не декларативно, не статично, а в живом действии, в конкретной исторической борьбе.

В своих суждениях по поводу «Путешествия из Петербурга в Москву», оформившихся примерно за два года до «Капитанской дочки», Пушкин с гордостью отмечал высокий интеллектуальный и моральный уровень русского трудового народа: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны».[40] Этот перечень положительных свойств русского крестьянина как черт типических, закрепленных в самых неблагоприятных условиях его политического и экономического быта, был полностью повторен, углублен и дополнен в знаменитой формулировке Белинского.

«Какие хорошие свойства русского человека, отличающие его не только от иноплеменников, но и от других славянских племен? — спрашивал великий критик во второй своей статье о «Деяниях Петра Великого» и тут же отвечал: — Бодрость, смелость, находчивость, сметливость, переимчивость, — на обухе рожь молотить, зерна не обронить, нуждою учиться калачи есть — молодечество, разгул, удальство, и в горе и в радости море по колено».[41] Всеми этими качествами, родившимися в конкретных материальных условиях и закрепившимися в многовековой исторической борьбе, в избытке наделен в «Капитанской дочке» именно Пугачев. Именно он является воплощением неиссякаемой творческой энергии и таких высоких моральных и интеллектуальных качеств русского на-

---

[40] «Русская изба» (11, 258). Впервые этот набросок опубликован в изд.: *Пушкин А.* Соч. Спб., 1841, т. 11, с. 49.

[41] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1954, т. 5, с. 126. Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1841, № 5. Писано под непосредственным впечатлением только что опубликованных набросков «Русской избы». См. примеч. 40.

рода, как ясный ум, свободолюбие, великодушие, справедливость, бесстрашие, находчивость, удаль и широта натуры.

Образ Пугачева Пушкин заново освещает не только своим пониманием лучших свойств русского человека. Вся речевая его характеристика строится по тем же принципам.

Еще в 1825 г., определяя Крылова как «представителя духа» русского народа, Пушкин «отличительными чертами в наших нравах» признал «какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» (11, 34). Не случайно именно эти признаки выдвигаются как основные в повадках и речах Пугачева, начиная от первой встречи с ним Гринева во время бурана до вдохновенной передачи Пугачевым сказки об орле и вòроне в главе XI романа.

«Сметливость его и тонкость чутья меня изумили <...>, — рассказывает Гринев о первой встрече своей с Пугачевым. — Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское» (8, кн. 1, 288, 290). В главе VIII эта характеристика дополнялась: «Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такой непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не знаю чему» (8, кн. 1, 331).

Вот когда Пушкину пригодилось его знание документальных описаний «примет» Пугачева, вот когда возвратился он к показаниям Пустовалова и Полуворотова, едва затронутым им на страницах «Истории Пугачева». В главе «Вожатый» Пушкин заставляет Гринева быть свидетелем замечательного разговора Пугачева с хозяином умета. Будущий самозванец дает понять старому казаку, что яицкому войску, утесненному после восстания 1772 г., не следует унывать, что оно еще даст себя знать правительству.

«Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: „Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?“ — Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: „В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?“

— Да что наши? — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

— Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит» (8, кн. 1, 290).

Этот метод речевой характеристики Пугачева выдерживается Пушкиным до конца романа, поскольку именно пословицы, сказки, шутки и прибаутки, лукавые намеки и иносказания окрашивают юмор Пугачева в национальные русские тона. Характеризуя использование Пушкиным в одной из последних глав «Истории Пугачева» народной песни о Пугачеве и графе Панине, мы определили самый ранний опыт демонстрации поэтом

«веселого лукавства ума» Пугачева и его «живописного способа выражаться». Сцены в умете, с Хлопушей и Белобородовым, беседа с Гриневым в кибитке во время поездки в Белогорскую крепость являлись иллюстрацией тех же приемов письма. Все действия Пугачева одухотворены его волей к победе, сознанием правоты его исторической миссии. Он уверенно ждет своего часа. Как свидетельствует уже сцена в умете, он терпелив, но знает и то, что всякому терпению есть предел.

Пушкин, оттеняя в Пугачеве и эту черту характера русского человека, хорошо помнил, видимо, наблюдения Радищева: «Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив: и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать.[42]

VIII. «СЧЕТ САВЕЛЬИЧА»

Предметные уроки крестьянского восстания 1773—1774 гг., его противоречия и их социально-политический смысл волновали Пушкина в «Капитанской дочке» не в меньшей степени, чем в «Истории Пугачева».

Естественно поэтому, что роман, вытесненный на некоторое время из творческого календаря Пушкина научно-исследовательской работой, вновь оказывается в центре его внимания тотчас же после опубликования «Истории Пугачева». Материалы, собранные и критически освещенные Пушкиным в его исторической монографии, политически и литературно были так значимы и богаты, так свежи, так многообразны, что поэту, казалось бы, не было нужды в процессе работы над романом выходить из круга первоисточников его книги, утруждать себя новыми историческими разысканиями.

Однако чем внимательнее вчитываемся мы в материалы архива Пушкина, тем явственнее определяется изначальный параллелизм его не только творческих, но и собирательских интересов. Из многих тысяч документов, просмотренных Пушкиным в архивах Петербурга, Москвы, Казани, Оренбурга и Нижнего Новгорода, он отбирает для копировки лишь наиболее значительные, наиболее колоритные, наиболее характерные, причем этот отбор с самого начала производится не только под специальным углом зрения историка и источниковеда, но с учетом запросов исторического романиста. Так, явно для будущего романа, а не для «Истории Пугачева», Пушкин копирует в 1833 г. такой замечательный бытовой документ, как «Реестр» убытков, понесенных неким надворным советником Буткевичем во время захвата пугачевцами пригорода Заинска. Приводим этот неизвестный документ полностью.[43]

---

[42] *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву, гл. «Зайцево», с. 128—129.

[43] «Реестр, что украдено у надворного советника Буткевича при хуторе в пригороде Заинске». Печатается по автографу Пушкина, не вошедшему в академическое издание, хотя и опубликованному, с приложением фотокопии, в «Литературном наследстве» (М., 1952, т. 58, с. 235—237). Оригинал, с которого Пушкин снял копию этого документа, неизвестен. Связь «реестра» Буткевича с «реестром бар-

РЕЕСТР,
ЧТО УКРАДЕНО У НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА БУТКЕВИЧА ПРИ ХУТОРЕ В ПРИГОРОДЕ ЗАИНСКЕ

Кобыл больших 65 — ценою на 780 рублей.
Трех и двух лет 21 — ценою на 5 р.
Коров больших нетельных 58 — на 230 ру<блей>.
Три седла черкасских с кожаными подушками, с хометами, войлоками и подметками и 3 узды ямских и сыромятных ремней с медными пряжками — на 8 рублей.
Котлов медных 3, в 43 <п.>, а 1 ведро весом 1 п. — на 10 р. 70 к.
Гусей 20, 4 уток, 45 кур русских — на 8 р. на 80 к.
Людской одежды пять шуб бараньих — на 7 р. на 50.
Епанеч валеных — на 3 р.
3 пары суконных онуч — на 1 р.
5 п. шерстяных чулок — на 60 коп.
Три шапки — в 60 коп.
Холстов на 3 р. посконных.
Сена поставленного 38 стогов — на 76 рубл.
Овса 30 четв.<ертей> — на 25 р.
Два человека дворовых.
Спасителев образ в ризе и серебряном окладе.
Казанская богоматерь в окладе с жемчугом — на 330 рублей.
Экипажу: сундук, кованный железом, с внутренним замком — на 5 рублей; в нем: три п. кафтанов немецких 1) люстриновая, вторая кофейная — на 25 руб.
Епанча суконная, алая, обложенная золотым прорезным позументом, — 65 р.
Два тулупа, один *мерлущетой*, второй беличьего меху, — 60 руб.
Два халата, один хивинский, другой полосатый, — на 20 рубл.
Женского платья. Два лаброна, один люстриновый, другой гризетовый, — на 100 р .
Три кофты с юбками тафтяных — на 90 р.
Салоп штофный на лисьем меху — в 50 р.
Мантилья черная на сибирских белках — 26 р.
Платков штофных три, тальянских пять на etc, ситцевых — на 46 р.
Косынок шелковых — на 10 р.
Черевиков, шитых золотом, — 9 руб.
Башмаков, шит<ых> зол.<отом>, 2 п. — на 4 руб.
12 рубах мужских полотняных с манжетами — на 60 р.
Скатерти и салфетки — на 45 р.
Одеяло из лисьих хвостов, другое из барсучьих — 26 руб.
Одеяло ситцевое, другое на хлопчатой бумаге — 19 руб. etc.

О том, что реестр этот, обнажавший с большой яркостью своекорыстие, мелочность и жадность правящего класса, предназначался уже в момент его копировки для будущего романа, свидетельствуют и некоторые формальные признаки копии, снятой Пушкиным собственноручно, но без обычной для него археографической тщательности. Так, переписывая документ, Пушкин не обозначил ни места его хранения, ни даты,

---

скому добру, раскраденному злодеями» в «Капитанской дочке» (глава IX) впервые была отмечена нами в примечаниях к изд.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.: Academia, 1936, т. 4, с. 755. Находившийся в собрании автора настоящей статьи «Реестр» хранится теперь в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 1745.

а самый текст подлинника воспроизвел с сокращениями, о которых говорят две его же отметки «etc» в самой концовке реестра и в перечне «платков штофных» и «тальянских». Копия писана была чернилами, на двух сторонах полулиста бумаги обычного канцелярского формата (размер 220×342 мм) фабрики Гончаровых. Водяной знак — «1829». В момент смерти поэта «реестр» находился в его личном архиве — автограф хранит следы той самой жандармской нумерации (цифра «11» красными чернилами в середине листа), которую прошли все бумаги, опечатанные по распоряжению Николая I в кабинете Пушкина 29 января 1837 г.

Историкам пугачевского восстания хорошо известен «пригород Заинск», откуда вышел заинтересовавший Пушкина «реестр». Заинск — это старинный укрепленный пункт, входивший в Закамскую линию пограничных постов Московского государства. В конце 1773 г. Пугачев без боя взял Заинск, где встречен был «с честью» не только народом, но и всем городским начальством, с комендантом во главе.

В «Истории Пугачева» Пушкин очень точно передал содержание официальных документов как об этом эпизоде, так и о позднейших действиях полковника Бибикова, который на пути из Бугульмы в Мензелинск вырвал буйный пригород «из злодейских рук». Боям под Заинском уделено было внимание и в одном из приложений к «Истории Пугачева» — в «Экстракте из журнала генерал-маиора и кавалера кн. П. М. Голицына». Ни в печатном тексте «Истории Пугачева», ни в приложениях и дополнениях к ней не нашли мы имени «надворного советника Буткевича». Но другие члены, видимо, этой же большой помещичьей семьи неоднократно упоминаются в материалах, собранных Пушкиным. Так, один из Буткевичей («секунд-маиор», «воеводский товарищ») вместе с женою был убит пугачевцами в г. Петровске, а другой — отставной прапорщик, перешедший на сторону самозванца, — претендовал на пост заинского коменданта.

«Реестр», представленный начальству третьим из этих Буткевичей, находился, возможно, в числе приложений к тому самому рапорту Бибикова о взятии Заинска, точная копия с которого сохранилась в бумагах Пушкина и частично была использована в «Истории Пугачева».

Рапорт Бибикова учтен был в «Истории Пугачева», реестр Буткевича Пушкин оставил для «Капитанской дочки».

Счет Буткевича исключительно выразителен. Не только духовный облик, но и вся социально-политическая сущность «дикого барства» получала выражение в этой деловой бухгалтерской справке Буткевича о его убытках от революции. Несмотря на то что «состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно» (мы цитируем «Капитанскую дочку»), несмотря на то что кровавая расправа карательных отрядов с «виноватыми и безвинными» была еще единственной формой решения гражданских и уголовных дел, господа Буткевичи спешили по-своему использовать предоставленную им историей передышку. Без всяких

претензий на юмор счет Буткевича механически регистрировал все, что вспоминалось его составителю в процессе писания, — «кобыл больших 65» и «два человека дворовых», «Спасителев образ в ризе» и «сена 38 стогов», «Казанскую богоматерь» и «три пары суконных онуч».

Читатель, вероятно, уже вспомнил знаменитую сцену главы IX «Капитанской дочки», в которой Савельич с таким простодушным упорством домогается возмещения убытков, понесенных его барином в дни взятия Белогорской крепости. У самой виселицы, на которой еще качаются тела капитана Миронова и «кривого поручика», официальных представителей помещичьего государства, крепостной дядька Гринева хлопочет о том, чтобы вождь крестьянской революции немедленно обратил внимание на представленный ему «реестр барскому добру, раскраденному злодеями»:

«Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. „Читай вслух“, — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее.

„Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей“.

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

„Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей.

Штаны белые суконные, на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей.

Погребец с чайною посудою, на два рубля с полтиною...“

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться. „Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...“

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич <...> — Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

„Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще зайчий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей“.

— Это что еще? — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами» (8, кн. 1, 335).

Формы использования в «Капитанской дочке» материалов документа, скопированного Пушкиным, были многообразны. Реестр Буткевича, предопределив сценарий и идейную нагрузку главы IX, оказался учтенным и в самой завязке романа (глава II). «Два тулупа, один мерлущетой, второй беличьего меху», отмеченные в документе, подсказывают ход и

к «тулупчику заячьему», который так облегчил Пушкину долго не дававшуюся ему, судя по начальным планам «Капитанской дочки», мотивировку отношений его героев.

Дословно или с самыми незначительными уточнениями из реестра Буткевича переключено было в счет Савельича все то, что могло найти себе место в гардеробе молодого офицера. К этому добавить пришлось лишь кое-что из офицерского обмундирования («мундир из тонкого зеленого сукна», «штаны белые суконные») и из походного инвентаря («погребец с чайною посудою»). Характерная деталь: Пушкин, используя номенклатуру Буткевича, значительно снижает все его расценки, как бы противопоставляя этим преувеличенные претензии жадного заинского помещика бескорыстию крепостного слуги.

Изучение реестра Буткевича позволяет значительно расширить и углубить понимание социально-политической функции счета Савельича как документа, которым трагикомически оперирует в романе старый слуга только потому, что ни обычная цензура, ни тем более цензура Бенкендорфа и Николая I не могли бы допустить использования «реестра» в его прямой исторической значимости.

Но и при переводе этого документа в рамки «семейной хроники» Гриневых Пушкин устами разгневанного Пугачева, выхватывающего из рук Савельича его нелепый «реестр», определял отношение вождя крестьянского восстания, конечно, не к Савельичу, а к его господам. И не только к Гриневым, но и к Буткевичам.

«Глупый старик! их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками...» (8, кн. 1, 306).

Для правильного понимания позиций Пушкина как автора «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» много дает сделанная им самим запись спора его с великим князем Михаилом Павловичем, братом царя, о судьбах русского самодержавия, с одной стороны, и родового дворянства, деклассирующегося исключительно быстрыми темпами в условиях загнивающего крепостного строя, — с другой. Имея, очевидно, в виду такие акты, как уничтожение местничества при царе Федоре Алексеевиче, как введение «Табели о рангах» при Петре, такие явления, как режим военной диктатуры императоров Павла и Александра, Пушкин, не без некоторой иронии, утверждал, что «все Романовы революционеры и уравнители», а на реплику великого князя о том, что буржуазия как класс таит в себе «вечную стихию мятежей и оппозиций», отвечал признанием наличия именно этих тенденций в линии политического поведения русской дворянской интеллигенции. Интеллигенции этой, по прогнозам Пушкина, и суждено выполнить ту роль могильщика феодализма, которую во Франции в 1789—1793 гг. успешно сыграло «третье сословие»: «Что ж значит, — писал Пушкин за несколько дней до выхода в свет «Истории Пугачева», — наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и

богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (12, 335).

Этим пониманием диалектики русского исторического процесса вдохновлены были записи Пушкина в его дневнике от 22 декабря 1834 г., а в черновой редакции заметок об уроках пугачевщины, над которой Пушкин работал в январе следующего года, мы находим следы тех же самых политических раздумий: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворя‹нин› не был замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему» (9, кн. 1, 478).

Планы повести о Шванвиче — дворянине и офицере императорской армии, служившем «со всеусердием» Пугачеву, в начале 1833 г. сменяются собиранием и изучением материалов о самом Пугачеве и вырастают в монографию о нем. Подготовка к печати этого труда идет в 1833—1834 гг. одновременно с работой над специальной статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву», которая в свою очередь сменяется в 1835 г. собиранием материалов для биографии Радищева. От Пугачева к Радищеву и от Радищева опять к Пугачеву — таков круг интересов Пушкина в течение последнего трехлетия его творческого пути. Для своего «Современника» Пушкин готовит в 1836 г. две статьи о Радищеве и роман о Пугачеве. Проблематику именно этих своих произведений Пушкин и имеет в виду, отмечая в начальной редакции «Памятника», написанного вскоре после окончания «Капитанской дочки», свои права на признательное внимание потомков:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Комментаторская традиция, связывающая строки о Радищеве в «Памятнике» с одою «Вольность», представляется нам совершенно несостоятельной. Биографы Пушкина, опирающиеся на эту традицию, во-первых, не учитывают того обстоятельства, что Пушкин в 1836 г. никак не мог придавать большого значения своей юношеской нелегальной оде (он уже в 1825 г. называл ее «детской»), и, во-вторых, забывают о том, что «Вольность» Пушкина не столько продолжала и развивала политические установки Радищева, сколько полемизировала с ними с умеренно-либеральных позиций Союза Благоденствия. С проблематикой крестьянской революции, определившей литературно-общественное значение «Путешествия из Петербурга в Москву», связываются не «Вольность» и не «Деревня», а «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Именно в этих своих произведениях Пушкин пошел «вслед Радищеву».

IX. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН НОВОГО ТИПА

Сам Пушкин обычно называл «Капитанскую дочку» не повестью, а романом. Этим жанровым обозначением он пользовался и в 1833 г., когда его роман еще не вышел из стадии самых предварительных наметок плана, и в 1836 г., когда «Капитанская дочка» была уже опубликована. Лишь однажды, в недописанном предисловии к «Капитанской дочке», Пушкин определил ее как «повесть»: «Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю» (8, кн. 2, 928). Повторяем, это было сказано только один раз, в черновом наброске, и никогда не повторялось.

В литературной терминологии 1830-х гг. понятия «роман» и «повесть» не были строго размежеваны одно от другого. Никакой разницы между этими видами художественной прозы не усматривал в своих лекциях по эстетике и Гегель, все суждения которого о «современной буржуазной эпопее» одинаково имели в виду и современный роман и современную повесть.[44] На этих же позициях стоял и Белинский, утверждавший в статье «Разделение поэзии на роды и виды»: «Повесть есть тот же роман, только в меньшем объеме, который условливается сущностью и объемом самого содержания».[45]

Апелляция к «содержанию» нейтрализовала остроту каких бы то ни было противопоставлений «романа» и «повести» в жанровом отношении. Повесть, даже очень небольшая по своим размерам, но значительная по своей проблематике — философско-исторической, политической или общественно-бытовой, — все чаще и чаще обозначалась в русской печати 1830-х и 1840-х гг. как «роман». Эта жанровая характеристика после «Капитанской дочки», закрепилась и за «Тарасом Бульбой», и за «Героем нашего времени», и за «Бедными людьми».

В 1867 г., работая над предисловием к «Войне и миру» (оно осталось недописанным), Л. Н. Толстой следующим образом характеризовал опыт своих великих предшественников, новаторов русской художественной прозы: «Мы, русские, вообще не умеем писать романы в том смысле,

---

[44] *Гегель.* Соч. / Пер. П. С. Попова. М., 1958, т. 14, с. 273—274.

[45] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 5, с. 42. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) Белинский характеризовал «повесть» как «распавшийся на части, на тысячи частей, роман» (там же, т. 1, с. 271). В журнале «Сын отечества» в 1828 г. в анонимной статье о главах IV и V «Евгения Онегина» сделана была попытка дифференцировать основные прозаические жанры: «Роман изображает всю или по крайней мере несколько лет жизни человека. Повесть описывает из сей жизни одно происшествие. Следовательно, в повести должно быть более движения, полноты и живости рассказа; в романе должны быть развернуты более и яснее нравственные свойства действующих лиц» (Сын отечества, 1828, № 7, ч. 118, с. 244). Более эмоциональна характеристика обоих видов прозы в одной из статей «Московского телеграфа»: «Роман — огромная живописная картина; повесть — картина, набросанная карандашом» (Московский телеграф, 1829, № 3, анонимный обзор «Русская литература». Книги 1828 г.», с. 395).

в котором понимают этот род сочинений в Европе».[46] Возвратившись к этой же теме в статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“», Толстой в 1868 г. оправдывал жанровое своеобразие своей исторической эпопеи не умышленным пренебрежением к «условным формам прозаического художественного произведения», а тем обстоятельством, что «история русской литературы со времен Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от „Мертвых душ“ Гоголя и до „Мертвого дома“ Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести».[47]

«В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании, — писал Пушкин в рецензии на роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» («Литературная газета» от 21 января 1830 г.). — Вальтер Скотт увлек за собой целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея» (11, 92).

Исключительно высоко оценив новаторство Вальтер Скотта, Пушкин сурово осудил тут же его эпигонов за исторические несообразности и фактические ошибки их романов, за примитивную модернизацию характеров и быта, за утомительную мелочность описаний, за претенциозную изысканность языка.

До нас дошла еще одна заметка Пушкина о романах В. Скотта, видимо, связанная как-то с его же статьей 1830 г. Эта заметка, совсем черновая и неотделанная, очень многое уясняет в том, что особенно привлекало Пушкина в мастерстве шотландского романиста и какими принципами нового реалистического письма он вдохновлялся в «Арапе Петра Великого» и в «Капитанской дочке»:

«Главная прелесть романов W. Scott, — заявлял Пушкин, — состоит <в том>, что мы знакомимся с прошедшим временем не с enflure <надутостью> французской трагедии, не с чопорностью чувствительных романов, не с dignité <приподнятостью тона> истории, но современно, но домашним образом <...>.

Sh<akespeare>, Гете, W. S<cott> не имеют холопского пристрастия к королям и героям. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих la dignité et la noblesse. Ils sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecté, de théâtral,

[46] *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1952, т. 13, с. 55. В этом же наброске Толстой подчеркивал, что «Война и мир» ни в какой мере не напоминает ни обычную «повесть», в которой «описывается какое-нибудь одно событие», «проводится одна мысль», ни традиционный роман, отличительными признаками которого являются, во-первых, многоплановость, а во-вторых, «постояно усложняющийся интерес и счастливая или несчастливая развязка, с которой уничтожается интерес повествования».

[47] *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. 16, с. 7.

même dans les circonstances solenelles, — car les grandes circonstances leur sont familières» (*перевод*: «... достоинство и благородство. Они держатся просто в обычных жизненных обстоятельствах, в их речах нет ничего искусственного, театрального, даже в торжественных обстоятельствах, — ибо подобные обстоятельства им привычны») (12, 195).

Полностью принимая в романах В. Скотта все то, что органически связывало их с конкретной исторической действительностью и что так резко противостояло в них практике его французских и русских учеников, Пушкин ничего не сказал, однако, о том, что было для него неприемлемо даже в самых больших из достижений «шотландского чародея». Мы имеем в виду медленность темпа действия, разительное многословие романов В. Скотта.[48]

«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (11, 19) — так формулировал Пушкин еще в 1822 г. свои мысли о тупике, из которого никак не могла выйти русская художественная проза первой четверти XIX столетия. Характерные особенности стиля и композиции «Капитанской дочки» не оставляют сомнений в том, что вкусы ее автора в этом отношении оставались неизменными.

Предельный лаконизм повествования обеспечен был в «Капитанской дочке» не только общеизвестным пристрастием Пушкина к «прелести нагой простоты», к тем формам художественной прозы, образцы которых он усматривал в «Анналах» Тацита и в философских повестях Вольтера. Нельзя забывать еще и того, что достигнутая в «Капитанской дочке» быстрота темпа рассказа, его свобода от исторических и этнографических излишеств, от «психологизмов», от биографической и пейзажной детализации обусловлена была наличием у автора и у читателей такого широкого экрана для всестороннего освещения основных глав романа, как «История Пугачева», вышедшая в свет за два года до публикации «Капитанской дочки». Монография о Пугачеве, рассматриваемая как широко развернутый общеисторический фон событий, происходящих в романе, являлась в то же время и живым комментарием к нему, его конкретной социально-политической документацией.

Без «Истории Пугачева» были бы невозможны такие демонстративные сокращения текста романа, какие мы наблюдаем, например, в главе X («Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам» — 8, кн. 1, 341) или в главе XIII («Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности» — 8, кн. 1, 364). Без «Исто-

---

[48] В бумагах П. И. Бартенева сохранилась интересная запись, сделанная со слов П. В. Нащокина: «Пушкину все хотелось написать большой роман. Раз он откровенно сказал Нащокину: „Погоди, дай мне собраться, я за пояс заткну Вальтер Скотта“». Рукою С. А. Соболевского к этим строкам сделана была приписка: «Пушкин, хотя и весьма уважал Вальтер Скотта, но ставил „Promessi sposi“ ‹А. Манцони› выше всех его произведений» (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860-х гг. М., 1925, с. 35).

рии Пугачева» трудно было бы мотивировать и отсутствие в ряду действующих лиц романа государственных и военных деятелей этой поры. Все они остались даже неназванными, как и усмирители восстания — А. И. Бибиков, граф П. И. Панин, генерал В. А. Кар, А. В. Суворов. Благодаря «Истории Пугачева» Пушкин мог ограничиться упоминанием лишь в нескольких строках о событиях второго года восстания, мог не объяснять читателям, кто такой «Иван Иванович Михельсон» или «князь П. М. Голицын» (глава XIII).

Гоголь, характеризуя в 1846 г. «Капитанскую дочку» как «решительно русское произведение в повествовательном роде», утверждал: «Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все — не только самая правда, но и еще как бы лучше ее».[49]

Гоголь едва ли был прав здесь только в одном. «Действительность» романа Пушкина нигде и никогда не противостояла «самой природе». Действительность «Капитанской дочки», отраженная гениальным поэтом и историком, была совершенно конкретной крепостнической действительностью, понимаемой, правда, как преходящая форма процесса исторического развития, со всеми его уродствами и противоречиями. Роман Пушкина не уводил читателей от «искусственности» и «карикатурности» этой действительности, а звал на борьбу за скорейшее ее переустройство.

---

[49] *Гоголь Н. В.* Выбранные места из переписки с друзьями (гл. 31 — «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»). — Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 8, с. 384.



Г. П. Макогоненко

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН О НАРОДНОЙ ВОЙНЕ

1

История науки, по словам Эйнштейна, всегда «драма идей». Драму идей мы видим и в историко-литературной науке, в истории понимания и истолкования великих произведений литературы. Пожалуй, наиболее драматично сложилась в критике и литературоведении судьба пушкинских крупнейших программных произведений, созданных в 1830-е гг., — «Повестей Белкина», «Медного всадника» и «Капитанской дочки».

Каждая эпоха по-своему прочитывала последний роман Пушкина, выдвигала и решала проблемы, «подсказанные» временем. Вот почему всякий новый этап изучения «Капитанской дочки» начинался одновременно и с усвоения уже достигнутого, и с выдвижения иного, отличного от прежнего, понимания романа, а следовательно, и борьбы с некоторыми казавшимися традиционно-незыблемыми представлениями.

Но при этом именно в сшибке различных идей, в спорах и осуществлялось все большее постижение глубинного смысла гениального романа Пушкина. Его главный пафос — стремление взглянуть в будущее, приоткрыть его тайну. Оттого-то время, история в свою очередь способствуют раскрытию художественной «тайны» задушевного пушкинского творения.

Заметной вехой в изучении «Капитанской дочки» в советскую эпоху явилось научное издание романа в серии «Литературные памятники» в 1964 г. В статье составителя книги известного пушкиниста Ю. Г. Оксмана подводились итоги предшествующего изучения, оспаривались уже устаревшие точки зрения, выдвигались и отстаивались новые взгляды на вопросы, оказавшиеся к тому времени в центре внимания пушкиноведения. Этими вопросами были история замысла «Капитанской дочки», его эволюция и прежде всего выяснение причин отказа Пушкина от первоначального плана сделать героем дворянина-пугачевца. Ясно, что от решения их непосредственно зависело истолкование пушкинского романа.

Ю. Г. Оксман в письме ко мне так определял характер работы, проделанной им в этом издании: «В книжку эту вложено много нового

своего и чужого, очень забытого. Пересмотрены же заново и все первоисточники, начиная от академического текста и кончая выписками из Пушкина, Радищева, Крылова, следственных дел о Пугачеве и суждений о „Капитанской дочке“ ее первых читателей».

Издание пушкинского романа в серии «Литературные памятники» вводило в оборот много ценных материалов, формулировало общую концепцию Пушкина последних лет жизни, обосновывало характер и причины эволюции пушкинского замысла и потому создавало прочный фундамент для дальнейшего изучения «Капитанской дочки», будило и направляло научную мысль на исследование актуальных проблем. Это было важно еще и потому, что не все вопросы творческой истории «Капитанской дочки» оказались проясненными, многое требовало дальнейшего уточнения.

В последние полтора десятилетия продолжалось не только серьезное изучение не до конца проясненной эволюции пушкинского замысла и жанровой природы «Капитанской дочки», — велось исследование и других важных проблем: Пушкин и традиции исторического романа; особенности реализма исторического повествования о народной войне; авторская позиция в романе, который был написан в форме мемуаров Гринева.

Обращу внимание на то новое, что удалось сделать в исследовании истории замысла. Необходимо назвать прежде всего работу Н. Н. Петруниной «У истоков „Капитанской дочки“».[1] Ею обоснована новая хронология дошедших до нас планов романа, установлена новая дата рождения замысла произведения о пугачевском восстании. Традиционно он относился к концу января 1833 г., точкой отсчета объявлялся один из планов («Шванвич за буйство сослан в гарнизон...»), помеченный 31 января 1833 г. Н. Н. Петрунина убедительно доказала, что первый набросок плана будущего романа («Кулачный бой — Шванвич — Перфильев...») относится к концу лета 1832 г.

Изменение датировки — не частный и не формальный вопрос, потому что благодаря этому оказалось возможным отчетливо и исторически достоверно проследить развитие и изменение пушкинской идеи написать произведение о пугачевском восстании, увидеть внутреннюю связь всех сохранившихся, записанных в разное время планов романа, понять причины отказа от Шванвича как главного героя и закономерность поисков нового героя, которые в конце концов приводят Пушкина к Гриневу.

Новая датировка позволяет пересмотреть и традиционное представление о связи романа о дворянине-пугачевце (Шванвич) с романом «Дубровский». «До сих пор, — пишет Н. Н. Петрунина, — в литературе о Пушкине господствовало убеждение, что работа поэта над „Дубровским“ предшествовала его занятиям пугачевской темой. Новое углубление в ру-

[1] См.: *Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М.* Над страницами Пушкина. Л., 1974, с. 73—123.

кописный материал ведет, как мы только что старались показать, к пересмотру этой точки зрения, ставшей почти аксиомой и давно ни у кого не вызывавшей сомнения. Оказывается, не работа над „Дубровским" привела Пушкина к исторической повести о дворянине-пугачевце. Наоборот, замысел „Дубровского" был своеобразным ответвлением занимавшего Пушкина сюжета — исторического по форме и глубоко современного по содержанию».[2]

Много нового, интересного, обогащающего наше понимание пушкинского романа мы найдем в работах таких исследователей, как В. Н. Турбин (Характеры самозванцев в творчестве А. С. Пушкина. — Филологические науки, 1968, № 6), И. М. Тойбин (О «Капитанской дочке» (к проблеме национального своеобразия). — В кн.: Вопросы литературы. Курск, 1972), И. П. Смирнов (От сказки к роману. — В кн.: История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л., 1973), М. Б. Храпченко (Художественное творчество, действительность, человек. М., 1976) и др. Вышла также книга, обобщающая накопленный материал, необходимый для комментирования романа.[3]

Новый уровень изучения пушкинского романа естественно позволяет не только углубить и уточнить наши представления о позиции автора, о новаторстве его последнего прозаического сочинения, но и констатировать спорность некоторых бытующих в пушкиноведении мнений, точек зрения, концепций. Среди по-прежнему спорных особого внимания заслуживает вопрос о решающем моменте эволюции замысла — отказе Пушкина сделать главным героем дворянина-пугачевца. Что определило отказ Пушкина? Чем он вызван? Почему в конце концов он остановился на фигуре дворянина-офицера, верного присяге и долгу, но в силу ряда обстоятельств оказавшегося связанным с Пугачевым? Почему Пушкину оказался необходимым именно такой герой, который к тому же и был сделан летописцем восстания? На эти вопросы нет ясного ответа, а читатель его ждет давно.

Эволюция героя запечатлена в дошедших до нас планах. Но ее истолкование было различным. В 1930-е гг. было дано два взаимоисключающих объяснения. Одно из них было выдвинуто Ю. Г. Оксманом: причина эволюции — цензурная: «Пушкин не мог рисковать гибелью в цензуре своего романа о Пугачеве <...> этот роман приходилось приспособлять к цензурно-полицейским требованиям с помощью целого ряда сложнейших литературно-тактических перестроек и ухищрений». Поэтому вместо Шванвича, «активного союзника Пугачева», появляются новые герои — Башарин («не союзник, а пленник Пугачева»), Валуев («невольный пугачевец») и, наконец, Гринев. Но и для «закрепления даже скромных позиций» Гринева «приходилось противопоставить ему резко отрицательный образ пугачевца из дворян, что и было осуществлено Пушкиным в последней редакции романа путем расщепления

[2] Там же, с. 83.

[3] См.: *Гиллельсон М. И., Мушина И. Б.* Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: Комментарий. Л., 1977.

единого прежде героя-пугачевца на двух персонажей, один из которых (Швабрин), трактуемый как злодей и предатель, являлся громоотводом, охраняющим от цензурно-полицейской грозы положительный образ другого (Гринева)».[4]

В 1937 г. В. Б. Александров обосновал отказ Пушкина изобразить дворянина-пугачевца не цензурными, а историческими обстоятельствами. Не мог быть союзником Пугачева, писал критик, даже передовой дворянин типа Радищева. «Радищев, декабристы — эти лучшие люди из дворян — „страшно далеки от народа“». Вот почему исторически не было тогда условий для создания идеологии, определявшей и мотивировавшей переход передового дворянина на сторону восставшего народа: «...дать реалистический образ дворянина-идеолога, присоединяющегося к пугачевцам, Пушкин не смог, потому что материалов для создания такого образа не было в самой действительности».[5]

Через два года (в 1939 г.) Б. В. Томашевский выступил с новым обоснованием версии об определяющей роли цензуры в эволюции замысла: «В первоначальном замысле в центре романа стояло одно лицо, прототипом которого Пушкин избирал то Шванвича, то Башарина. Это был, по замыслу Пушкина, дворянин, перешедший на сторону Пугачева и служивший ему. Цензурные условия заставили Пушкина изменить замысел. Не мог оставаться героем сознательный, добровольный изменник. Пушкин решил вывести двух героев, из которых лишь на второго, отрицательного, падает обвинение в измене. Между тем первый должен был подвергнуться суду за сношения с Пугачевым (в этом заключался замысел всего романа), следовательно, эти сношения должны были возникнуть без акта измены. Отсюда возникала трудность: свести Гринева и Пугачева, не опорочив Гринева как изменника. Отрицать в этой постановке вопроса наличия цензурных соображений невозможно».[6]

Объяснение изменения замысла «цензурными соображениями», несмотря на критическое отношение к этой гипотезе (например, в статье В. Б. Александрова), повторяется и в наше время. Вот почему оправданно стремление Н. Н. Петруниной еще раз вернуться к спорному вопросу и показать «уязвимость» этой точки зрения и ее несостоятельность. Пушкин, пишет она, не мог изобразить дворянина-пугачевца, поскольку «для союза между образованными представителями дворянства и стихийным движением „черного народа“ не было исторической почвы не только в XVIII веке, но и в эпоху декабристов. И Пушкину, как современнику последних, это было прекрасно известно».[7] В сущности это повторение точки зрения В. Б. Александрова, которого Н. Н. Петрунина и цитирует.

---

[4] См. выше с. 164—165.

[5] *Александров В.* Пугачев (народность и реализм Пушкина). — Лит. критик, 1937, № 1, с. 38.

[6] *Томашевский Б. В.* Пушкин: Материалы к монографии. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 288—289.

[7] *Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М.* Над страницами Пушкина, с. 97.

Справедлива ли подобная критика «цензурной» версии? Да, конечно. Но она, к сожалению, не включает в себя убедительного объяснения причин эволюции пушкинского замысла. Исследовательница решительно заявляет, что не было исторической почвы для союза лучших людей из дворян с «черным народом» ни в XVIII в., ни в эпоху декабристов и что Пушкину «это было прекрасно известно». Но если было известно, то, спрашивается, почему возник первый замысел (в дальнейшем он подробно разрабатывался!), который собственно и определил намерение писать роман о народной войне за свободу; замысел сделать героем дворянина-пугачевца. Ведь нельзя забывать, что от своего намерения Пушкин отказался именно в процессе овладения материалами по истории восстания Пугачева. Следовательно, эволюция главного героя была предопределена не тем, что Пушкину было «прекрасно известно», но изучением восстания, извлечениями из его истории, которые заставили автора романа решительно пересмотреть свои прежние представления о роли в борьбе за свободу оппозиционного, старинного дворянства.

Данное замечание по существу относится и к выводам В. Б. Александрова. Дело ведь не в том, что Пушкин не смог создать реалистический образ дворянина-идеолога, перешедшего на сторону Пугачева, «потому что материалов для создания такого образа не было в самой действительности». Думается, должен быть изменен акцент в трактовке исторической ситуации, исследованной Пушкиным, — он понял более важное: не может быть такого союза. И это было открытием Пушкина, заставившим его категорически и бескомпромиссно корректировать свои прежние взгляды, отказываться от иллюзий, искать новые решения старых проблем, чтобы заглянуть в будущее России с подлинно исторических позиций.

Вот почему «Капитанская дочка» имеет такую трудную и долгую творческую историю — от замысла и первого плана до начала написания романа прошло три года. Работу над ним в 1833 г. пришлось прервать, чтобы заняться изучением архивных и печатных материалов по истории восстания Пугачева. Именно сделанные на основе такого изучения важные идеологические выводы определили дальнейшее развитие замысла романа. Творческие поиски, движение смелой мысли художника-исследователя привели к новому обогащению реализма, сделав его способным угадывать будущее.

2

И снова встает вопрос: чем же обусловлено в конце концов программное изменение замысла Пушкина? Факты убеждают, что решающую роль в отказе от героя — дворянина-пугачевца сыграло знакомство Пушкина с представленными в его распоряжение в феврале 1833 г. архивными материалами по истории восстания. Об этом красноречиво свидетельствует последний план, записанный до знакомства с архивными материалами и датированный 31 января 1833 г. Его главный герой по-прежнему Шванвич — дворянин-пугачевец. Более того, его позиция активного пугачевца

подчеркивается: он добровольно «предает» Пугачеву крепость и «делается сообщником Пугачева».

В феврале 1833 г. была удовлетворена просьба Пушкина и из канцелярии военного министра Н. И. Чернышева он получает первые материалы о Пугачеве. Знакомство с ними и внесло кардинальное изменение в замысел Пушкина — он отказывается от образа дворянина-пугачевца. В новом варианте плана предполагаемого романа (март 1833 г.) место Шванвича занял Башарин. Он попадает к Пугачеву случайно (плен) и находится у него временно. Из «сообщника» герой превращается в свидетеля событий, получившего возможность наблюдать мятежников и вождя восстания Пугачева вблизи, в реальных делах и поступках общей и частной жизни. План этот уже предварял важнейшую особенность (выбор героя) будущего романа «Капитанская дочка».

Знакомство с первыми документами восстания привело не только к изменению главного конфликта будущего исторического романа, но и вызвало желание автора вплотную заняться собиранием и изучением материалов по истории народной войны, тщательно исследовать все обстоятельства, связанные с этим крупным событием русской истории. Нужно было понять причины восстания, положение крепостных крестьян и казаков, политическую и социальную программу мятежников, характер их военных действий и преобразований, осуществлявшихся на занятых ими обширных территориях. Новый план требовал выяснения многих вопросов, связанных с восстанием Пугачева и Пушкину неизвестных. Поэтому роман пришлось отложить — Пушкин с необыкновенной быстротой принялся писать «Историю Пугачева», которая была завершена осенью 1833 г. в Болдине.

Но и после этого Пушкин не вернулся к роману. Только через год — в октябре—ноябре 1834 г. или даже зимой 1834—1835 гг. — он набрасывает новый план. Главное в нем — отказ от Башарина: его участие в пугачевском восстании случайно — и не могло быть, по мысли Пушкина, предметом изображения. Наметившаяся в плане с Башариным тенденция — сделать героя свидетелем восстания — теперь становится главной и решающей. Герой нового плана Валуев приезжает в крепость, служит, знакомится с семьей коменданта Горисова, влюбляется в их дочь Марью. В этом плане совершенно снята проблема перехода дворянина-офицера на сторону Пугачева. За ним сохранилась лишь функция свидетеля. Некоторые из названных в плане событий уже довольно близки к «Капитанской дочке». Но в нем совершенно не разработана линия взаимоотношений Валуева и Пугачева и, главное, никак не определена роль Пугачева в будущем романе. А исследование пугачевского восстания, проведенное Пушкиным, убеждало, что главным в романе должно стать изображение именно Пугачева.

Бытующее в пушкиноведении мнение о соотношении «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» сводится к утверждению, что «История Пугачева» вооружила Пушкина знанием конкретного фактического материала по истории восстания. В действительности значение «Истории Пугачева» к этому не сводилось: она сыграла решающую роль в оконча-

тельном формировании замысла «Капитанской дочки», в определении его содержания и идейной концепции автора.

Изучение официальных документов, мемуарных свидетельств, манифестов Пугачева, в которых излагалась социальная и политическая программа восставших, опрос многих жителей Казанской и Оренбургской губерний, знакомство с народным восприятием Пугачева и его дела — все это помогло Пушкину понять подлинный характер социальных отношений в крепостнической России вообще и позиции дворянства в частности, объяснить причины постоянно вспыхивавших крестьянских бунтов и восстаний.

Собираясь в 1830 г. писать историю французской революции 1789 г., Пушкин прочитал основополагающие труды французских историков 1820-х гг.: Гизо, Минье, Тьера, Баранта, которые, пытаясь постигнуть смысл исторического развития, открыли классовую борьбу. Социологизм мышления Пушкина, связанный с овладением этим «ключом» к пониманию истории и современности, определил новый, более высокий этап его историзма. Именно потому он смог увидеть социальный характер восстания под руководством Пугачева, открыть для себя закономерный характер народной борьбы за свободу.

Коренная противоположность, непримиримость социальных интересов крестьян («черного народа») и дворян-помещиков, которая привела к расколу нации на два враждебных лагеря; вытекающая отсюда историческая обусловленность (а потому и оправданность) восстания угнетенных — таков итог, к которому пришел автор «Истории Пугачева». В «Замечаниях о бунте», написанных после завершения работы над «Историей Пугачева», Пушкин отмечал: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны» (9, кн. 1, 375). Надежда на возможность преодоления разрыва между народом и передовым (по Пушкину «старинным», «мятежным») дворянством оказалась несостоятельной. Исследование истории восстания Пугачева убеждало, что интересы народа и дворянства, разделенного социальной, классовой рознью, «слишком противуположны». Этот вывод автора «Истории Пугачева» и объясняет отказ от замысла романа о дворянине-пугачевце.

Но неожиданным и необъяснимым с позиций даже самой передовой исторической науки того времени было обнаружение Пушкиным поразительного факта — восстание народа не могло победить. Исторически закономерная, социально оправданная, справедливая борьба народа с угнетением и бесправием кончилась поражением. В общих «Замечаниях о бунте» Пушкин на основании изученных фактов констатировал: «Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к своей цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно» (9, кн. 1, 375—376). И, невзирая на это, победило

правительство, потерпел поражение народ, восставший за правое дело, выбиравший в своей борьбе самые надежные средства.

Установление факта неспособности крестьянства одержать победу в справедливой борьбе за свободу было величайшим открытием Пушкина — историка и художника. Он обнаружил важную и трагическую особенность социальной борьбы в России на материале крупной крестьянской войны. Эта особенность подтверждалась и безрезультатными восстаниями 1831 г. Но объяснить эту трагическую ситуацию Пушкин не мог — история не предоставляла к тому возможностей.

Социальные и исторические выводы, сделанные в процессе исследования восстания Пугачева, обусловили важные изменения в мировоззрении Пушкина, заставили решительно менять принципы художественного изображения истории и современности, искать адекватные встающим проблемам поэтические средства раскрытия событий и характеров. «История Пугачева» явилась идейным и эстетическим рубежом в творческой эволюции Пушкина 1830-х гг.

Именно потому болдинская осень 1833 г. оказалась такой плодотворной — крупнейшие программные произведения, написанные на протяжении полутора месяцев (две такие поэмы, как «Медный всадник» и «Анджело», две сказки — «О рыбаке и рыбке» и «О мертвой царевне», повесть «Пиковая дама»), знаменовали новые качественные изменения пушкинского реализма, его дальнейшее обогащение.

Но «История Пугачева» в первую очередь определяла судьбу задуманного исторического романа. Социально оправданное, исторически закономерное восстание крепостных, кончившееся безрезультатно, отчетливо выявляло трагическую природу «русского бунта», трагизм судьбы его участников и прежде всего его руководителя. Вот почему в процессе работы над документами восстания сместился интерес Пушкина — от событий и «происшествий, довольно запутанных», к личности Пугачева.

В будущем романе — теперь это Пушкин понимал ясно — важное место займут «происшествия» из жизни попавшего в круговорот событий крестьянской войны главного героя — дворянина-офицера, о которых он расскажет как свидетель. Форма романа-записок, мемуарной исповеди дворянина-офицера, оказавшегося пленником Пугачева, была уже решена накануне поездки в Болдино (5 августа 1833 г. Пушкин записал начало вступления к роману).

Ученые давно заметили, что напряженный интерес Пушкина к европейской и русской истории обусловливался в конечном счете желанием в прошлом найти ключ к будущему России. Еще в 1935 г. С. М. Бонди писал: «Все это дает основание заключить, что весь интерес Пушкина в 30-х годах к западноевропейской истории, его работа о французской революции, его замыслы средневековых драм связаны больше всего с его размышлениями о судьбах тех же классов в России и диктовались стремлением предугадать по аналогии возможность и характер грядущих „возмущений“».[8] В 1950-е гг. Б. В. Томашевский неоднократно подчеркивал,

[8] *Пушкин.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1935, т. 7, с. 650.

что «размышления Пушкина о судьбах западного феодализма тесно связаны с разрешением вопросов о будущей революции в России».[9] С наибольшей остротой эти вопросы возникали при изучении восстания Пугачева. Но открытые Пушкиным особенности «русского бунта» больше всего и затрудняли понимание этого будущего.

Работая над «Историей Пугачева», Пушкин, сочувствовавший правому делу народа, не призывал к восстанию, — открытые им особенности «русского бунта» обусловливали этот его взгляд. Никаких решений автор «Истории Пугачева» предложить не мог, главное в ней — выводы. Чему же тогда должен быть посвящен роман, рассказывающий о восстании Пугачева? Современность взывала к Пушкину-поэту, чтобы он, опираясь на художественное исследование прошлого, догадался о будущем России и этой догадкой поделился со всеми. Размышления об этом будущем связаны с «общим негодованием» народа, выражением которого совсем недавно было восстание Пугачева. Роман должен был сделать всеобщим достоянием результаты художественного исследования народной борьбы, напряженные размышления писателя о судьбе народа. Приглашая задуматься над подлинными, капитальными проблемами будущего России, он тем самым способствовал бы преодолению многих иллюзий и заблуждений.

3

Жанр «Капитанской дочки» Пушкин определял четко и категорически — роман, точнее: исторический роман. Он писал: «Роман мой основан на предании...» (16, 177).

Создателем жанра исторического романа нового времени был Вальтер Скотт. Пушкин высоко ценил творчество и художественные достижения английского писателя, использовал его опыт, когда писал и «Арапа Петра Великого», и «Капитанскую дочку». Но Пушкин не только усваивал опыт Вальтера Скотта, но и, преодолевая свойственные его романам недостатки, решительно обновлял жанр исторического романа.

Расхождение определялось прежде всего различием художественных методов обоих писателей: Вальтер Скотт был романтиком, Пушкин — реалистом. Потому и характер историзма у писателя-реалиста был иным — исторический реализм, предполагающий социальный анализ человека и общества, в котором он живет, позволял открывать и в современности и в прошлом закономерности общественного развития. Все это помогло Пушкину понять главную художественную слабость романов Вальтера Скотта. Его герои жили в среде, обусловленной особенностями исторического и национального развития, они были точно вписаны в обстановку данной национальной культуры. Но судьбы их оказывались независимыми от обстоятельств социального бытия, от закономерностей общественного развития. Их поступки, действия, их жизнь определялись

[9] *Томашевский Б. В.* Пушкин: Материалы к монографии, кн. 2, с. 187.

в конечном счете любовными отношениями. Двигателем событий жизни реальных и вымышленных лиц романов оказывался любовный сюжет.

Социологизм мышления Пушкина не мог не внести кардинальных изменений в понимание структуры художественного произведения и прежде всего — сущности и функции сюжета. Сюжет, как и характеры, должно обнаруживать в самой конкретно-исторической, исполненной социальных противоречий действительности. Любовный же сюжет привносился в произведения многих жанров, посвященные различным историческим эпохам. Любовный сюжет поэтому не мог быть демиургом судеб героев исторического романа «Капитанская дочка»: художественное исследование грозного времени народной войны за свободу открыло Пушкину иные силы, которые определяли и поступки людей, и их жизнь.

Но внесение в произведение открытого в самой действительности сюжета вовсе не означало отрицания в романе или повести, в драме или комедии роли (иногда очень существенной) любовных отношений. Все дело в том, что сами эти отношения, частные судьбы людей оказывались зависимыми от обстоятельств их социального бытия.

Программная новизна «Капитанской дочки» в том и состоит, что не любовь, а народная борьба стала «двигательницей событий» (термин Чернышевского) этого романа. Гринев и Маша Миронова полюбили друг друга — центральная глава первой части романа и названа потому «Любовь». Но отец Петруши Гринева не дает разрешения на брак и обещает «проучить» сына. Давая Маше прочесть ответ отца, Гринев констатирует: «Все кончено». Маша подтверждает этот вывод: «Видно мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! <...> Покоримся воле божией». Так по родительской воле только было обозначившийся любовный сюжет романа завершает свое течение. Гринев точно определяет создавшееся положение: «...все дело пошло к черту» (8, кн. 1, 309, 311).

Вот в этот момент крушения любовного сюжета и вторгается в повествование неведомая читателю объективная сила, которая и определяет дальнейшее движение сюжета романа и судьбы героев. Рассказчик Гринев откровенно утверждает, что не любовь направляла его в дальнейших «странных обстоятельствах жизни»: «Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение» (8, кн. 1, 312).

«Неожиданным происшествием» явилась «пугачевщина»! Именно так и называется следующая глава. Пугачевщина и имела решающее влияние на жизнь героев. Именно она оказалась причиной (в этом с удивительной наглядностью проявилось новаторство Пушкина) благоприятного разрешения любовной коллизии: Гринев — Маша Миронова, — грубо разрушенной старшим Гриневым: Пугачев «благословил» любящих.

Сюжет, являясь и историей характера, полнее всего раскрывает духовный мир героя.

Гринев-мемуарист — один из главных героев романа. Он написал историю своей жизни за два года. Не любовь, но события восстания явились школой воспитания семнадцатилетнего офицера — он возмужал, мно-

гое узнал, душевно обогатился, сохранил свою честь, проявил отвагу в беспримерных обстоятельствах, оказался способным отстоять и защитить в трудных испытаниях свое счастье. Оттого эти два года жизни надолго запомнились ему, оттого он счел себя обязанным рассказать о пережитом и прежде всего о своих «странных» приятельских отношениях с Пугачевым.

Закономерно и Пугачев занял в романе центральное место. Его характер динамически раскрывался именно в событиях и перипетиях восстания.

Что же определило решение Пушкина придать своему историческому роману мемуарную форму? Ему нужен был свидетель событий крестьянского восстания, свидетель, не только видевший и наблюдавший штурм крепости, осаду Оренбурга, установление новых порядков, заседание «военного совета» Пугачева и т. д., но знакомый с фактами жизни Пугачева и его товарищей, взаимоотношениями руководителей восстания и т. д. Этот свидетель должен был в ходе «происшествия» попадать в ситуации прямой зависимости от мятежников, из которых, благодаря вмешательству Пугачева, выходил бы невредимым, да еще и облагодетельствованным (помилование, помощь в спасении Маши от притязаний Швабрина).

Вот почему так важен был «выбор» мемуариста — он должен был отвечать многим требованиям, которые ставил перед ним его создатель Пушкин. Рассказчиком-свидетелем избирался дворянин. Для него было естественным неприятие и осуждение восстания и всех мятежников — в этом проявлялся социально-обусловленный дворянский характер убеждений рассказчика. Конечно, данное обстоятельство обеспечивало цензурное прохождение «Капитанской дочки».

Но дело не только в цензуре. Пушкин ставил более важную задачу: показать двойственность позиции Гринева — осуждая и не принимая восстания, он принужден был свидетельствовать не только о кровавых расправах Пугачева, но и о его человечности, гуманности, справедливости и великодушии. Ценность таких показаний Гринева безмерно увеличивалась именно от того, что их давал противник мятежников.

Понятно поэтому, что огромную роль при «выборе» рассказчика играли его нравственные качества. Гринев добр, честен, благороден — это черты его личности, определяемые вместе с тем его сословным воспитанием. Пушкин подчеркивал данное обстоятельство эпиграфом к роману: «Береги честь смолоду». При этом он уточнял происхождение афоризма. Это «пословица», в которой аккумулировалась народная мудрость.

Отсутствие стройной системы убеждений у Гринева определило известную свободу поведения — ему, юному офицеру-дворянину, еще чужд социальный стереотип мышления и поведения. Несмотря на то что социальный инстинкт подсказывал отрицательное отношение к «бунтовщикам», мятежникам, «преступникам», он в реально возникавших ситуациях больше доверял личным впечатлениям. Как дворянин, он считал, что бунтовщик Пугачев — злодей и враг. Как человек, испытавший на себе его милости, он, опираясь на собственный опыт, полагал своим

долгом сказать правду о его поведении, не считаясь с тем, что она противоречит официальному мнению о Пугачеве. Он не мог скрыть своего презрения к оренбургскому губернатору и восхищения Пугачевым, который пришел ему на помощь. Личный опыт оказывался более значимым, чем социальный. Именно такой честный свидетель-мемуарист и нужен был Пушкину. Создание образа рассказчика Гринева — замечательная победа Пушкина — автора «Капитанской дочки».

Честность Гринева-мемуариста позволила ему раскрыть никому неведомую правду о руководителе восстания Пугачеве, а значит, и правду о народной борьбе за свободу. Попав в драматическую ситуацию — оренбургский губернатор отказывается помочь в освобождении Маши Мироновой из-под власти Швабрина, — Гринев принимает совершенно «неправильное» с дворянской точки зрения решение — обратиться за помощью, за справедливостью к Пугачеву, и Пугачев откликается на его просьбу, помогает восстановить справедливость.

«Избрание» рассказчиком Гринева себя «оправдало» — он честно выполнял ответственную роль свидетеля. Этому способствовало и то обстоятельство, что летописцем был писатель. Гринев сообщал о себе, что еще в Белогорской крепости в нем «пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов» (8, кн. 1, 299). После пугачевского восстания Гринев продолжал свои литературные занятия — писал стихи. Он замечает, что «опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял» (8, кн. 1, 300). Эпизод этот мог относиться к 1775—1776 гг.: Гринев «освобожден был от заключения в конце 1774 года», а Сумароков, прославленный русский поэт, умер в 1777 г.

Любовь к литературе и обусловила его решение заняться писанием мемуаров. Избрание Пушкиным мемуарной формы своего романа — еще одно свидетельство его необыкновенной исторической зоркости и чуткости. Дело в том, что характерной особенностью духовного развития людей XVIII в. являлось их стремление вести автобиографические записки, писать мемуары. Их воодушевляло желание рассказать о своей жизни и своем времени.

Потребность рассказать о своем времени, а точнее о самом главном событии своего времени — «пугачевщине», и была причиной, заставившей Гринева взяться за перо. Тем самым мемуары его становятся важнейшим исторически-конкретным документом, красноречиво характеризующим личность Гринева, его интеллектуальный уровень, его нравственные и политические убеждения.

Мемуарист Гринев — истинный дворянин, убежденный противник «насильственных потрясений», верный присяге офицер — чувствовал себя, однако, обязанным сохранить память о важном «происшествии» русской истории, сообщить правду о восстании и его руководителе. При этом он не боялся отступать от официальных оценок Пугачева и пугачевщины и смело высказывал свою благодарность Пугачеву за добро, сделанное ему.

Обо всем этом необходимо говорить подробно, ибо в литературе, посвященной «Капитанской дочке», бытует несправедливое мнение о Гриневе. Суждение, в свое время оброненное Белинским, что Гринев — это «ничтожный, бесчувственный характер»,[10] было некритически усвоено советским пушкиноведением. Гринева называют типичным недорослем, недалеким, хотя и благородным дворянином, сторонником «убогой философии истории», «бесхитростным выразителем охранительной идеологии» и т. д.

Подобное восприятие Гринева противоречит тексту романа. Мастерство Пушкина, проявившееся в создании сложного и уникального в русской литературе образа рассказчика — главного героя «Капитанской дочки», оказалось непонятым. Уникальность образа Гринева-рассказчика, мемуариста в том, что, описывая свою жизнь в период восстания, он выступает своеобразным летописцем «пугачевщины».

Заслуживает внимания и еще одна особенность построения образа рассказчика — он дан в романе в двух временны́х измерениях. Мы видим двух Гриневых — семнадцатилетнего юношу, только что начавшего военную службу, и пятидесятилетнего мемуариста, литератора, умудренного опытом, много повидавшего человека (Гринев неоднократно сообщает, что записки свои он пишет в первые годы александровского царствования, видимо до 1812 г.). Между ними не только временная, но и нравственная дистанция. И этот пятидесятилетний мемуарист, стараясь быть объективным, описывает и оценивает семнадцатилетнего юношу. Вспоминая прожитое, честно и правдиво рассказывая о прошлом, он снабжает рисуемые им картины сентенциями. Сентенции эти даются от лица многоопытного мужа — дворянина, помещика, литератора.

Пушкин наделил Гринева-мемуариста редким даром иронии. Именно так написано начало воспоминаний, посвященных годам, проведенным в родительском доме (о том, как он был записан в гвардию, когда матушка «была еще мною брюхата» (8, кн. 1, 279), о занятиях с учителем французом Бопре и т. д.).

Непонимание пушкинского изображения Гринева в двух временных измерениях в конечном счете привело к стилистической глухоте исследователей романа — они не замечают иронического восприятия мемуаристом своего детства. Описание им своей жизни воспринимается поэтому грубо прямолинейно — вот каков этот неуч-недоросль, дворянский сынок, гонявший голубей и научившийся здраво судить о свойствах борзого кобеля. Не менее странен и вывод, что Гринев (а следовательно, и Пушкин) с умилением описывает патриархальные нравы гриневского дома.

Ирония — любимый пушкинский метод изображения человеческих характеров. Наделение Гринева иронией — свидетельство сознательного стремления Пушкина подчеркнуть объективность рассказчика, его насмешливость по отношению к себе и критическое отношение к поме-

---

[10] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 577.

щичьим нравам той эпохи, отсутствие в нем тщеславия, гордыни и эгоизма. Ирония первых страниц записок Гринева должна была сразу же вызвать доверие к его показаниям, к его летописи событий «пугачевщины».

4

После того как мы выяснили композиционную и сюжетную роль рассказчика в «Капитанской дочке», естественно попытаться ответить на самый трудный, до сих пор не решенный пушкиноведением вопрос — какова же позиция Пушкина в записках, написанных от имени Гринева, как соотносятся взгляды на изображаемые события двух «авторов» — Гринева и Пушкина?

Из всего сказанного ранее о причинах создания Пушкиным образа Гринева-рассказчика ясно, как он был нужен Пушкину. Анализ «Капитанской дочки» наглядно свидетельствует о принципиальном отличии «точек зрения» условного и подлинного автора романа.

Пушкин не прятался за рассказчика. Его позиция проявлялась отчетливо и разнообразно. Прежде всего эта позиция сказалась в самом факте создания образа рассказчика, наделенного индивидуальным характером. Рассказчику как человеку присущи такие нравственные качества, которые позволяют ему выполнять роль летописца. Совершенно очевидно также, что идеологическая программа рассказчика, в соответствии с правдой характера, заложена в этот образ самим Пушкиным. Гринев, художественно оправданно, делает все, что нужно Пушкину.

Определив главную роль Гринева как роль свидетеля и летописца, Пушкин заставляет его вести правдивый протокол происшествий; попутно он высказывает свое мнение (всем памятные сентенции), но при этом должно учитывать, что он не властен в отборе и создании драматических ситуаций, — их творцом является Пушкин. Гринев призван лишь честно засвидетельствовать, как в этих обстоятельствах вел себя он и как действовал Пугачев.

В ситуациях романа все дело! Именно в их создании, их отборе, их расположении особенно наглядно проявляется позиция Пушкина. Вспомним некоторые из них. Гринев едет в Белогорскую крепость и попадает в буран. Заблудившихся путников выводит к казацкому хутору неизвестный человек. Гринев достоверно рассказал о случившемся. Но сама драматическая, исполненная динамизма ситуация обладает своей особой содержательностью, она несет читателю значительно бо́льшую информацию, чем запись Гринева.

Яркий пример расхождения этих двух рядов содержания — передача Гриневым беседы Пугачева с хозяином хутора. Хозяин, всматриваясь в лицо Пугачева, заводит с ним знаменитый иносказательный разговор. Записав этот поэтически-многозначительный диалог, Гринев констатирует: «Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора» (8, кн. 1, 290). Искусство Пушкина в том и состоит, что читатель понимает больше Гринева-свидетеля, — ситуация встречи двух казаков красноре-

чиво намекает на готовящееся восстание. Происходит это потому, что Гринев записывает сочиненный Пушкиным диалог, который передает точку зрения автора. Отношение Гринева к тексту диалога нейтральное, он выступает в данном случае не «автором», а протоколистом.

Обратим внимание и на слово «тогда» — как оно точно и многозначно! Оно еще раз и в важном месте напоминает читателю о двух Гриневых. Семнадцатилетний участник событий не понимал «тогда» иносказательной речи Пугачева, а пятидесятилетний мемуарист понимает и потому может точно передать текст разговора. Именно поэтическая иносказательность диалога выявляла позицию Пушкина.

Рассмотрим сцену присяги Пугачеву — народному государю в Белогорской крепости. Дошла очередь и до Гринева. Пугачев не успел спросить его, будет ли он присягать «своему государю», как Швабрин, подойдя к Пугачеву, «сказал ему на ухо несколько слов». Пугачев, не взглянув на Гринева, приказал: «Вешать его». Гриневу уже накинули на шею петлю, но в ход событий вмешался Савельич. Пугачев, узнав его, а через него и Гринева, отменил свой приказ. Гринев же не догадался, что вожатый и самозванец одно и то же лицо.

Тут-то и возникла напряженная ситуация: Пугачев, осуществляя справедливый суд, миловал того, кто присягал ему, а того, кто отказывался, казнил, как врага. Что было делать с Гриневым? Пугачев помнил о заячьем тулупчике, подарке Гринева. Но нельзя было нарушать принятый им обряд присяги. Гринев записывает о происходившем так: «Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. „Цалуй руку, цалуй руку!“ — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. „Батюшка Петр Андреич! — шепнул Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцалуй у злод... (тьфу) поцалуй у него ручку“. Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: „Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!“ — Меня подняли и оставили на свободе» (8, кн. 1, 325).

Перед нами протокол происшествия, правда, изложенный субъективно, — Гринев сосредоточен на своих чувствах, испытанных в роковую минуту жизни. Но созданная Пушкиным ситуация бесконечно богаче протокола: она построена на испытании не только Гринева, но и Пугачева. Самозванец, желая помиловать «знакомца», отступает от своего долга. Действуя по справедливости, он обязан казнить отказавшегося от присяги офицера, как только что казнил Миронова. Преодоление конфликтной ситуации открывает нам духовно богатую личность Пугачева. Он проявляет мудрость и доброту, нам открывается редкая деликатность души простого казака, его драгоценное нравственное качество — *такт*, когда, понимая, что Гринев не поцелует руку, Пугачев произносит с усмешкой иронические слова о том, что его благородие «одурел от радости». Пугачев умно и тонко вышел из создавшейся ситуации, он не уронил достоинства своего сана государя, он, мужик, проявил чуткость к переживаниям Гринева, нашел благородный выход, помиловав чело-

века, сделавшего ему добро. Драматическая ситуация, созданная Пушкиным, оказалась, как всегда, глубоко содержательной, через голову рассказчика были показаны высокие нравственные качества личности самозванца. Именно через эти ситуации осуществляется непосредственное и прямое воздействие на читателя, который неизменно оказывается мудрее, дальновиднее Гринева.

Замысел Пушкина при создании сцены присяги и состоял в том, чтобы противопоставить искреннее признание Гринева (да, не узнал вожатого, своего спасителя!) читательской памяти. Ситуация, созданная Пушкиным, так содержательна, так поэтически выразительна, что читатель — и современный Пушкину и будущий — не мог не узнать в самозванце вожатого, а узнав, не упрекнуть Гринева в забывчивости. «Забывчивость» Гринева усиливала воздействие на читателя такой художественной детали, как «черные, веселые глаза» Пугачева, обостряла восприятие образа народного государя. Так наглядно проявляется прямой контакт действительного автора — Пушкина с читателем. Читатель чувствовал себя выше Гринева — и это оправданно, ибо он оказывался единомышленником Пушкина, а не Гринева, ему открывались истины, неведомые Гриневу, но воодушевлявшие Пушкина. Он постигал правду Пушкина, его поэтическую веру в будущее. Эту гипнотическую силу воздействия поэтической концепции Пушкина отлично поняла М. И. Цветаева, была заворожена ею. Именно потому она и говорит о создании Пушкиным чары Пугачева.

Нет нужды перечислять все выразительные ситуации, созданные Пушкиным, — роман состоит из них. Важно понять художественный принцип и механизм проявления пушкинской позиции в мемуарах Гринева, состоящие в динамическом соотнесении рассказа условного автора с драматической ситуацией, создаваемой Пушкиным. При их пересечении по законам индукции неминуемо возникает новая, особая, «возбудительная», по меткому слову Гоголя, сила — поэтическая концепция событий и характеров в романе. Поскольку же пушкинские ситуации, предложенные Гриневу для честного описания, в большинстве случаев посвящены «испытаниям» Пугачева, постольку главное содержание «Капитанской дочки» оказывается обусловленным поэтическим характером Пугачева, через который и раскрывается пушкинская поэтическая концепция будущей русской революции.

Закон художественной индукции позволяет не только отчетливо представить себе разность уровней понимания пугачевщины Гриневым и Пушкиным, но и решить такой трудный вопрос, который до сих пор еще является камнем преткновения в пушкиноведении, — как толковать фразу Гринева: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Каково отношение Пушкина к этой сентенции?

Обратим внимание на ее начало: «Не приведи бог видеть...». Здесь отмечен реальный факт — Гринев действительно наблюдал, видел и начало, и конец восстания, его поражение, казнь Пугачева с товарищами. Констатация и жестокости бунта, и его бессмысленности, т. е. безрезультатности, еще больше подчеркивала бесполезность жестокой борьбы. Вы-

вод этот выражал, с одной стороны, эмпирическую правду о восстании и, с другой — позицию дворянина.

Позиция Пушкина иная. Выше уже говорилось, что обреченность «русского бунта» открыта была в «Истории Пугачева». Поэтому не случайно Пушкин заставляет честного и добросовестного свидетеля Гринева записать эту сентенцию. Читатель должен был знать этот объективный вывод, — историзм убеждений Пушкина не допускал какой-либо идеализации событий, искажения истории. Но в то же время взгляды Гринева и Пушкина не совпадают. Правда Гринева эмпирична, однозначна, это правда-констатация — что видел, то и записал. Правда Пушкина глубоко историчпа, прочно оппрается на понимание социальной природы противоречий дворянства и крестьянства. И главное — Пушкин видит и понимает трагизм русского бунта.

В «Истории Пугачева» исследование причин восстания убедило Пушкина в социальной справедливости борьбы народа против рабства, угнетения и бесправия. О том же свидетельствовали опыт Великой французской революции и теоретические выводы французских историков. Однако закономерная и оправданная борьба крестьянства за свое освобождение от крепостной неволи в русских условиях неизменно кончалась поражением, рождая трагическую ситуацию русского бунта. Трагизм восстания обусловливал его поэтический ореол. Пушкин не представлял себе и не мог представить иного возможного исхода русской революции. Но художественное исследование великих событий крестьянской войны могло приоткрыть завесу, скрывающую будущее Родины. Вот почему в центре внимания Пушкина-романиста оказалась задача создания образа народа.

5

О мятежном народе читатель «Капитанской дочки» узнает уже в главе II романа из иносказательного разговора двух казаков — вожатого и хозяина умета.

Образ мятежного народа — еще смутный, возникающий только из разговоров, — будет с этого момента постоянно присутствовать в сознании Гринева. Приехав в Белогорскую крепость, он уже при первой встрече с капитаном Мироновым заводит речь о восстании. События развиваются стремительно, и далекий, не очень сначала тревоживший офицеров мятеж приближается к Белогорской крепости. Гринев, впервые сообщая о восстании, называет его «неожиданным происшествием». Затем это «происшествие» получает имя «пугачевщины».

Прежде чем рассказать о том, что он увидел своими глазами, Гринев дает историческую «справку» о положении в Оренбургской губернии в 1773 г. «Справка» утверждала мысль, что восстание обусловили угнетение «диких народов», обиды, нанесенные казакам.

Весть о Пугачеве быстро облетела Оренбургскую губернию. О нем говорили тайно и явно, повсюду распространялись «возмутительные письма» — манифесты Пугачева. Вольное слово мятежников покоряло

сотни и тысячи людей. Казак Белогорской крепости урядник Максимыч отправляется на тайное свидание с Пугачевым. Появился в крепости первый пугачевец — пойманный с «возмутительными письмами» башкирец.

Наконец вооруженный народ подступил к Белогорской крепости. Штурмующих не напугали залпы пушки, заряженной картечью, — они ворвались в крепость. Весь гарнизон (за исключением Миронова, Гринева и поручика Ивана Игнатьича) сдался и «бросил оружие». Гринев стал свидетелем массовости восстания, убедился в народности Пугачева.

Обстоятельства открыли Гриневу-летописцу возможность наблюдать вблизи руководителей восстания. Вечером того же дня, когда пала Белогорская крепость, у попадьи был устроен пир. Гринев был приглашен Пугачевым к себе. По разумению попадьи, это не пир: «. . . у злодеев попойка идет», — говорит она (8, кн. 1, 328). По свидетельству Гринева, это был «странный военный совет». Чувство страха и нервное напряжение испытывал Гринев, когда он отправлялся на пир к «злодеям».

Но Пугачев встретил Гринева приветливо: «А, ваше благородие! <. . .> Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Гринев сел за стол. «Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина. <. . .> С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. <. . .> Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое. . .» (8, кн. 1, 330).

Читателю открывался тайный, неведомый ему духовный мир простых людей, волею обстоятельств ставших во главе восстания. Их объединяет общая высокая цель, уверенность в своих силах, товарищество.

В последующем Гриневу удалось присутствовать еще на одном «совете», где кроме Пугачева были прославленные народные полководцы — бывший капрал Белобородов и Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей). Жалоба Гринева на Швабрина («обижает сироту») породила спор, который отчетливо выявил и политические и нравственные позиции руководителей восстания. Пугачев реагирует быстро и изрекает решение: «Я его повешу». Решение это мотивируется принципиально: «Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ». Пугачев чувствует себя защитником народа. Хлопуша — умный и дальновидный политик: он умеет видеть связь явлений, он озабочен судьбой восстания — и потому требует, чтобы все принимаемые решения были обдуманны и справедливы. Оттого он и возражает Пугачеву: «Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору» (8, кн. 1, 348).

Иных взглядов придерживается Белобородов — он ненавидит дворян, потому и заявляет: «Нечего их ни жалеть, ни жаловать», предлагая «сказнить» и Швабрина и Гринева. Имея основания подозревать Гринева в том, что он «подослан от оренбургских командиров», Белобородов предлагает пытать его («свести его в приказную да запалить там огоньку»). Гринев испытывает естественный страх, понимая, «в чьих руках он находился». Но в то же время признает: «Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною». В финале спора Белобородов вновь настаивает на казни Гринева.

Хлопуша не соглашается с мнением народного «фельдмаршала». «Тебе бы все душить да резать», — сказал он ему. Белобородов отвечает: «Да ты что за угодник? У тебя-то откуда жалость взялась?» (8, кн. 1, 349). Хлопуша, беглый каторжник, отвергает идею оправдания любой жестокости. Признав, что и он «грешен», Хлопуша заявляет: «Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором» (там же).

Перед нами три мятежника, три человека с большим жизненным опытом, три руководителя восстания — и каждый раскрыт как личность, как индивидуальный характер, со своим пониманием ответственности за исход борьбы, справедливости, жалости и жестокости.

Создавая образы руководителей восстания, Пушкин следовал за народными представлениями о смелых людях, поднимавших бунт, использовал поэтические, выраженные в пословицах и песнях, представления народа о своих защитниках. Напомним некоторые сцены. После принятия решения идти на Оренбург Пугачев предлагает: «„Ну, братцы, затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!“ Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором» (8, кн. 1, 330). Пели песню «Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати».

Песню эту не зря любил Пугачев — она выражала его понимание жизни, его бесстрашие перед лицом смерти. Работая над «Историей Пугачева», Пушкин узнал из различных источников, что Пугачев предчувствовал поражение и неминуемую свою гибель. И это не остановило его. После поражения на Урале он, перейдя Волгу, поднял на бунт крепостных центральной России. В романе именно сцена исполнения песни поэтически обнажала трагизм судьбы народных героев, иными средствами уже раскрытый в «Истории Пугачева».

Трагическую значительность описанной сцены Гринев почувствовал сразу и потому пришел в смятение от увиденного и услышанного: «Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом» (8, кн. 1, 331).

Рассказчика потрясает непостижная его уму духовная свобода и смелость мятежников, преступивших законы самодержавного государства,

бросивших вызов власти. Он чувствует значительность, поэтичность, непохожесть этих удивительных мятежников, «злодеев» на всех известных ему людей.

Гринев правдиво рассказал о пережитом им во время исполнения песни. Но подлинное содержание этой драматической сцены бесконечно глубже гриневского ее восприятия.

Каждому читателю «Капитанской дочки» очевидно, что главное внимание Пушкина приковано к руководителю восстания Пугачеву. Создавая образ самозванца, Пушкин принципиально отказывается от предваряющей события обобщающей его характеристики. Пугачев входит в роман в ореоле тайны, поэтически — из метели.

Характер Пугачева строится динамически — в движении от «наружного» портрета к портрету глубоко психологическому: читатель узнавал не только о все новых и новых фактах деятельности героя, но прежде всего о его богатой духовной жизни. Узнавание Пугачева было открытием его нравственного обновления, обусловленного событиями восстания. Метаморфоза Пугачева: бродяга — «государь»; лукавый, плутоватый казак — мудрый народный вождь, деликатный, душевно богатый человек — наглядно обнаруживала творческий характер народной борьбы за свободу, еще раз на конкретном, подлинно историческом примере подтверждала важнейший принцип пушкинского реализма: только в протесте, мятеже человек может полностью реализовать себя как личность.

Первый важный разговор Пугачева с Гриневым происходит в Белогорской крепости после окончания «военного совета». Неожиданно для рассказчика Пугачев предлагает Гриневу служить ему с усердием. Нет, не возмущается Пугачев, когда Гринев не верит, что он истинный государь, а, легко отмахнувшись от самозванства, сообщает доверительно собеседнику о своем замысле. Тут-то и открываются нам смелость, удальство, отвага русского человека, готового жизнью пожертвовать ради свободы: «Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька...» (8, кн. 1, 332). И опять Пугачев зазывает Гринева к себе, великодушно обещая щедро наградить за верную службу: «Я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья». Но Гринев тверд в своих убеждениях: «Я природный дворянин: я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» (8, кн. 1, 332). Пугачев проявляет милость и доброту — отпускает Гринева. Но мы чувствуем, что отказ Гринева его огорчает.

Испытывая естественную благодарность к Пугачеву, Гринев начинает его жалеть. Чем откровеннее с ним Пугачев, тем бóльшую жалость испытывает к нему Гринев. Жалость эта во многом от непонимания Гриневым Пугачева. И в этом случае по контрасту усиливается читательское восприятие нравственных убеждений Пугачева.

Сообщив в разговоре, происходящем дорогой на пути в Белогорскую крепость, о смелом замысле идти на Москву, Пугачев тут же признается: «Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они

воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою» (8, кн. 1, 352). Так вновь, уже открыто, подчеркивается трагизм судьбы Пугачева. Становится ясным, почему была любима песня «Не шуми, мати зеленая дубровушка». Гринев даже в эту минуту считает нужным посоветовать отстать от мятежников.

Гринев в жалости своей и мил и мал. Желание добра Пугачеву, конечно, не может не вызвать симпатии к Гриневу. Но в то же время эта жалость к отважному человеку, жизнь которого вдохновенна и трагична, выявляет заурядность, прозаичность натуры Гринева, способного руководствоваться только философией здравого смысла. «Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою» (8, кн. 1, 353).

Вся сцена разговора Пугачева с Гриневым в кибитке, когда они ехали выручать Машу Миронову, носит программный для понимания романа характер. Сам Пугачев, мудрый и смелый вождь восстания, признается, что предчувствует поражение поднятого бунта и свою казнь. В его признании заложена важнейшая идея, открытая и сформулированная Пушкиным еще в «Истории Пугачева», — восстание закономерно, но оно не приведет к желаемым результатам. Гринев сформулирует эту истину со своих чисто эмпирических позиций: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Пугачев знает, что восстание кончится поражением, но не считает бессмысленной борьбу за свободу. И не только потому, что надеется на возможную и временную победу («Авось и удастся!»). Им выстрадана иная, высокая вера, и выражена она в калмыцкой сказке.

Этот эпизод — кульминационный в раскрытии образа Пугачева. Он многозначен, и потому нельзя сводить его смысл (как это нередко делается) к морали, следующей из сказки, заявляя, что в ней аллегорически прославляется смелая короткая жизнь. Сказка обнаруживает глубину духовного обновления Пугачева. Не случайно он начинает ее рассказывать «с каким-то диким вдохновением». Живые, большие, сверкающие глаза, так запомнившиеся Гриневу и заворожившие его, уже предсказывали эту способность Пугачева к высоким чувствам, к «дикому вдохновению».

Сказка поэтически-непосредственно передает тайный смысл реальной жизни Пугачева: все известное о нем убеждает нас — не может этот человек орлиной натуры жить по законам ворона, не видит он смысла в долгой жизни, если нужно питаться мертвечиной. Есть иная жизнь — пусть не долгая, но свободная: «Лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!».

Рассказанная Пугачевым сказка есть народно-поэтический аналог гимну Вальсингама, созданному Пушкиным. Поэт славил способность и возможность человека быть сильнее враждебных обстоятельств. Смысл бытия — в свободе распоряжаться своей жизнью. Так на поэтической почве оказалось возможным сближение пушкинской и пугачевской точек зрения. Чуткая к художественному слову Пушкина М. И. Цветаева

заметила эту близость. Высоко ценя диалог Пугачева с Гриневым («все бессмертные диалоги Достоевского» отдает она за один подобный диалог), Цветаева справедливо пишет, что проходит он («как весь Пугачев и весь Пушкин») под эпиграфом: «Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю...». «В „Пире во время чумы“ Пушкин нам это сказал, в „Капитанской дочке“ Пушкин нам это — *сделал*».[11]

Но многое и отличает «Пир...» и «Капитанскую дочку». В романе идеал жизни Пугачева раскрыт как выражение убеждений народа. И самое главное — национально и социально обусловленная приверженность к свободе и непримиримость к рабству порождали представление о трагически прекрасной жизни (постоянные сражения за свободу, способность бросать вызов власти, отказ от покорного и, может быть, долголетнего существования). Философия жизни Пугачева, сформулированная в сказке, поэтически преодолевала драму русского бунта: он может кончиться поражением, но он не лишен смысла, ибо правда истории на стороне свободного человека, истина в свободолюбии народа, в его ненависти к рабству и угнетению.

Пугачев оттого и находится в центре внимания Пушкина, что в нем — выразителе надежд и чаяний народа, его стремления к свободе — ярко проявился национальный характер. Этим объясняется и широкое использование Пушкиным произведений народного творчества — песен, сказки, пословиц — для раскрытия взглядов и убеждений Пугачева.

Поэтичность образа Пугачева обусловлена и открытием Пушкиным-реалистом поэзии мятежа. Показывая борьбу двух враждебных лагерей расколовшейся нации, Пушкин противопоставляет образ жизни народа образу жизни дворянства. Вспомним, как живут старики Гриневы, как изображен недалекий губернатор Андрей Карлович Р., как рассказывается о военном совете в Оренбурге.

В противопоставлении двух лагерей, как справедливо заметил еще В. Б. Александров, «народное движение выступает как смелое, талантливое, как поэтическое в самом серьезном и значительном смысле этого слова».[12] Жизнь дворян лишена поэтического начала, прозаична, бездуховна, примитивна, а подчас откровенно пошла и ничтожна.

Историзм мышления Пушкина, реализм, с его глубокой и беспощадной правдой, делали невозможной, при высокой оценке исторической роли народа, его идеализацию. Ни в «Истории Пугачева», ни в «Капитанской дочке» Пушкин не скрывает темных сторон восстания и поведения мятежников. Он пишет о мелких грабежах: например, в Белогорской крепости «несколько разбойников» «таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь»; о возможности предательства Пугачева своими же товарищами; о жестокости Пугачева и народа в борьбе со своими мучителями. Жестокость эта часто бессмысленная. Стоит вспомнить хотя бы судьбу Харловой, которую Пугачев после убийства ее мужа офицера сделал своей наложницей и которую потом, по

---

[11] *Цветаева Марина.* Мой Пушкин. М., 1967, с. 118.
[12] Лит. критик, 1937, № 1, с. 25.

требованию казаков, расстреляли вместе с маленьким братом (этот реальный эпизод крестьянской войны, подробно рассказанный в «Истории Пугачева», упоминается в «Капитанской дочке» в письме Маши к Гриневу). Не менее красноречива в романе сцена бессмысленной расправы со старой женщиной — женой капитана Миронова.

Пушкин ничего не скрывает, но объясняет. Жестокость порождена веками накапливавшейся ненавистью к угнетателям, которая делает беспощадной борьбу двух смертельно враждебных сторон. Именно это чувство обнаженно выступает в требовании Белобородова — вешать всех дворян.

Изображая народ в «Капитанской дочке», Пушкин «помнил» о Радищеве: ко времени работы над романом относится внимательное чтение радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и написание своеобразного ответа Радищеву — «Путешествия из Москвы в Петербург» (писалось до января 1835 г.). Радищев первым указал на народ как на ту политическую силу, которой предстоит обновить Россию. Он же твердо утверждал, что свободы должно ждать от самой тяжести порабощения. Но, героизируя крестьян, Радищев никогда не впадал в их идеализацию. В главе «Медное», например, он изобразил холуйство крепостного, «раба духом», который, угождая помещику, отдал ему на поругание свою молодую жену, став «спутником мерзостей» господина.

Изображение народа в «Капитанской дочке» преемственно соотносится с «Путешествием из Петербурга в Москву». Но в то же время оно принципиально отличается от радищевского, и не только художественным уровнем. Радищев был революционером, Пушкин, веря в народ, не призывал к революции — он открыл трагедию «русского бунта».

Подчеркивая свободолюбие и мятежность народа, Пушкин видит, показывает и объясняет и другую сторону национального характера, сформированную рабством, — смиренность и послушание. Образы Савельича и капитана Миронова дают возможность понять народ исторически конкретно, во всей его порожденной социальными условиями сложности. Реализм позволил раскрыть величие народа, его историческую миссию и глубоко драматичную, исполненную острых противоречий жизнь в самодержавном крепостническом государстве.

6

Савельича и Миронова, при различии их судеб, объединяет и нечто общее — отсутствие самосознания. Они живут во власти традиции; их отличает стереотипность мышления. Устоявшийся, не меняющийся из поколения в поколение образ жизни представляется им единственно возможным. Незыблемость существующего положения, освященная к тому же религией, — только эта истина и доступна им. Они никогда не смогут преступить рубеж, за которым их держит власть — помещичья, правительственная; ответить на обиду и оскорбление.

Крепостной, дворовый человек, Савельич исполнен чувства достоинства и ответственности, он умен и смышлен. Доверено ему многое — он

фактически занимается воспитанием мальчика. Он научил его грамоте. Насильственно лишенный семьи, Савельич испытывает к Петру Гриневу поистине отцовскую любовь, проявляя не холопскую, но искреннюю, сердечную заботу о нем.

Но чем больше мы узнаем этот подлинно русский, народный характер, тем полнее постигаем страшную правду о его смирении, тайну столь усиленно проповедуемой «добродетели» народа.

Близкое знакомство с Савельичем начинается после отъезда Петра Гринева из родительского дома. И всякий раз Пушкин создает ситуации, в которых Гринев совершает проступки, оплошности, а Савельич его выручает, помогает, спасает. Но он не слышит слов благодарности. Барин остается глух к самоотверженному поступку, подвигу старика, готового занять место Гринева под виселицей. Бессознательно усвоенное право крепостника распоряжаться чужой жизнью делает его равнодушным. А Савельич покорно принимает это равнодушие к себе своего барина.

С драматической силой характер Савельича и природа его смиренности раскрываются в эпизодах, связанных с дуэлью. Гринев-отец, узнав о дуэли сына, пишет Савельичу грозное и оскорбительное письмо. Гринев-сын обвиняет старика в доносе. Особенность созданной Пушкиным ситуации состоит в том, что Савельича обвиняют и оскорбляют ни за что!

Узнав, что Савельич не доносил старшему Гриневу, Петр Гринев не считает нужным написать отцу и защитить верного слугу. Пишет ему сам Савельич. Письмо это — замечательный образец пушкинского психологизма, обнаруживающего глубинные чувства человека. Оно дышит смирением и покорностью «верного холопа» и в то же время глубоко печально, потрясает драматизмом подавления в себе гордости и достоинства, естественным и оправданным возмущением старика несправедливыми, грубыми оскорблениями и угрозами.

Все это мы узнаем о Савельиче до начала пугачевщины. Мы не можем не жалеть его, не сочувствовать его горькой судьбе. Но наша жалость обретает иной смысл, когда Савельич, как и его барин, попадает в «метель» стихийного русского бунта. Братья Савельича по судьбе воспрянули духом, преступили закон, который обездоливал их, бросили вызов господам и власти. Савельич наблюдает восстание, знает самого Пугачева, но он глух к провозглашенной мятежниками вольности, слеп к событиям и судит о них с позиций своих хозяев. Пугачев для него только «злодей» и «разбойник».

При рассмотрении образа капитана Миронова исследователи, стремясь подчеркнуть художественную удачу Пушкина, обычно ссылаются на мнение Гоголя. Высоко ценя «Капитанскую дочку», он утверждал, что в романе «в первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все — не только самая правда, но еще как бы лучше ее».[13]

---

[13] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 8, с. 384.

В самом деле, «честный и добрый», скромный, лишенный амбиции, честолюбия, «беспечный», готовый подчиняться жене капитан Миронов был мужественным солдатом, получившим офицерское звание за храбрость, проявленную в прусском походе и в сражениях с турками.

Миронову свойственно чувство верности — долгу, слову, присяге. Он не способен на измену и предательство — примет смерть, но не изменит, не отступится от исполнения долга. В этом и проявляется его русская натура, истинно русский характер.

Комендант Белогорской крепости лишь по службе принадлежит к правительственному лагерю — он выходец из народа и связан с ним и воззрениями, и традициями, и образом мышления.

Таков Миронов, ценимый Гоголем. Многое в его оценке справедливо, угадано верно. И все же нельзя смотреть на Миронова глазами Гоголя, да еще Гоголя 1846 г., который восхищался им как образцовым исполнителем своего долга перед государыней императрицей. На капитана Миронова мы обязаны смотреть глазами Пушкина. А созданный им образ богаче, сложнее и, главное, драматичнее того, который предстает перед нами в толковании Гоголя.

Изучение жизни русского народа помогло Пушкину понять сложность и динамичность такой категории, как национальный характер, которая очень интересовала и русских писателей XVIII в., и декабристов. Национальный характер любого народа самобытен и неповторим, как самобытна и неповторима историческая судьба каждой нации и пути ее развития. Он изменчив, никогда не окостеневает, не превращается в некую метафизическую совокупность заданных качеств и психологических свойств, постоянно развивается в зависимости от меняющихся исторических, общественных, социальных обстоятельств жизни нации.

Уже во время восстания Пугачева определились противостояние и борьба двух враждебных лагерей внутри нации. Именно тогда и обострился интерес литературы к жизни народа, его судьбе и его истории. Вопрос о национальном характере приобретал политическое значение. Понимание сложности и многогранности этого характера приводило к желанию выявить и обозначить главное в нем. При этом понимание «главного», «хорошего» и «плохого» в национальном характере подсказывалось и классовыми интересами, и потребностями политического момента. Так появилось представление о различных доминантах национального характера — мятежности и смирении, послушании.[14]

Общественному обнаружению этого всеобщего интереса к русскому национальному характеру и определению его доминанты способствовало выступление Фонвизина. В 1783 г. писатель послал в правительственный журнал «Собеседник любителей российского слова» «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание». Среди «вопросов» был и такой: «В чем состоит наш национальный характер?». На него ответила сама императрица Екатерина II:

---

[14] Подробнее об этом см. в моих главах книги: *Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П.* Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1976, с. 148—153.

«В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании...». Противоположный ответ давали писатели, Радищев в первую очередь, — в мятежности, в вольнолюбии.

Пушкин отлично знал мнения Фонвизина и Радищева, а «Несколько вопросов...» с ответами Екатерины II даже перепечатал в «Современнике» (1836, № 2). «Образцовое послушание» и составляет существо русского характера Ивана Кузьмича Миронова.

При этом образцовое послушание Миронова для Пушкина не добродетель, а тот психологический склад русского человека, который навязывается ему. Поэтому добрый по природе Миронов будничнно прост в своей жестокости, когда отдает приказ пытать башкирца. Поэтому все его действия не освещены сознанием, хотя он храбр и деятелен. Участник исторических событий, он ни разу не задумался о том, что происходит. Послушание открывает нам пленную мысль.

Патриархальность быта Мироновых, следование народным традициям (например, великолепная сцена прощания Ивана Кузьмича с женой и дочерью перед штурмом крепости), речь коменданта, исполненная идиом и народных словечек, — все это только оттеняет драматизм судьбы человека из народа, защищающего несправедливый строй. На таких, как Миронов, держится государство. Его храбрость, верность долгу и присяге, его героизм без аффектации, будничный, повседневный труд и удивительное терпение, его нравственная цельность и глубокая человечность есть черты характера глубоко русского, по-человечески симпатичного. В русской литературе характер этот открыл Пушкин. В иных новых условиях он будет в дальнейшем показан Лермонтовым и Толстым. Но, подчеркивает Пушкин, судьба Миронова драматична. Это с особой эмоциональной силой выражено в сцене прощания Василисы Егоровны с повешенным мужем. Увидев Ивана Кузьмича на виселице, она «закричала в исступлении»: «Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот...» (8, кн. 1, 326).

Василиса Егоровна оплакала мужа по обряду народному, как вопленница, проводила его в последний путь солдатским причитанием, нарекла погибшего поэтическим именем «удалая солдатская головушка». Смерть от рук соотечественников обнажала трагизм столкновения двух стихий — мятежности и послушания.

После смерти в первый и последний раз русский человек капитан Миронов предстал перед читателем овеянный поэзией прощания народа со своим сыном. И в этом прощании отдавалась дань всему лучшему в погибшем — о плохом не вспоминалось, народ отпускал грехи усопшему. Ему, народу, предстояло решать свое будущее, преодолевать драму своей исторической судьбы.

Вопрос о народе после поражения декабристского восстания и начавшегося кризиса дворянской идеологии велением времени становился главным в русской общественной жизни. Без его понимания нельзя было представить себе дальнейшего развития страны. Историческая заслуга Пушкина и в смелой, решительной постановке этого вопроса перед обществом и литературой, и в утверждении веры в творческие силы народа, и в определении доминанты русского национального характера. Русская литература навсегда усвоила завет Пушкина — народ стал ее главным героем.

Достоевский, так настойчиво подчеркивавший зависимость всех последующих поколений писателей от Пушкина, считал, что преемственность их творчества по отношению к поэту проявилась прежде всего в изображении народа. «Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайною великостью гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах», — писал он.[15]

Понять пушкинское подлинно историческое отношение к народу помогает суждение М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Итак, источник сочувствия к народной жизни, с ее даже темными сторонами, заключается отнюдь не в признании ее абсолютной непогрешимости и нормальности (как это допускается славянофилами), а в том, что она составляет конечную цель истории, что в ней одной заключается все будущее благо, что она и в настоящем заключает в себе единственный базис, помимо которого никакая человеческая деятельность немыслима».[16]

Сочувствие к народной жизни, убежденность в том, что она составляет конечную цель истории, наполняя человеческую деятельность высоким смыслом, начинаются с Пушкина. В романе «Капитанская дочка» понимание роли народа выражено с наибольшей полнотой.

В повороте Пушкина к народу, в сочувствии народной жизни, в задушевном родстве с народом — источник его оптимизма, его веры в будущее России. Свидетельство Герцена особенно нам драгоценно: Пушкин, писал он, «обладает инстинктивной верой в будущность России».[17]

7

Историзм и социологизм мышления Пушкина-реалиста помогли ему, как мы видели, понять условность любовного сюжета в исторических романах Вальтера Скотта и обнаружить в изображаемой им эпохе народную борьбу как «главную двигательницу» событий (Чернышевский).

---

[15] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1930, т. 11, с. 185.
[16] *Щедрин Н. (Салтыков М. Е.).* Полн. собр. соч. М., 1937, т. 5, с. 323.
[17] *Герцен А. И.* Полн. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956, т. 7, с. 203.

Реализм делал возможным воссоздание эпохи во всей ее исторической истине.

В 1830-е гг. Пушкин обогатил реализм новым фундаментальным открытием диалектической взаимосвязи обстоятельств и человека: среда, утверждал он, не всемогуща, человек может противостоять ей. Иначе он станет жертвой обстоятельств, покорно и смиренно принимающей все удары судьбы. Это открытие подтверждал опыт истории — между угнетенными и угнетателями существуют антагонистические отношения, тяжесть порабощения неминуемо рождает бунт и протест.

Пушкин в 1830-е гг., объясняя формирование характера социальными обстоятельствами, утверждает не только влияние среды на человека, но и его способность восставать против враждебных ему условий жизни. В протесте, в бунте осуществлялось воспитание человека. Мятежность делала его свободным в рабской стране, рождала веру в собственные силы, «выпрямляла» личность, вселяя в нее чувство собственного достоинства.[18] Достижением этого обновленного реализма явился в «Капитанской дочке» показ народа, создание образа Пугачева.

Историзм и реализм помогли Пушкину понять закономерность народной борьбы за свободу и открыть трагедию «русского бунта», который ни в прошлом, ни в настоящем не приводил к победе и кончался страшным поражением восставших. Какова же судьба будущей революции? На этот вопрос ни история, ни современность ответа не давали. Но роман, художественно исследовавший самый крупный в русской истории «бунт», не мог проповедовать идею бессмысленности борьбы за свободу.

Литература реалистическая, по словам Щедрина, провидит законы будущего. Пушкина, указывал он, также отличает стремление «проникнуть в тайности современности».[19] Как же художественно, поэтически можно было осуществить это проникновение в «тайности современности», скрывающей семена будущего?

Динамизм развития — имманентная особенность пушкинского реализма; он существовал и проявлял себя в постоянном изменении и обновлении. Последним актом его обогащения явился роман «Капитанская дочка». Пушкин открыл способность и возможность реализма использовать фантастическое и символическое начало в исследовании действительности, в познании тенденций ее исторического развития.

Всякий художественный образ в известной мере символичен. Символическое начало расширяет его познавательные потенции, придает ему многозначность, глубину. Сохраняя предметность, опору на реальность, образ в то же время обретает способность высветить скрытый важный смысл явления. Символический образ как бы приоткрывает завесу, скрывающую от нас мир незнаемого.

---

[18] Об этом подробнее см. в моей книге «Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы» (Л., 1974, с. 241—313).

[19] *Щедрин Н. (Салтыков М. Е.).* Полн. собр. соч. М., 1937, т. 14, с. 460.

Чем более Пушкин размышлял о будущем России, о революции, о «русском бунте», о нарастающем отпоре насилию, тем более испытывал нужду в символических образах, помогающих представить себе хотя бы контуры этого незнаемого мира. Символические образы мы обнаруживаем уже в поэме «Медный всадник» и повести «Пиковая дама». Огромна идейная роль символических образов и в реалистической структуре «Капитанской дочки».

Прежде всего следует подчеркнуть, что символическое начало Пушкин связывает только с образом Пугачева. Поэтическое в нем сливается с символическим. И то и другое нужно Пушкину для глубокого познания тайны обновленной в жестокой борьбе личности простого казака, ставшего вождем крестьянской войны, крупным историческим деятелем, символом «русского бунта».

В «Историю Пугачева» Пушкин внес многозначительный ответ Пугачева на вопрос допрашивавшего его генерала Панина: «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает». Ответ поэтический, исполненный символического значения, — в нем отразилась народная вера в неминуемость новых восстаний, которые не могут не победить. Познание характера Пугачева одновременно было для Пушкина познанием революционности народа в прошлом и будущем, познанием закономерности этой революционности и ее трагического характера.

Поэтическое и символическое в своей слитности выступают при первом же появлении Пугачева в романе, при первом знакомстве с ним читателя. Гринев едет в Оренбург. Зная, что в этих местах часто случаются опасные бураны (бывали случаи, когда метели заносили целые обозы) и не обращая внимания на приметы приближающейся метели, он приказывает ехать. Как и предвидел ямщик, их настигла беда: «В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем» (8, кн. 1, 287). Дорогу занесло снегом, кони, сбившиеся с пути, стали.

Все в этом будничном описании достоверно и конкретно. Так же реальна случайная встреча с появившимся из метели «добрым человеком». Естествен вопрос, заданный ему ямщиком: «Скажи, не знаешь ли, где дорога?». Ответ знающего эти места прост: «Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе» (8, кн. 1, 288). «Дорожный» выручает из беды, выводит заблудившихся к жилью. Вся сцена выписана в строго реалистических тонах, действие и поступки ее участников мотивированы обстоятельствами.

И в то же время мотив метели в этой сцене символичен и потому многозначен. Многозначность не проявляется сразу, она не дана, но существует в возможности, способна сформироваться позже. Постижение символики всегда требует напряжения от читателя, усилий его воображения и мысли. В данном случае особый, тайный смысл символа метели выступит, станет очевидным после того, как читатель познакомится со всем романом и, обогащенный знанием, мысленно вернется к этому образу. Так проступает написанный симпатическими чернилами текст после его нагревания.

Метель — грозное проявление природной стихии, выражает и глубокий смысл могучей стихии народного мятежа, крестьянской войны за вольность. Пугачев, вышедший из метельной тьмы, не поверженный стихией (он не потерял дорогу), так же свободно будет жить и действовать в стихии восстания. Природная стихия как-то чудесно соотносится со стихией народного мятежа.

Поэтическое появление Пугачева в романе из «тайного места», из метели придает прозаическому его разговору с ямщиком вещий смысл. Неизвестный из метели оборачивается человеком, знающим дорогу, способным выручить из беды. Читатель еще не знает, что это Пугачев. А когда узнает, он вернется к этой сцене, и тогда-то откроется для него глубокое значение ночного разговора с Пугачевым.

Гринев поначалу называет неизвестного «дорожным», «мужичком». По приезде на постоялый двор Гринев спрашивает Савельича: «Где же вожатый?». Реальное содержание слова «вожатый» однозначно: проводник. Намерение писателя придать символическое значение образу вожатого — Пугачева реализовано было вынесением в название главы слова «вожатый». В нем, как в фокусе, собирались тайные, глубокие смыслы и мотива метели, и образа человека, который знает дорогу. Заглавие подчеркивало возможность превращения однозначного слова в многозначный образ. Неизвестный был вожатым потому, что вывел Гринева из метели к жилью. Но неизвестный окажется Пугачевым, а обстоятельства сложатся так, что он станет вожатым Гринева в грозной метели восстания. Сквозь многозначный образ начинало просвечивать скрытое до времени, тайное и громадное значение человека, который может быть Вожатым с большой буквы.

Совершенно особую роль в романе играет сон Гринева, который он видит сразу же после первой встречи с Вожатым — Пугачевым.

Ему снилось, что он вернулся домой: «Матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. „Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобою проститься“. Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: „Андрей Петрович, Петруша приехал, он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его“. Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: „Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?“ — „Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженый отец; поцалуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...“» (8, кн. 1, 289).

Обратим внимание на подчеркнутую реальность событий и действующих лиц сна: все буднично, ничего символического в описанной картине нет. Она скорее фантастична, даже нелепа, как это часто и бывает в снах: в отцовской постели лежит мужик, у которого надо просить

благословения и «поцеловать ручку». Символическое в ней будет проступать по мере знакомства читателя с сюжетным развитием романа — тогда родится догадка, что мужик с черной бородой похож на Пугачева: ведь Пугачев так же ласков был к Гриневу и устроил его счастье с Машей Мироновой. Чем больше узнавал читатель о восстании и Пугачеве, тем стремительнее росла многогранность образа мужика из сна, отчетливее выступала его символическая природа.

Это становится особенно наглядным в заключительной сцене сна. Гринев не хочет исполнить просьбу матери — подойти под благословение мужика: «Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: „Не бойсь, подойди под мое благословение...“» (8, кн. 1, 289).

Мужик с топором, мертвые тела в комнате и кровавые лужи — все это явно символично. Но символическая многозначность и в этом случае связана с нашим знанием о жертвах восстания Пугачева, о многих мертвых телах и лужах крови, которые увидел Гринев позже — и не во сне, а наяву.

Образ чернобородого мужика с топором — это обобщенный поэтический образ Пугачева, итог художественного исследования могучего народного характера, хотя он и дан в начале романа, до нашего знакомства с Пугачевым. Объясняется это особой природой символического образа — он лишен статики, наделен способностью «самостоятельно» жить во времени, развиваться, представать в своей многозначности. Знаменательно, что роман и завершался кровавой сценой, написанной уже не от лица Гринева. Пушкин — издатель мемуаров Гринева, опираясь на «семейственные предания», писал, что Гринев «присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу» (8, кн. 1, 374). Реальная сцена казни Пугачева не может не вызвать в памяти образа чернобородого мужика с топором. И странное дело, казнь не воспринимается как возмездие; главный художественный эффект сцены в том, что она придает особый волнующий смысл образу из гриневского сна. Этой же цели служит и калмыцкая сказка: ведь Пугачев знал, что ждет его, и шел безбоязненно по избранной дороге.

Пронзительный по своей идейной неожиданности оксюморон из вещего сна — *ласковый* мужик с *топором*! — благодаря читательскому опыту тоже пополняется новыми оттенками смысла. Ласковость мужика с топором не кажется читателю страшной и странной, ибо ласковость Пугачева к Гриневу и Маше Мироновой создает ему особый ореол.

И наконец, это слово мужика: «Не бойсь!..», поражающее сначала своей как бы абсурдностью, — ну как же не бояться человека с топором, которым он машет, наполняя комнату трупами? Нельзя не бояться такого мужика! Но возвращение читателя к сцене сна во всеоружии зна-

ния Пугачева кардинально обновляет смысл этого слова. Ведь все отношения Пугачева с Гриневым и строятся на том, что он ласково убеждал его не бояться восстания — затем и калмыцкую сказку рассказывал, и уговаривал перейти к нему («послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую в фельдмаршалы и князья. . .»).

Вещие сны человек помнит всю жизнь. Особенно остра память, когда ожидаешь исполнения такого сна. Притягательная, гипнотизирующая сила символического сна такова, что читатель не может забыть его. Образ мужика с топором, сливаясь с поэтическим образом Пугачева, становится глубоко содержательным символом романа — в нем, как в накрепко сжатой пружине, сконцентрирован идейный смысл «Капитанской дочки».

Народу принадлежит огромная роль в истории. Даже когда он «безмолвствует», ощущается зреющая в нем энергия будущих мятежей. Восстание высвобождает громадные и грозные силы. Стихия бунта закономерна и в то же время неуправляема. Жестоко подавленный в одном случае и в одном месте, бунт вспыхивает вновь и вновь — ворон мятежа летает, не зная устали. Нельзя без народа решать судьбу России. Мужик с топором в пушкинском романе выражал надежды и представления этого народа.

Символика образа многозначна. И одно из значений ведет к поэтическому преодолению мысли о трагичности русского бунта. Борьба народа за свободу справедлива, беспощадна, но не бессмысленна и не бесполезна. Мужик с топором кличет Гринева: «Подойди под мое благословение. . .». Гринев не подошел: «Ужас и недоумение овладело мною», — признается он читателю. Нет, еще не скоро осознается истина, открытая Пушкиным. Возможность решения рокового конфликта таится в будущем.

Символично и слово ласкового мужика с топором: «Не бойсь! . .». Зная роман, мы понимаем парадоксальную справедливость этого призыва: Гриневу действительно нечего было бояться Пугачева — он делал ему только добро. Но есть и другой, более глубокий смысл в этом призыве: революция — это не только кровь, жертвы и жестокость, но и торжество человечности. Читателю трудно не поверить мужику — ведь он сам видел проявление этой человечности в ходе восстания. И мы понимаем, зачем выбрал это слово мужик, насколько оно содержательно, какая устремленность в будущее чувствуется в нем.

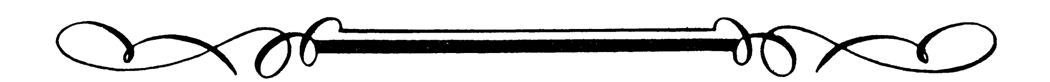
«Капитанская дочка» оказалась завещанием Пушкина. Открывая читателю свою выстраданную правду о русском народе и русском бунте, он призывал задуматься над коренными, капитальными вопросами, касающимися социального развития России, судеб народа и будущей революции.

Политические убеждения Пушкина обусловлены временем. Он не мог принять идеи крестьянской революции. Но художественные произведения Пушкина никогда не были иллюстрацией его политических взглядов. Пушкин-художник глубже понимал и прошлое и будущее родины. Об этом в свое время хорошо писал Б. В. Томашевский: «Замечательно, что

сочувствие крестьянской революции не вытекало непосредственно из системы политического мышления Пушкина, который был либеральным последователем Монтескье, Вольтера, Бенжамена Констана и Сталь и сам неоднократно высказывался за умеренную конституцию английского типа. Но с его программными взглядами боролись глубокое историческое чутье и инстинкт художника, проникавшие в истинный смысл „судьбы народа“».[20]

---

[20] *Томашевский Б. В.* Пушкин: Материалы к монографии, кн. 2, с. 150.



«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Время выхода в свет четвертой книжки «Современника» за 1836 г., в которой опубликована была «Капитанская дочка», точно не установлено. На это литературное событие не откликнулся ни один журнал, ни одна из петербургских и московских газет. Даже «Северная пчела», регулярно отмечавшая в своей хронике или в объявлениях книгопродавцев поступление в продажу очередных номеров всех литературных журналов, обошла молчанием появление «Капитанской дочки». В переписке Пушкина сохранилось два упоминания о четвертой книжке «Современника», но оба эти свидетельства не имеют дат.[1] Неудивительно, что и библиографический справочник Н. Синявского и М. Цявловского «Пушкин в печати», определяя время выхода в свет последней книжки «Современника», ограничился условной датировкой: «Во второй половине ноября — в декабре».[2] Эта справка основывалась на дате цензурного разрешения четвертого тома, подписанного к печати 11 ноября 1836 г. Вероятно, на этой же дате основано было полвека спустя и глухое упоминание П. И. Бартенева о том, что последняя книжка «Современника» появилась «в исходе ноября».[3]

Отсутствие точных данных о времени выхода в свет «Капитанской дочки» заставляет нас с особым вниманием учесть все косвенные свидетельства об этом. В их ряду наиболее авторитетными являются отметки в дневниках и в письмах А. И. Тургенева, который день за днем в течение последних двух месяцев 1836 г. регистрировал все новости великосветской, литературной и научной жизни Петербурга. Как старый друг

---

[1] Как свидетельствуют воспоминания И. П. Сахарова, основанные в данном случае на рассказах А. А. Краевского, «Капитанская дочка» появилась в «Современнике» вопреки желанию Пушкина: «Как теперь помню, — отмечал мемуарист, — сколько было хлопот с „Капитанской дочкой“. Пушкин настаивал, чтобы отдельно напечатана была эта повесть, а Краевский и Врасский — хозяин типографии Гуттенберговой — не соглашались и, кажется, поставили на своем» (Рус. арх., 1873, кн. 1, стб. 974—975). О взаимоотношениях Пушкина, Врасского и Краевского осенью 1836 г. см. опубликованные нами материалы: Лит. наследство. М., 1952, т. 58, с. 289—296.

[2] Пушкин в печати: 1814—1837. М., 1914, с. 156; 2-е изд., испр. М., 1938, с. 132.

[3] См.: А. С. Пушкин: К биографии А. С. Пушкина. М., 1885, вып. 2, с. 84.

Пушкина и один из ближайших сотрудников его журнала, А. И. Тургенев раньше, чем кто-либо другой, должен был откликнуться и на выход в свет четвертой книжки «Современника».

И действительно, записи в дневнике А. И. Тургенева от 24, 25 и 26 декабря являются самыми ранними из известных нам свидетельств о последней книжке «Современника».[4] 24 декабря А. И. Тургенев беседовал о ней с П. А. Вяземским и тогда же приступил к чтению «Капитанской дочки»; 25 декабря он поделился впечатлениями от нового номера «Современника» с самим Пушкиным; 26 декабря он рекомендовал познакомиться с четвертой книжкой «Современника» К. А. Булгакову и в тот же день отправил новый том журнала в Москву.[5]

Все эти записи свидетельствуют о том, что четвертая книжка «Современника» явилась между 24 и 26 декабря самой злободневной новинкой, известной ближайшему окружению Пушкина в Петербурге и еще не успевшей дойти до Москвы. Поэтому мы и полагаем, что если А. И. Тургенев получил свой авторский экземпляр четвертого тома «Современника» 24 декабря, то временем выхода в свет «Капитанской дочки» можно считать или этот самый день, или день предшествующий. Это наше предположение было подтверждено впоследствии документами, обнаруженными Н. И. Фокиным в архиве С.-Петербургского цензурного комитета: билет на выпуск в свет четвертого номера «Современника» был подписан 22 декабря 1836 г.[6]

Таким образом, и недатированная записка Пушкина к В. Ф. Одоевскому с запросом: «Получили ли вы 4 № Современника и довольны ли им?» — должна быть отнесена к последним числам декабря 1836 г. К этим же дням должны быть приурочены и критические замечания В. Ф. Одоевского о «Капитанской дочке», посланные им Пушкину в ответ на его запрос (16, 195—196). Эту датировку подтверждает и рассказ А. А. Краевского о том, как он вместе с Пушкиным присутствовал 29 декабря 1836 г. на годовом акте в Академии наук: «Пред этим только что вышел четвертый том „Современника“ с „Капитанской дочкой“, — вспоминал Краевский. — В передней комнате Академии пред залом Пушкина встретил Греч — с поклоном чуть не в ноги: „Батюшка Александр Сергеевич, исполать вам! Что за прелесть вы подарили нам! — говорил с обычными ужимками Греч. — Ваша „Капитанская дочка“ чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером? Ведь книгу-то наши дочери будут читать!“ — „Давайте, давайте им читать!“ — говорил в ответ, улыбаясь, Пушкин».[7]

В тот же день, т. е. 29 декабря 1836 г., Пушкин дал письменное распоряжение о выдаче 25 экземпляров четвертой книжки «Современника» книжному магазину А. Ф. Смирдина.[8] Первая же печатная информация

---

[4] *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М., 1928, с. 281.

[5] Письма А. Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 202.

[6] См.: Учен. зап. / Урал. гос. пед. ин-т, 1957, т. 4, вып. 3, с. 124.

[7] Рус. старина, 1880, № 9, с. 220.

[8] Читатель и писатель, 1928, № 4—5, с. 2.

СОВРЕМЕННИКЪ,

ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ГУТТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФІИ.

1836

«Современник». Титульный лист четвертого тома журнала за 1836 г., в котором впервые был опубликован роман «Капитанская дочка».

о новой книжке «Современника» появилась лишь месяц спустя. Мы имеем в виду две строчки в № 5 «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» от 30 января 1837 г. о публикации «в IV томе „Современника“ на 1836 г. превосходной повести Пушкина „Капитанская дочка“» (с. 48). Эти строки помещены были в разделе «Замечательные явления в русской журналистике» и дошли до читателей уже после смерти поэта. Других откликов на «Капитанскую дочку» в печати не было до 1838 г.[9]

Объединяя в настоящем разделе все известные нам отклики на роман современников Пушкина, мы включаем сюда же печатные и эпистолярные высказывания о нем крупнейших деятелей русской литературы, искусства и науки XIX—XX вв., а также известных советских литературоведов.

П. А. Вяземский

Кто-то заметил, кажется Долгорукий, что *Потемкин* не был в пугачевщину еще первым лицом и, следовательно, нельзя было Пугачеву сказать: «Сделаю тебя фельдмаршалом, сделаю Потемкиным». Да и не напоминает ли это французскую драму: Je te ferai Dolgoroucki.

«Важные поступки» где-то, кажется, о Пугачеве у тебя сказано. Гоголь может быть в претензии.

Можно ли было молодого человека, записанного в гвардию, прямо по своему произволу определить в армию? А отец Петра Андреевича так поступил, — написал письмо генералу, и только. Если уже есть письмо, то, кажется, в письме нужно просить генерала о содействии его к переводу в армию. А то письмо неправдоподобно. Не будь письма налицо, можно предполагать, что эти побочные обстоятельства выпущены автором, — но в письме отца они необходимы.

«Абшит» говорится только об указе отставки, а у тебя, кажется, взят он в другом смысле.

Кажется, зимою у тебя река где-то не замерзла, а темнеет в берегах, покрытых снегом. Оно бывает с начала, но у тебя чуть ли не посреди зимы.[10]

Письмо П. А. Вяземского к Пушкину. Около 5 ноября 1836 г. — 16, 183.

---

[9] «Капитанская дочка» вовсе не упоминалась и в самом авторитетном из первых зарубежных обзоров литературной деятельности Пушкина. Мы имеем в виду книгу Генриха Кенига «Literarische Bilder aus Russland Herausgegeben von H. Koenig» (Stuttgart und Tübingen, 1837). Эта книга написана была при ближайшем участии московского литератора Н. А. Мельгунова, осведомившего Кенига и об «Истории Пугачева», и о незавершенной работе Пушкина над «Историей Петра Великого». См. также позднейший русский перевод этого издания: Очерки русской литературы. Спб., 1862.

[10] Письмо отражает отклики первых слушателей «Капитанской дочки», которая была прочитана (в рукописи) Пушкиным на вечере у Вяземского 1 ноября 1836 г. (см.: Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т. 3, с. 347).

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

Береги честь съ молоду.

Пословица.

ГЛАВА I.

СЕРЖАНТЪ ГВАРДІИ.

Былъ бы гвардіи онъ завтра жъ капитанъ.
—Того не надобно: пусть въ арміи послужитъ.
Изрядно сказано! Пускай его потужитъ . . . .
. . . .
Да кто его отецъ?

Княжнинъ.

Отецъ мой, Андрей Петровичь Гриневъ, въ молодости своей служилъ при графѣ Минихѣ, и вышелъ въ отставку премьеръ-майромъ въ 17... году. Съ тѣхъ поръ жилъ онъ въ своей Симбирской деревнѣ, гдѣ и женился на дѣвицѣ Авдотьѣ Василь-

«Капитанская дочка». Первая страница журнального текста («Современник», 1836, № 4, с. 42).

В «Капитанской дочке» история пугачевского бунта или подробности о нем как-то живее, нежели в самой истории. В этой повести коротко знакомишься с положением России в эту странную и страшную годину. Сам Пугачев обрисован метко и впечатлительно. Его видишь, его слышишь. Может быть, в некоторых чертах автор несколько *идеализировал* его. В его — странно сказать, а иначе сказать нельзя — простодушии, которое в нем по временам оказывается, в его *искренности* относительно Гринева, пред которым он готов не выдаваться за Петра III, есть что-то напоминающее очерк Дмитрия Самозванца, начертанный тем же Пушкиным. Но если некоторые подробности встречаешь с недоумением, то основа целого и басня, на ней изложенная, верны. Скажем опять: если оно было и не так, то могло так быть. От крепости Белогорской вплоть до Царского Села картина сжатая, но полная и мастерски воспроизведенная. Императрица Екатерина так же удачно и верно схвачена кистью мастера, как и комендантша Василиса Егоровна. А что за прелесть Мария! Как бы ни было, она принадлежит русской былине о Пугачеве. Она воплотилась с нею и отсвечивается на ней отрадным и светлым оттенком. Она другая Татьяна того же поэта.

Вяземский П. А. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина. 1847. — Полн. собр. соч. Спб., 1879, т. 2, с. 377.

В. Ф. Одоевский

«Капитанскую дочь» я читал два раза сряду и буду писать о ней особо в «Л‹итературных› пр‹ибавлениях к „Русскому инвалиду“›» — комплиментов Вам в лицо делать не буду — Вы знаете все, что я об Вас думаю и к Вам чувствую, но вот критика не в художественном, но в *читательском* отношении: Пугачев *слишком скоро*, после того как о нем в первый раз говорится, нападает на крепость; увеличение слухов не довольно растянуто — читатель не имеет времени побояться за жителей Белогорской крепости, когда она уже и взята. Семейство Гринева хотелось бы видеть еще раз после всей передряги: хочется знать, что скажет Гринев, увидя Машу с Савельичем. Савельич чудо! Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жаль в повести. Пугачев чудесен; он нарисован мастерски. Швабрин набросан прекрасно, но только набросан; для зубов читателя трудно пережевать его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева. По выражению Иосифа Прекрасного,[11] Швабрин *слишком* умен и тонок, чтобы поверить возможности успеха Пугачева, и не довольно страстен, чтобы из любви к Маше решиться на

---

[11] Иосиф Михайлович Виельгорский, молодой человек, сын друга Пушкина и Одоевского, увековеченный Гоголем в «Ночах на вилле» (1839).

такое дело. Маша так долго в его власти, а он не пользуется этими минутами. Покаместь Швабрин для меня имеет много нравственно-чудесного; может быть, как прочту в третий раз, лучше пойму.

Письмо В. Ф. Одоевского к Пушкину. Около 26 октября 1836 г. — 16, 195—196.

П. Я. Чаадаев

Tout fou que je suis, je compte que Pouchkin voudra bien accepter mon compliment sur la charmante créature, son enfant adultérine, qui est venue l'autre jour me reposer un instant de mes dégoûts. Dites-lui, je vous prie, que ce qui me charme surtout en elle, c'est cette simplicité parfaite, ce bon goût, si rares par le temps qui court, si difficiles à prendre en ce siècle à la fois si fat et fougueux, qui se couvre d'oripeaux et se roule dans l'ordure, véritable prostituée en robe de bal et les pieds dans la boue. Ив. Ив. ‹Дмитриев› trouve que le vieux général allemand eût mieux été en personnage historique, l'époque étant si parfaitement historique: je suis assez de son avis mais c'est une vétille.

Письмо П. Я. Чаадаева к А. И. Тургеневу. Около 30 декабря 1836 г. — В кн.: *Чаадаев П. Я.* Соч. и письма. М., 1913, т. 1, с. 200.

Перевод: Пусть я безумец, но я надеюсь, что Пушкин примет искреннее мое поздравление в связи с появлением на свет очаровательного создания, его побочного ребенка, доставившего мне на днях минуту отдыха от гнетущего меня уныния. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровали меня в нем совершенная простота, утонченность вкуса, столь редкие в нынешнее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в нечистотах, настоящая блудница в бальном платье и с ногами в грязи. Ив. Ив. ‹Дмитриев› находит, что старый генерал-немец был бы удачнее в качестве исторического лица, ведь эпоха воссоздана так глубоко; я, пожалуй, с ним согласен, но это мелочь.

А. И. Тургенев

Повесть Пушкина «Капитанская дочь» так здесь прославилась, что Барант,[12] не шутя, предлагал автору, при мне, перевести ее на французский ‹язык› с его помощию, но как он выразит оригинальность этого слога, этой эпохи, этих характеров старорусских и этой девичьей русской прелести — кои набросаны во всей повести? Главная прелесть

---

[12] Амабль-Проспер Барант (1782—1866) — французский историк и политический деятель либерального лагеря, с 1834 г. посол Франции при русском дворе.

в рассказе, а рассказ перерассказать на другом языке — трудно. Француз поймет нашего *дядьку* (*menin*), такие и у них бывали; но поймет ли *верную* жену *верного* коменданта?

Письмо А. И. Тургенева к К. Я. Булгакову. 9 января 1837 г. — В кн.: Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 204.

Н. В. Гоголь

Кстати о литературных новостях. Они, однако ж, не тощи. Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы «Полководец» и «Капитанская дочь». Видана ли была где такая прелесть! Я рад, что «Капитанская дочь» произвела всеобщий эффект.

Письмо Н. В. Гоголя к Н. Я. Прокоповичу. 25 января 1837 г. — В кн.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1952, т. 11, с. 85.

Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведенье в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительно‹сть› кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все — не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном в лучшем виде.

Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями (гл. XXXI — «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»). 1847. — Полн. собр. соч. М., 1952, т. 8, с. 384—385.

В. Г. Белинский

А его «Капитанская дочка»? О, таких повестей еще никто не писал у нас, и только один Гоголь умеет писать повести, еще более действительные, более конкретные, более творческие, — похвала, выше которой у нас нет похвал!

Белинский В. Г. Литературная хроника. — Московский наблюдатель, 1838, т. 16, март, кн. 1; Полн. собр. соч. М., 1953, т. 2, с. 347—348.

Самая лучшая его повесть «Капитанская дочка», при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами, и драмами, это не больше как превосходное беллетристическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями.[13]

Белинский В. Г. Герой нашего времени. — Отеч. зап., 1840, № 6, отд. 5, с. 32; Полн. собр. соч., М., 1954, т. 4, с. 198.

«Капитанская дочка» — нечто вроде «Онегина» в прозе. Поэт изображает в ней нравы русского общества в царствование Екатерины. Многие картины по верности, истине содержания и мастерству изложения — чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера-француза и в особенности его дядьки из псарей, Савельича, этого русского Калеба,[14] Зурина, Миронова и его жены, их кума Ивана Игнатьевича, наконец, самого Пугачева, с его «господами енаралами», таковы многие сцены, которых, за их множеством, не находим нужным пересчитывать. Ничтожный, бесчувственный характер героя повести и его возлюбленной Марьи Ивановны и мелодраматический характер Швабрина хотя принадлежат к резким недостаткам повести, однако ж не мешают ей быть одним из замечательных произведений русской литературы.

Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина, статья одиннадцатая и последняя. — Отеч. зап., 1846, № 10, отд. 5, с. 66; Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 577.

---

[13] Развитие этих же положений см. в письме Белинского к В. П. Боткину от 16 апреля 1840 г. (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956, т. 11, с. 508) и в статье «Русская литература в 1843 г.» (Там же. М., 1955, т. 8, с. 79).

[14] Калеб — слуга Равенсвуда, одно из главных действующих лиц в романе В. Скотта «Ламмермурская невеста».

В. К. Кюхельбекер

Легко статься может, что «Капитанская дочка» и «Пиковая дама» лучше всего, что когда-нибудь написано Пушкиным.

Письмо В. К. Кюхельбекера к Н. Г. Глинке. 29 июня 1839 г. — В кн.: Летописи Гос. Лит. музея. Декабристы / Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938, с. 182.

Н. И. Греч

И не в одних стихах являлся его прекрасный, необыкновенный дар! Он с таким же искусством и счастием писал в прозе. В первых своих прозаических произведениях он играл, можно сказать, таким образом, но в последних поднялся на высокую степень. Слог его повести «Капитанская дочка» простотою, естественностию, выразительностию и правильностию показывает, какую пользу он принес бы русскому языку, если б жил долее.

Греч Н. Чтения о русском языке. Спб., 1840, ч. 1, с. 759.

...его «Пиковая дама» и «Капитанская дочка» занимают первые места в ряду повестей русских. Особенно изобилует неподдельными красотами «Капитанская дочка», в которой Пушкин с удивительным искусством умел схватить и выразить характер и тон средины XVIII века.

Греч Н. Чтения о русском языке. Спб., 1840, ч. 2, с. 339.[15]

И. Г. Головин

Ses nouvelles en prose ne présentent pas, je crois, le cachet particulier de son génie, quoique sa «Fille du capitaine», sa «Dame de pique» et quelques autres occupent dans la littérature russe une place remarquable.

Golovine Ivan. La Russie sous Nicolas I-er. Paris, 1845, p. 436.

Перевод: На его прозаических повестях, как я думаю, нет особой печати его гения, хотя «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и некоторые другие занимают в русской литературе очень видное место.

---

[15] В позднейшей передаче А. А. Краевского до нас дошел и устный отклик Н. И. Греча на «Капитанскую дочку», относящийся к 29 декабря 1836 г. (см. выше, с. 233).

П. А. Катенин

«История пугачевского бунта» по языку очень хороша, но по скудости материалов, коими мог пользоваться сочинитель, в историческом отношении недостаточна; зато картинную сценическую сторону любопытной эпохи схватил он и представил мастерски в «Капитанской дочке»; сия повесть, пусть и побочная, но все-таки родная сестра «Евгению Онегину»: одного отца дети и «во многом сходны между собою».

Катенин П. А. Воспоминания о Пушкине. 9 апреля 1852 г. — В кн.: Лит. наследство. М., 1934, т. 16—18, с. 642.

Л. Н. Толстой

Я читал «Капитанскую дочку», и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, но манерой изложения. Теперь справедливо в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то.

Толстой Л. Н. Дневник. 31 октября 1853 г. — Полн. собр. соч. М., 1934, т. 46, с. 187—188.

П. В. Анненков

Рядом с своим историческим трудом Пушкин начал, по неизменному требованию артистической природы, роман «Капитанская дочка», который представлял другую сторону предмета — сторону нравов и обычаев эпохи. Сжатое и только по наружности сухое изложение, принятое им в Истории, нашло как будто дополнение в образцовом его романе, имеющем теплоту и прелесть исторических записок.

Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855, с. 361.

Н. Г. Чернышевский

Прочитайте три-четыре страницы «Героя нашего времени», «Капитанской дочки», «Дубровского» — сколько написано на этих страничках!

И место действия, и действующие лица, и несколько начальных сцен, и даже завязка — все поместилось в этой тесной рамке.

Чернышевский Н. Г. Сочинения Пушкина. Статья вторая. — Современник, 1855, № 3, отд. 3, с. 1—34; Полн. собр. соч. М., 1949, т. 2, с. 466—467.

«Дубровский» и особенно «Капитанская дочка» должны назваться лучшими из прозаических повестей Пушкина. «Дубровский» изображает быт наших помещиков в начале нынешнего столетия, а «Капитанская дочка» — эпоху пугачевского бунта, историею которого Пушкин занимался в это время.

Чернышевский Н. Г. Александр Сергеевич Пушкин: Его жизнь и сочинения. Спб., 1856; Полн. собр. соч. М., 1947, т. 3, с. 335.[16]

М. Н. Катков

«Капитанская дочка» составляет блистательное исключение из повествовательной прозы Пушкина. В этой повести есть развитие, целость и много прекрасного. Занятие материалами для истории пугачевского бунта не осталось в Пушкине бесплодным. «Капитанская дочка» несравненно более знакомит нас с эпохою, местами и характером лиц и событий, нежели самая история пугачевского бунта, написанная Пушкиным. Удивительная верность изображений была новостию в нашей литературе. После «Бориса Годунова» повесть эта явилась новым доказательством способности Пушкина воссозидать быт прошедших времен. Но и здесь главное достоинство все же заключается не в развитии целого, а в подробностях и отдельных положениях. Образ Пугачева намечен мастерски: это одна из самых цельных характеристик у Пушкина. Прочие лица в этой повести: сама героиня, ее отец и мать, Савельич, так же хороши по замыслу и по исполнению. Но как ни сильно поддерживало, как ни возбуждало производительную силу повествователя обилие материалов, из которых выработан этот рассказ, оно не могло, однако, вполне заменить то, чего недоставало в самой природе его дарования. И «Капитанская дочка», изобильная прекрасными частностями, не составляет определенного и сильно организованного целого. В рассказе нельзя не заметить той же самой сухости, которою страдают все прозаические опыты

[16] В дневнике Чернышевского от 19 февраля 1853 г. сохранилась запись его беседы с О. С. Васильевой, будущей его женой. Эта запись явно навеяна «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачева»: «У нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем <...>. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня» (*Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1939, т. 1, с. 418—419).

Пушкина. Изображения либо слишком мелки, либо слишком суммарны, слишком общи. И здесь также мы не замечаем тех сильных очертаний, которые дают вам живого человека или изображают многосложную связь явлений жизни и быта.

Катков М. Пушкин. — Рус. вестн., 1856, кн. 3, с. 294.

Аполлон Григорьев

...но Пушкин в нашей литературе был единственный полный человек, единственный всесторонний представитель нашей народной физиономии <...>. Ему было дано непосредственное чутье народной жизни, и дана более непосредственная же любовь к народной жизни. Это (вопреки появившемуся в последнее время мнению, уничтожающему его значение как народного поэта, мнению, родившемуся только вследствие знакомства наших мыслителей с народною жизнью из кабинета и по книгам) — неоспоримая истина, подтверждаемая и складом его речи в Борисе, Русалке, Женихе, утопленнике, сказках о рыбаке и рыбке, о Кузьме Остолопе, отрывком о Медведице и т. д. и, что еще важнее, складом самого миросозерцания в «Капитанской дочке», повестях Белкина и проч. <...> Чисто отрицательное созерцание жизни и действительности является только как момент в полной и цельной натуре Пушкина <...> Он на этом может не останавливаться, а идет дальше, облекается сам в образ Белкина, но опять-таки и на этом не останавливается. Отождествление с взглядом отцов и дедов в «Капитанской дочке» выступает в поэте вовсе не на счет существования прежних идеалов, даже не во вред им, ибо в то же самое время создает он «Каменного гостя» <...>.

Когда мы все восторгались «народными» разговорами в романах Загоскина, он, в высокой степени владевший народною речью (отрывок о Медведице), понимавший глубоко и комические принципы быта русского человека («Летопись села Горохина»), и трагические (кузнец в Дубровском, «Емеля» в «Капитанской дочке», пир Пугачева и т. д.), он ни разу не позволил себе написать какую-нибудь повесть с «народными» разговорами, ибо знал, что не пришло еще время, нет еще красок под рукою и неоткуда их взять, пока не последуют его совету и не будут учиться русскому языку у московских просвирней (примечания к Онегину), что речь, которую выдавали за народную, — не народная, а подслушанная у дворни, что чувства, этою речью выражаемые, — фальшивы и т. д.

Григорьев А. Западничество в русской литературе: Причины происхождения его и силы. 1836—1851. — Время, 1861, № 3, отд. 2, с. 3—4, 8; Соч. Спб., 1876, т. 1, с. 512—514, 517—518.

В. А. Соллогуб

Есть произведение Пушкина, мало оцененное, мало замеченное, а в котором, однако, он выразил все свое знание, все свои художественные убеждения. Это История пугачевского бунта. В руках Пушкина, с одной стороны, были сухие документы, тема готовая. С другой стороны, его воображению не могли не улыбаться картины удалой разбойничьей жизни, русского прежнего быта, волжского раздолья, степной природы. Тут поэту дидактическому и лирическому был неисчерпаемый источник для описаний, для порывов. Но Пушкин превозмог самого себя. Он не дозволил себе отступить от связи исторических событий, не проронил лишнего слова, — спокойно распределил в должной соразмерности все части своего рассказа, утвердил свой слог достоинством, спокойствием и лаконизмом истории и передал просто, но гармоническим языком исторический эпизод. В этом произведении нельзя не видеть, как художник мог управлять своим талантом, но нельзя же было и поэту удержать избыток своих личных ощущений, и они вылились в «Капитанской дочке», они придали ей цвет, верность, прелесть, законченность, до которой Пушкин никогда еще не возвышался в цельности своих произведений. «Капитанская дочка» была, так сказать, наградой за пугачевский бунт. Она служит доказательством, что в делах искусства всякое усилие таланта, всякое критическое самообуздывание приносит свое плодотворное последствие и дает дальнейшим попыткам новые силы, новую твердость.

Соллогуб В. А. Опыты критических оценок: Пушкин в его сочинениях. 15 апреля 1865 г. — В кн.: Беседы в Обществе любителей российской словесности при имп. Московском университете. М., 1867, вып. 1, отд. 2, с. 4.

Н. Н. Страхов

«Капитанская дочка», собственно говоря, есть *хроника семейства Гриневых*; это тот рассказ, о котором Пушкин мечтал еще в третьей главе Онегина, — рассказ, изображающий

Преданья русского семейства.

Впоследствии у нас явилось немало подобных рассказов, между которыми высшее место занимает «Семейная хроника» С. Т. Аксакова. Критики заметили сходство этой хроники с произведением Пушкина <...>. Стоит немножко вглядеться в «Войну и мир», чтобы убедиться, что это тоже некоторая *семейная хроника* <...>. Это не роман вообще, не исторический роман, даже не историческая хроника; это *хроника семейная* <...>.

Этот своеобразный род, которого нет в других словесностях и идея которого долго тровожила Пушкина и наконец была осуществлена им, может быть характеризован двумя особенностями, на которые указывает

его название. Во-первых, это *хроника,* т. е. простой, бесхитростный рассказ, без всяких завязок и запутанных приключений, без наружного единства и связи. Эта форма, очевидно, проще, чем роман, — ближе к действительности, к правде: она хочет, чтобы ее принимали за быль, а не за возможность. Во-вторых, это быль *семейная,* т. е. не похождения отдельного лица, на котором должно сосредоточиваться все внимание читателя, а события, так или иначе важные для целого семейства. Для художника как будто одинаково дороги, одинаково герои — все члены семейства, хронику которого он пишет. И центр тяжести произведения всегда в семейных отношениях, а не в чем-нибудь другом. «Капитанская дочка» есть рассказ о том, как Петр Гринев женился на дочери капитана Миронова. Дело вовсе не в любопытных ощущениях, и все приключения жениха и невесты касаются не изменения их чувств, простых и ясных от самого начала, а составляют случайные препятствия, мешавшие простой развязке, — не помехи страсти, а помехи женитьбе. Отсюда — такая естественная простота этого рассказа; романтической нити в нем собственно нет ‹. . .›.[17]

Что же такое «Капитанская дочка»? Всем известно, что это одно из драгоценнейших достояний нашей литературы. По простоте и чистоте своей поэзии это произведение одинаково доступно, одинаково привлекательно для взрослых и детей. На «Капитанской дочке» (так же как на «Семейной хронике» С. Аксакова) русские дети воспитывают свой ум и свое чувство, так как учителя, без всяких посторонних указаний, находят, что нет в нашей литературе книги более понятной и занимательной и вместе с тем столь серьезной по содержанию и высокой по творчеству.[18]

Страхов Н. «Война и мир»: Сочинения графа Л. Н. Толстого. Статья вторая и последняя. — Заря, 1869, № 2, с. 209—212; см. также в кн.: *Страхов Н. Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. 4-е изд. Киев, 1901, с. 222—225.

---

[17] Существенные возражения по поводу якобы отсутствия в «Капитанской дочке» основных жанровых признаков классического романа сделаны были Н. Н. Страхову в кн.: *Черняев Н. И.* «Капитанская дочка» Пушкина. М., 1897, с. 20—21.

[18] Н. Н. Страхов, подчеркивая в статье о «Войне и мире» непреходящую значимость и актуальность «Капитанской дочки», попутно отвечал на демонстративную недооценку Пушкина в критических фельетонах Д. И. Писарева. Так, например, в своей программной статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев в 1865 г. заявлял: «Я очень хорошо знаю, что „Евгений Онегин“ гораздо лучше „Фелицы“ Державина и что „Капитанская дочка“ стоит во всех отношениях выше „Бедной Лизы“ Карамзина. Я нисколько не обвиняю Пушкина в том, что он не был проникнут теми идеями, которые в его время не существовали или не могли быть ему доступны. Я задам себе и решу только один вопрос: следует ли нам читать Пушкина в настоящую минуту или же мы можем поставить его на полку, подобно тому, как мы уже это сделали с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским?» (Рус. слово, 1865, № 3, отд. 2, с. 56; *Писарев Д. И.* Соч. М., 1956, т. 3, с. 295).

Ф. М. Достоевский

И никогда еще ни один русский писатель ни прежде, ни после его не соединялся так задушевно и родственно с народом, как Пушкин. О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших об народе, а между тем, если сравнить с Пушкиным, — ей-богу, до сих даже пор все это лишь «господа», о народе пишущие. У самых лучших из них, самых великих — нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся взаправду с народом, доходящее иногда до какого-то умиления, до какого-то любования русской силой, до любовного слияния с народом ⟨. . .⟩.

В «Капитанской дочке» казаки тащат молоденького офицера на виселицу, надевают уже петлю и говорят: небось, небось — и ведь действительно, может быть, ободряют бедного искренно, его молодость жалеют. И комично и прелестно. Да хоть бы и сам Пугачев с своим зверством, а вместе с беззаветным русским добродушием. С тем же молодым офицером уже наедине смотрит на него с плутоватой улыбкой, подмигивая глазами: думал ли ты, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? И потом, помолчав: ты крепко передо мной виноват ⟨. . .⟩. Да и весь этот рассказ «Капитанская дочка» чудо искусства. Не подпишись под ним Пушкин, и действительно можно подумать, что это в самом деле написал какой-то старинный человек, бывший очевидцем и героем описанных событий, до того рассказ наивен и безыскусствен, так, что в этом чуде искусства как бы исчезло искусство, утратилось, дошло до естества ⟨. . .⟩ вот в этом-то сродстве духа поэта нашего с родною почвою лежит наилучшее и самое обаятельное доказательство правдивости образов его. ⟨. . .⟩

Читая Пушкина, читаем правду о русских людях, полную правду, и вот этой-то полной правды о себе самих, которую он нам так беспристрастно про нас рассказывает, мы почти уже и не слышим теперь или столь редко слышим, что и Пушкину пожалуй бы не поверили, если б не вывел и поставил он перед нами этих русских людей столь осязаемо и бесспорно, что усомниться в них или оспорить их совсем невозможно.

Достоевский Ф. М. Речь о Пушкине. Строки рукописи, исключенные из печатной редакции. 1880. — В кн.: Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1924 (на обл.: 1925), сб. 2, с. 526—529.

В. О. Ключевский

Пушкин был историком там, где не думал быть им и где часто не удается стать им настоящему историку. «Капитанская дочка» была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в «Истории пугачевского бунта», которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. ‹. . .›

Среди образов XVIII в. не мог Пушкин не отметить и *недоросля* и отметил его беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В исторической действительности недоросль — не карикатура и не анекдот, а самое простое и вседневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII в., впрочем более шумная, чем плодотворная. Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII в. Это пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горохина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX в., «времен новейших Митрофане». К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историку XVIII в. остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны.

Ключевский В. О. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину. — Рус. мысль, 1880, № 6, с. 20—27; Соч. М., 1959, т. 7, с. 147, 151—152.

А. И. Незеленов

Между великими созданиями Пушкина повесть «Капитанская дочка» занимает несомненно одно из первых мест. Написанная в 1833 году, она носит на себе явные признаки полного расцвета таланта великого поэта. Она замечательна главным образом в двух отношениях: во-первых, потому, что в ней Пушкин с глубоким сочувствием отнесся к простым русским людям, к нашей старине, к нашей обыденной действительности, сумевши открыть в ней бессмертную нравственную красоту; во-вторых, по своей художественности. Художественность сказалась не только в том об-

стоятельстве, что герои повести как живые возникают перед нашим умственным взором, но еще в большем: ведя рассказ от лица Гринева (повесть имеет форму его записок), Пушкин до такой степени входит сам в нравственное бытие своего героя, влезает, как говорится, в его кожу, что совершенно почти скрывается за личностью добродушного и любящего просвещение, несколько наивного, но обладающего здравым умом помещика конца прошлого века (здесь, может быть, и начало слабой стороны «Капитанской дочки»). Мы видим в повести с осязательной очевидностью взгляды и убеждения Гринева, его сочувствия и антипатии, степень его просвещения, его литературные знания (последнее, например, в эпиграфах к отдельным главам произведения, в различных ссылках). Чрезвычайно замечателен язык, слог повести: к нему как нельзя более применимо известное положение: слог — это человек; в спокойном и вместе живом течении простой, неизысканной речи, в употреблении устарелых «сей» и «оный», в попадающихся порою неправильных оборотах — так и видится Гринев. По всем этим причинам «Капитанская дочка» — верх художественного совершенства; в повести нет ни одного неуместно поставленного слова, и ни одного слова нельзя из нее исключить.

Незеленов А. И. Как и почему пропущена одна глава из повести «Капитанская дочка». — Новое время, 1881, 5 января; см. также в кн.: *Незеленов А. И.* Шесть статей о Пушкине. Спб., 1892, с. 96—97.

И. С. Тургенев

Ce chapitre, supprimé par la censure impériale, a été retrouvé récemment dans les papiers de l'auteur. La célèbre nouvelle historique de Pouchkine dont il fait partie est publiée en français depuis quelques années. Pour ceux qui ne l'ont pas lue dans l'original ou la traduction, il suffit de rappeler que cette nouvelle a pour sujet principal la révolte du cosaque Pougatchef sous la grande Catherine, et que c'est parmi les incidents de cette sanglante aventure, ramenée aujourd'hui par le nihilisme à l'attention publique, que se déroule le récit du personnage inventé par Pouchkine.

Un épisode de guerre civile en Russie. Chapitre inédit de «La fille du capitaine». — La Revue politique et littéraire, 1881, 29 janvier, № 5, p. 131 (напечатано в качестве предисловия к французскому переводу (Тургенева и Виардо) неизвестной ранее «Пропущенной главы» романа «Капитанская дочка»); *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Соч.: В 12-ти т. М., 1982, т. 10, с. 371.

Перевод:

Эта глава, запрещенная царской цензурой, недавно обнаружена в бумагах автора. Знаменитая историческая повесть Пушкина, частью которой является эта глава, была напечатана по-французски несколько лет назад. Тем, кто не читал ее в подлиннике или в переводе, достаточно указать, что главный ее предмет — бунт казака Пугачева при Великой Екатерине и что рассказ вымышленного Пушкиным персонажа развертывается среди событий этого кровавого происшествия, заново привлекшего теперь, благодаря нигилизму, общественное внимание.

А. М. Скабичевский

...перед вами развертывается картина жизни не каких-либо идеальных и эксцентрических личностей, а самых заурядных людей; вы переноситесь в обыденную массовую жизнь восемнадцатого века и видите, как эта жизнь текла день за день со всеми своими мелкими будничными интересами. Этим и отличаются исторические романы Пушкина от всех последующих изображений жизни восемнадцатого века, в которых жизнь, отстоящая от нас не более как на сто или полтораста лет, рисуется перед нами в каком-то мифическом волшебном тумане, причем изображаемым личностям придаются необыкновенно титанические размеры: все это оказываются широкие, размашистые натуры, то поражающие мир своей роскошью и необузданным мотовством и разгулом, то приводящие в ужас демоническим хищничеством, коварством и эксцентричностью своих преступлений вроде замуравливания в стены живых людей или срытия целых усадеб. Я не говорю, чтобы ничего подобного не было в 18-м веке; но отнюдь не из таких баснословных характеров и ужасов слагалась ежедневная, будничная жизнь того времени. Они были лишь выдающимися точками, исключениями из уровня ее. А чтобы понять этот уровень, следует обратиться к Пушкину. Перенесясь за сто лет назад к его «Капитанской дочке», вы отнюдь не попадаете в какой-то сказочный мир, а видите всю ту же самую жизнь, которая, катясь год за год, докатилась и до сего дня. И действительно, ведь эта жизнь все та же самая, а не другая какая, особенно в провинциальной глуши. Одно простое соображение должно внушить вам, что если и в настоящее время провинциальная глушь представляет собой мертвое царство непробудного сна и полного застоя, то сто лет тому назад она должна была быть еще однообразнее, монотоннее и неподвижнее. И действительно, вы видите перед собой в рассказе такое стоячее болото, что даже столь грозная буря, как пугачевский погром, могла покрыть поверхность этого болота лишь едва заметной зыбью. Обитатели Белогорской крепости, жившие в самом очаге бунта, в своей буколической невинности до такой степени не знали, что делается вокруг них, что, когда бунт уже начался и герой сообщил коменданту, что он слышал в Оренбурге, будто на Белогорскую крепость собираются напасть башкиры, комендант отвечал:

— Пустяки! у нас давно ничего не слыхать. Башкиры — народ напуганный, да и киргизы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню.

И нужно было, чтобы Пугачев пришел к крепости и взял ее без малейших усилий, и лишь тогда, когда на площади воздвиглись виселицы, обитатели поняли наконец значение и ужас пугачевского бунта.

Но верх художественного совершенства по строгой, трезвой реальности, историческому беспристрастию и глубине понимания бесспорно представляет собою образ самого Пугачева. Можно смело сказать, что во всей нашей литературе другого такого Пугачева вы не найдете. Изобразить верно и в настоящем свете подобного рода личность тем труднее, чем сильнее действует она на воображение и невольно влечет художника к каким-нибудь преувеличениям. Стоило Пушкину немножко более, чем следует, перепустить густых черных красок, что было так легко сделать сообразно тому ужасу и отвращению, какое возбуждал Пугачев в современниках Пушкина, и вышел бы мелодраматический злодей, ни с чем несообразное нравственное чудовище; стоило бы от живой действительности хоть на один шаг вступить в область эффектных романтических образов, и вышло бы нечто вроде Карла Моора, образ очень красивый сам по себе, но чуждый исторической правде. Пушкин гениально избег и того и другого. Ему и Пугачева удалось свести на почву осязательной и будничной действительности. Правда, является он на сцену романа не без поэтичности: словно какой-то мифический дух грозы и бури, он внезапно вырисовывается перед читателем из мутной мглы бурана, но вырисовывается вовсе не для того, чтобы сразу поразить вас, как нечто выдающееся и необыкновенное. Является он простым беглым казаком, полураздетым бродягою, только что пропившим в кабаке последний свой тулуп <...>.

Таким же является Пугачев и в дальнейшем развитии романа. Это вовсе не злодей и не герой, вовсе не человек, устрашающий и увлекающий толпу обаянием какой-нибудь грозной и бездонной мрачности своей титанической натуры, и тем более отнюдь не фанатик, сознательно стремившийся к раз намеченной цели. До самого конца романа он остается все тем же случайным степным бродягою и добродушным плутом. При иных обстоятельствах из него вышел бы самый заурядный конокрад; но исторические обстоятельства внезапно сделали из него совершенно неожиданно для него самого самозванца, и он слепо влечется силою этих обстоятельств, причем вовсе не он ведет за собою толпу, а толпа влечет его <...>.

Натура его в сущности вовсе не хищная и не кровожадная; он рад бы и прощать; добродушие, не покидающее его до конца романа, заставляет его помнить мелочную дорожную услугу, оказанную ему Гриневым; он готов казнить Швабрина, защищая от его козней сироту; но все эти добрые порывы идут совершенно вразрез с настроением окружающей его толпы, возбуждают в ней протесты, и, отдаваясь им урывками, он поневоле должен напускать на себя грозное величие и беспощадность...

Скабичевский А. М. Наш исторический роман в его прошлом и настоящем. — Сев. вест., 1886, № 1, с. 77—83; Соч. Спб., 1890, т. 2; 2-е изд., 1895; 3-е изд., 1903.

А. П. Чехов

Может быть, я и не прав, но лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают родство сочного русского стиха с изящной прозой.

Письмо А. П. Чехова к Я. П. Полонскому. 18 января 1888 г. — В кн.: *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем. М., 1949, т. 14, с. 18.

П. И. Чайковский

Я, действительно, иногда помышлял и помышляю до сих пор об опере на сюжет «Капитанской дочки».

Письмо П. И. Чайковского к Н. Ф. Мекк. 24 апреля 1888 г. — В кн.: *Чайковский П. И.* Переписка с Н. Ф. фон Мекк. М., 1936, т. 3, с. 529.

«Капитанскую дочку» я не пишу и вряд ли когда-нибудь напишу. По зрелом обдумании я пришел к заключению, что этот сюжет не оперный. Он слишком дробен, требует слишком многих не подлежащих музыкальному воспроизведению разговоров, разъяснений и действий. Кроме того, героиня, Мария Ивановна, недостаточно интересна и характерна, ибо она безупречно добрая и честная девушка и больше ничего, а этого для музыки недостаточно. При распределении сюжета на действия и картины оказалось, что таковых потребуется ужасно много, как бы ни заботиться о краткости. Но самое важное препятствие (для меня, по крайней мере, ибо весьма возможно, что другому оно бы нисколько не мешало) — это Пугачев, пугачевщина, Берда и все эти Хлопуши, Чики и т. п. Чувствую себя бессильным их художественно воспроизвести музыкальными красками. Быть может, задача и выполнима, но она не по мне. Наконец, несмотря на самые благоприятные условия, я не думаю, чтобы оказалось возможным появление на сцене Пугачева. Ведь без него обойтись нельзя, а изображать его приходится таким, каким он у Пушкина, т. е. в сущности удивительно симпатичным злодеем. Думаю, что как бы цензура ни оказалась благосклонной, она затруднится пропустить такое сценическое представление, из коего зритель уходит совершенно очарованный Пугачевым. В повести это возможно — в драме и опере вряд ли, по крайней мере у нас.[19]

Письмо П. И. Чайковского к вел. кн. Константину Константиновичу. 30 мая 1888 г. — Там же, с. 643—644.

---

[19] В архиве драматической цензуры сохранилось значительное число инсценировок «Капитанской дочки», запрещенных III Отделением и Главным управлением по делам печати за время с 1859 по 1905 год. Все запрещения мотивированы

Н. И. Черняев

«Капитанская дочка» — образец художественного повествования. В ней нет ни пробелов, ни плохо или слишком сжато написанных мест. Но в ней также нет ни одного слова, ни одной сцены, ни одной подробности, которые не оправдывались бы строжайшей необходимостью <...>.

Читая «Капитанскую дочку» в первый раз, каждый из нас испытывал захватывающее любопытство. Предугадать ход ее событий по нескольким начальным главам нет никакой возможности: до самого конца вы переходите от неожиданности к неожиданности, и в то же время чувствуете, что все эти столь странные события, описываемые поэтом, сами собой вытекают из его общего замысла и не только не представляют ничего неправдоподобного, а, напротив того, производят впечатление чего-то неизбежного. Таким образом Пушкин блестящим образом достиг цели каждого романиста. Он сумел объединить в одно стройное целое внешнюю занимательность с бытовой и психологической правдой <...>.

«В наше время, — писал Пушкин при разборе «Юрия Милославского» Загоскина, — под словом роман разумеют историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании». А к чему же и сводится «Капитанская дочка», как не к «развитию целой эпохи в вымышленном повествовании», в котором романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшего происшествия исторического? В «Капитанской дочке» отразились и помещичья жизнь, и военный быт, и крепостное право, и русский разбойничий люд, и петербургский двор, и казаки, и инородцы, и иноземные выходцы второй половины прошлого века. Исторических лиц в тесном смысле этого слова, т. е. таких, имена и дела которых сохранились в истории, в «Капитанской дочке» сравнительно немного. К ним принадлежат: Пугачев, Белобородов, Хлопуша, Рейнсдорп, Екатерина II — и только, причем лишь один Пугачев относится к числу главных действующих лиц романа. Но если подразумевать под историческими лицами всех типичных представителей давно минувшей эпохи, не исключая и тех, которые забыты историей как наукой, но которые *делали историю,* то в «Капитанской дочке» не окажется ни одного лица, которое нельзя было бы назвать историческим и которое не являлось бы ярким выразителем духа и особенностей второй половины XVIII века, когда подготовлялась и разыгрывалась пугачевщина. Гриневы, Мироновы, Швабрин, Савельич и т. д. — все это такие исторические и бытовые типы, без отчетливого изображения и понимания которых нельзя живо описать и представить себе пугачевскую смуту, ее происхождение и развязку <...>.

«Капитанская дочка» вечно будет служить укором для тех романистов, которые распространяют и поддерживают «вкус к мелочам», к «изящным безделушкам» и к «суетным украшениям» и забывают, что задачи истин-

---

недопустимостью показа в театральном произведении самого образа Пугачева в пушкинской его трактовке и «сцен восстания крестьян против своих помещиков» (*Абрамкин В. М.* Пушкин в драматической цензуре. — Лит. арх., 1938, т. 1, с. 244—255).

ного художника заключаются в умении сказать в немногих словах многое и сочетать смелость и широту замысла с экономией слова и подробностей и с простотой описаний и повествования. Гоголь метко сказал, что, сравнительно с «Капитанской дочкой», все наши повести и романы кажутся приторною размазней. Приторной размазней кажутся, в сравнении с «Капитанской дочкой», и произведения многих знаменитых западноевропейских романистов. Даже романы Вальтер Скотта (не говорим уже о романах Диккенса, Теккерея, Жорж Занд) поражают своей растянутостью и ненужным многословием, если сопоставить их с «Капитанскою дочкой», и в этом заключается ее всемирно-историческое значение и всемирно-историческое значение Пушкина как ее творца. Он написал единственный в своем роде роман, — единственный по чувству меры, по законченности, по стилю и по изумительному мастерству обрисовывать типы и характеры в миниатюре и вести повествование, не вводя в него ни одного лишнего слова, ни одной лишней черты.

Черняев Н. И. «Капитанская дочка» Пушкина: Историко-критический этюд. М., 1897, с. 71, 76, 78, 79, 188.

Ю. И. Айхенвальд

«Капитанская дочка» заслуживает подробного разбора; но мы не будем его производить и только укажем, вослед едва ли не всем критикам и читателям этой удивительной повести, на проникающий ее дух мудрой простоты и меры, который над головами ее смиренных героев зажигает тихое сияние славы. Иван Кузьмич и его жена и его дочь, Иван Игнатьич и Савельич — они бесспорно являют собою образы самой отрадной и утешительной человечности, какие только знает мировая литература. Героизм вырастает здесь из будней, из того скромного и неэффектного материала, который Пушкин умел претворять в сокровища духовной красоты. Капитан Миронов, родственный не только чином, но и духом штабс-капитану Максиму Максимычу и капитану Тушину, в законченности и цельности своего миросозерцания лучше всех воплощает это скромное величие, этот высший героизм простоты. Не говоря уже о его собственном трагическом конце, на какую высоту возносит он себя, когда при нападении Пугачева на Белогорскую крепость говорит оробевшему гарнизону эти незатейливые, эти великие слова: «Что ж вы, детушки, стоите? Умирать так умирать: дело служивое!».

Вся историческая и бытовая сторона повести — почти совершенство, и затрачено на нее, как и на все другое в «Капитанской дочке», не больше словесных средств, чем это было нужно. Щедрый Пушкин умел быть художнически скупым. У него нет слова для слова, нет самодовлеющих слов. Можно иногда больше сказать, но нельзя сказать меньше, чем говорит он — своею геометрической, но не сухой, своею не красочной, но все-таки выразительной, своею прозрачной прозой.

Айхенвальд Ю. Пушкин. 2-е изд., значит. доп. М., 1916, с. 152—153.

А. И. Куприн

Знаете ли вы, что гранильщики драгоценных камней держат перед собой изумруд? Когда глаза устают, то дают им отдыхать на изумруде. Таким изумрудом для меня были всегда две вещи: «Капитанская дочка» Пушкина и «Казаки» Толстого. Хорош для этого и «Герой нашего времени».

Письмо А. И. Куприна к Ф. Ф. Пульману. 31 августа 1924 г. — Веч. Москва, 1962, 14 июля.

А. М. Горький

Как прозаик, он написал исторический роман «Капитанская дочка», где с проницательностью историка дал живой образ казака Емельяна Пугачева, организатора одного из наиболее грандиозных восстаний русских крестьян.[20]

Горький А. М. Предисловие к американскому однотомному изданию сочинений Пушкина на английском языке. 1925. — Правда, 1938, 17 июня.

М. И. Цветаева

Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии — следовательно, и бунта, — нет. Пушкин Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачева — любил.

Цветаева М. Из статьи «Искусство при свете совести». 1934. — В кн.: *Цветаева М.* Мой Пушкин. М., 1967, с. 229.

В «Капитанской дочке» единственное действующее лицо — Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: ну, что-то будет? И что бы ни было: есть Пугачев — мы есьмы.

Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта — чаре, поэта — врагу, еще дань эпохе: Романтизму. У Гете — Гетц, у Шиллера — Карл Моор, у Пушкина — Пугачев. Да, да, эта самая классическая, кристальная, и как вы ее еще называете, проза — чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только *те* своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим

[20] В воспоминаниях А. М. Горького о Л. Н. Андрееве сохранился парадоксальный отклик последнего на произведения классической литературы, «замусоленные слюною» казенных педагогов. В числе этих произведений неожиданно оказалась и «Капитанская дочка»: «Для меня, — утверждал Л. Н. Андреев, — „Горе от ума“ скучно так же, как задачник Евтушевского, „Капитанская дочка“ надоела, как барышня с Тверского бульвара» (цит. по: *Горький М.* Собр. соч. М., 1931, т. 22, с. 93).

бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времени лишая их последнего правдоподобия, либо (Лермонтов, Байрон) — в недрах лирического хаоса, — либо в себе, либо в нигде, Пушкин же своего героя взял и вне себя и из предшествующего ему поколения (Пугачев по возрасту Пушкину — отец), этим бесконечно себе задачу затрудняя. Но зато: и Карл Моор, и Гетц, и Лара, и Мцыри, и собственно пушкинский Алеко — идеи, в лучшем случае — видения, Пугачев — живой человек. Живой мужик. И этот живой мужик — самый неодолимый из всех романтических героев. Сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцом всех романтических: Дон-Кихотом.

Цветаева М. Пушкин и Пугачев. 1937. — Там же, с. 138—139.

В. Б. Шкловский

Пушкин в «Капитанской дочке» больше творческого внимания уделяет характерам, меньше — событиям. События в повести занимательны потому, что они истинны. Все средства творческого гения подчинены одной задаче — четкой и ясной обрисовке характеров. Поэтому в небольшой повести, в чрезвычайно кратком действии мы совершенно отчетливо видим Пугачева, Савельича, семью Мироновых, семью Гриневых.

В повести оказывается главным не судьба бунтующего дворянина Шванвича, а судьба вождя крестьянской войны Пугачева. Значение Шванвича уменьшается, тем самым создается необходимость удалить из сюжета ряд занимательных, но не относящихся к теме приключений.

Реалистичность образа Пугачева не только в деталях, в его добродушной благодарности Гриневу за подаренный заячий тулупчик, не только в том, что Пугачев почти на равных правах ссорится с Савельичем, обижается на него, а прежде всего в том, что он, будучи простым мужиком, ведет великое восстание, направляет одно из величайших крестьянских движений.

Поэтичность Пугачева не только в его безмерном великодушии, не только в том, что он возмущен бесчестьем и мстительностью Швабрина, не только в том, что он морально чист, но и в том, что он широко и крупно мыслит, жаждет подвига, глубоко понимает свое положение и в основном верно оценивает обстановку ‹...›.

В сцене казни офицеров крепости Пушкин, описывая виселицу, сообщает: «На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне». Слово «изувеченный» для Пушкина важно; эта главная портретная деталь отмечена уже в набросках плана. Избирая этот эпитет в сцене казни, Пушкин гасит чувство недоброжелательства к людям, которые казнят Миронова. Народная расправа с капитаном Мироновым — не злодейство, а историческое возмездие ‹...›.

Образ Пугачева окрашен песней, главы о нем снабжены эпическими эпиграфами, и весь словарь его речи дан в высоком стиле.

Таким образом, способ раскрытия предмета повествования определил и приемы художественного письма. Сообразно с выяснением сущности ге-

роев посредством сюжетных положений строятся и речевые характеристики.

Гринев сам поэт, стихи его хвалит Сумароков; это делает ведение рассказа от его имени менее условным: у Гринева есть свои литературные навыки. Мы ощущаем рассказчика «Капитанской дочки», хотя совсем не ощущаем рассказчика в «Повестях Белкина» <...>.

Благоразумные высказывания, моральные сентенции Гринева, его осуждение Пугачева нельзя считать высказываниями самого Пушкина именно потому, что Гринев осмыслен писателем как своеобразный литератор-дворянин. Такой человек, добрый и в то же время связанный многими традициями, человек, точно характеризованный и тем самым отделенный от автора, присутствует в повести как герой-повествователь. Речь Гринева несколько архаична. Особенно архаичны стихи, нравящиеся Гриневу; они примитивны даже для конца XVIII века.

Первый вариант этих наблюдений: *Шкловский В.* Спор о Пушкине. — Знамя, 1937, № 1, с. 242—263; см. также в кн.: *Шкловский Виктор.* Заметки о прозе русских классиков. 2-е изд., испр. и доп. М., 1955, с. 61—64.

Н. Е. Прянишников

Общеизвестна чеховская формулировка одного из законов, которому должна удовлетворять хорошая беллетристика: «Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или в третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, то не должно и висеть».

На постоялом дворе, где Гринев и Савельич нашли убежище от бурана, в горнице «на стене висела винтовка». В одной из следующих глав повести сотни подобных винтовок были пущены в действие против царских крепостей на Яике, и несомненно, что в числе их была и эта винтовка, ибо владелец ее был «родом яицкий казак» и недаром он, к «большому неудовольствию» Савельича, вел сугубо конспиративный диалог с таинственным вожатым.

При первом своем въезде в Белогорскую крепость Гринев, между прочим, увидел у ворот «старую чугунную пушку», о которой в дальнейшем (три главы спустя) читаем, что комендант крепости велел навести ее на толпу наступающих мятежников и «сам приставил фитиль».

Могут возразить, что и винтовка и пушка упомянуты тут без всякого особого умысла, а просто как типичные описательные детали, потребные для характеристики казацкого жилья и военного форпоста. Но тем и замечательна мудрая экономия пушкинской прозы, что ее описательная ткань насквозь динамична, так что каждый элемент *описания* становится затем необходимым элементом *повествования*. Когда Гринев впервые вошел в дом капитана Миронова, его внимание, между прочим, привлек «диплом офицерский за стеклом и в рамке». Когда после перерыва — не

столь долгого, сколь наполненного бурными событиями, — он вновь появляется в этом доме, хозяином которого был теперь «гнусный» Швабрин, — «на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени». Здесь, при вторичном о нем упоминании, диплом этот действует как некий волнующий символ, заставляющий и Гринева («сердце мое заныло») и читателя живее почувствовать, как много воды утекло за эти 3—4 месяца, что грозно легли между разгаром народного восстания и первоначальной дремотной идиллией.

Вообще нужно сказать, что в «Капитанской дочке» редкая вещь, однажды упомянутая автором, не появляется потом вторично в какой-либо новой функции, что делает эту повесть, с одной стороны, пределом лаконизма, при котором каждая художественная деталь загружается максимально, но вместе с тем и образцом обстоятельности, при которой ничто не пропадает. Так, упоминаемый в I главе «Придворный календарь», имевший свойство производить всегда в отставном премьер-майоре Гриневе «удивительное волнение желчи», так что «матушка всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее», в XIV главе вдруг отыскивается и вновь попадает в руки старику, но уже не оказывает на него «обыкновенного своего действия», — до того, очевидно, ничтожной казалась ему былая досада неудовлетворенного честолюбия в сравнении с теми потрясениями, которые он пережил и переживал.

Иная деталь повести, если и не упоминается повторно самим автором, зато невольно припоминается читателем — в связи с тем косвенным действием, какое она продолжает оказывать в ходе повести. Например, полтина денег, подаренная Гриневым уряднику за доставку лошади и овчинного тулупа от имени Пугачева, несомненно сыграла потом свою роль в той готовности, с какой урядник принял опасное поручение Палашки доставить молодому прапорщику письмо от ее барышни.

Любопытно, что судьбу некоторых вещей автор повести прослеживает по возможности до конца. Письмо, врученное Екатериной дочери капитана для ее «будущего свекра», в эпилоге повести фигурирует как фамильная реликвия в потомстве Гриневых, хранящаяся «за стеклом и в рамке». Вышеупомянутая пушка, так плачевно оборонявшая крепость от Пугачева, оказывается потом в составе пугачевской артиллерии: «Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты».

Не говорим уже о знаменитом заячьем тулупе, который многократно мелькает на протяжении повести и заключает в себе как бы главную пружину ее увлекательной фабулы.

Эта, если можно так выразиться, гениальная «хозяйственность» композиционного мастерства, при которой буквально каждая мелочь идет в дело, в еще большей мере проявляется у Пушкина в его распоряжении людьми. Почти ни один, даже самый второстепенный, персонаж не появляется в повести так, чтобы тут же в ней и исчезнуть. Расставаясь при выезде из Симбирска с Зуриным, Гринев «и не думает с ним уже когда-нибудь увидеться». Однако к концу повести он снова встречается с ним, и именно в этот раз Зурину пришлось сыграть ту свою роль, для которой

собственно он и понадобился автору. Так в хорошо сделанной пьесе все актеры нужны до конца и, независимо от значительности своих ролей, идут разгримировываться одновременно, т. е. по окончании последнего акта.

Даже в том случае, когда данный персонаж уже в первое свое появление, казалось бы, выполнил предназначенную ему роль, он обычно не выпадает из повести, но появляется вновь, чтобы выполнить, как бы в порядке совместительства, другое, не менее важное задание. Так, старый изувеченный башкир, схваченный в крепости (накануне взятия ее Пугачевым) с «возмутительными листами», в следующей главе вдруг оказывается на перекладине виселицы в роли исполнителя смертного приговора над Иваном Кузьмичом и его верным адъютантом.

Давно подмечено, что Пушкин-повествователь очень скуп на слова, но можно сказать, что он столь же скуп и на людей. У каждого его персонажа, даже самого эпизодического, неизменно высокий коэффициент полезного действия. В самом начале повести мелькает на минуту некто князь Б., столичный родственник Гриневых, по милости которого Гринев-сын еще в младенчестве был записан сержантом гвардии. Читатель забывает о нем, но в конце повести именно этот самый князь Б. извещает старика Гринева о печальной судьбе его сына <...>.

Лаконизм пушкинской прозы подмечен давно, но большинство писавших о Пушкине-прозаике ограничивалось восторженной констатацией этого лаконизма, не пытаясь разобраться в его технологической основе. В лучшем случае указывали на сжатость текста, как такового, — и только. В действительности же, как это видно на «Капитанской дочке», существенным условием лаконизма пушкинских повестей является предельная плотность их сюжетной ткани. Что касается манеры изложения, то ее роль при этом, конечно, также огромна, но и тут отнюдь нельзя, как это обычно делается, сводить все к краткости фразы и к простоте пушкинского синтаксиса. Дело в том, что сама по себе короткая фраза еще не спасает повести от рыхлости и не гарантирует читателя от авторского многословия, ибо и короткими фразами можно наговорить много лишнего. Кто из читателей не разделял нетерпения Лизы Муромской (из повести «Барышня-крестьянка»), когда она досадливо перебивает свою крепостную наперсницу, вздумавшую было задерживать информацию об Алексее Берестове описанием именинного меню и перечислением гостей: «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!».

Учитывая это нетерпение читателя, Пушкин-прозаик не томит его излишними описаниями, тормозящими ход повествования, причем иногда делает на этот счет даже специальные оговорки.

Так, в «Гробовщике», например, читаем: «Не стану описывать ни русского кафтана Андриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого романистами» («Гробовщик»).

Точно такого же метода придерживается Пушкин и в «Капитанской дочке». «Не стану описывать, — читаем мы в X главе, — оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам».

И действительно, всякий, кому интересны подробности этой осады, найдет их у того же Пушкина в его «Истории Пугачева», как там же найдет он и подробную предысторию восстания, которой в повести отведен всего лишь один небольшой абзац (начало VI гл.).

Пушкин стремится всемерно избегать перегрузок в повести. Если герой повести рассказывает кому-либо из персонажей то, что уже известно читателю, последний неизменно избавляется от бремени этого повторного изложения. Например: выслушав рассказ попадьи обо всем случившемся в крепости за время своего отсутствия, Гринев в свою очередь рассказывает ей о своих приключениях за тот же период, но так как читателю они уже известны, то повествователь в этом месте ограничивается беглым упоминанием о самом факте рассказывания: «Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю» (XII гл.). Так же поступает он и при описании второй встречи Гринева с Зуриным: «Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием» (XIII гл.). И — все. ‹. . .›

Замечательна экономия средств, с какой дается в «Капитанской дочке» описание наружности каждого вновь вводимого персонажа.

«На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым». Это — Швабрин. Вот капитан Миронов: «Впереди ‹перед инвалидами, выстроенными во фрунт› стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате». А вот героиня повести Маша: «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесаннными за уши, которые у ней так и горели».

Четкость этих зарисовок такова, что в дальнейшем автор уже ни разу больше не возвращается к наружности данных персонажей, кроме разве Швабрина, о котором, в связи с его переходом на сторону Пугачева, дополнительно сообщается (в XII гл.), что «он был одет казаком и отрастил себе бороду». Больше того, иные из этих внешних характеристик при всей их сжатости настолько колоритны, что уже содержат в себе некоторые элементы и внутренней характеристики, развертывающейся затем в речах и поведении данного лица. Таков, например, из только что выписанных, портрет капитана Миронова с упоминанием «колпака» и «китайчатого халата» (при исполнении служебных обязанностей) как эмблемы патриархального добродушия и с подчеркиванием «бодрости» как признака скрытого в нем активного «верноподданничества». Таков же и живописный портрет гусара Зурина: «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах».

Пряншиников Н. Поэтика «Капитанской дочки» Пушкина. — Лит. учеба, 1937, № 1, с. 94—113; см. также в кн.: *Пряншиников Н.* Проза Пушкина и Л. Толстого. Чкалов, 1939, с. 3—6, 8—10, 10—11; *Пряншиников Н. Е.* Записки словесника. Оренбург, 1963, с. 5—26.

В. Б. Александров

«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Выражают ли эти столько раз цитировавшиеся слова основной смысл «Капитанской дочки» или, наоборот, противоречат ему?

На этот вопрос отвечали по-разному. С одной стороны, указывали на то, что в пушкинской повести есть элементы стилизации — ведь это семейные записки дворянина XVIII столетия: «Любезный внук мой Петруша! Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия моей жизни...». Не следует отождествлять мнения Гринева с мнениями Пушкина — в особенности это суждение о «бессмысленном и беспощадном» бунте; это дань Пушкина цензурным условиям.

С другой стороны, утверждали, что именно в этих-то словах и заключается *основное*; что пушкинская повесть — художественная материализация тезиса о «бессмысленности и беспощадности» русского бунта; что именно этим страхом перед крестьянским восстанием объясняется «поправение» Пушкина, будто бы происшедшее в 30-х годах; что, ставя перед собой вопрос — крестьянское восстание или николаевская монархия, Пушкин будто бы безоговорочно становился на сторону этой последней; что этим страхом предопределено то изображение восстания, которое Пушкин дает в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».

Думается, что неправильно было бы делать цензуру ответственной за *все* консервативные высказывания Пушкина. И уж несомненно неверна вторая, злостно-социологическая концепция. Вероятно, правы сторонники третьей точки зрения: цензурные условия, конечно, учитывались Пушкиным; мнения Пушкина, конечно, не во всем совпадают с мнениями Гринева; слова о русском бунте могут выражать мысль самого Пушкина; но эти слова отнюдь не покрывают содержания ни «Капитанской дочки», ни «Истории Пугачева», больше того: эти слова *опровергаются* содержанием этих произведений <...>

Сон — пророческий, как сны в «Онегине» и в «Годунове»; но здесь этот сон имеет особое значение. Это введение, пролог; с исключительной силой здесь выражена борьба тех чувств, которые вызывает у Пушкина его тема. Потом объяснится, почему отец, почему «пусть он тебя благословит». Но тут это личное, интимное соприкосновение, эта близость к образам крестьянского восстания — все это дикое, иррациональное: мужик с черной бородой в отцовской постели, топор, мертвые тела. Пушкин проверяет — благоразумному дворянину сама постановка вопроса показалась бы дикой — можно ли принять это? Нельзя: мертвые тела, страшно. Но страшный мужик ласково кличет: «не бойсь».

Такой ли уж он страшный в конце концов? <...>

Симпатия Пушкина к Пугачеву настолько очевидна и несомненна и настолько противоречит тем чувствам, которые (согласно социологическим трафаретам) дворянин Пушкин должен был бы проявлять к этому своему герою, что «социологи» вынуждены придумывать на сей предмет специальные концепции, насильственно возвращающие Пушкина его «братьям по классу». <...>

Вовсе не случайно то, что Гринев-отец и Дубровский-отец не просто дворяне, а именно дворяне фрондирующие.

Таковы отцы: куда пойдут их сыновья? Пушкин спрашивает: в каком отношении окажется эта «стихия мятежей» к другой стихии мятежей — крестьянской? Пушкина беспокоит не вопрос о том, как бы избежать крестьянской революции; вопрос ставится им по-другому: могут ли сомкнуться эти две стихии, нужно ли им сомкнуться, хорошо ли это будет? Это не забота о предотвращении революции, а попытка найти выход из той ситуации, которая сложилась после разгрома декабристов.

Пушкин отказался от «стародворянской» мотивировки перехода Шванвича — Швабрина к пугачевцам, вероятно, не потому, что опасался цензуры. «Дворянски-фрондерская» мотивировка участия в крестьянском восстании была бы просто неверной, нереалистичной. Фрондирующие дворяне были чрезвычайно далеки от дворянской революционности декабристского типа, а уж от какого-либо сочувствия крестьянским восстаниям и подавно. ‹...›

В Швабрине действительно много «нравственно чудесного». По своему развитию он стоит несравненно выше Гринева. «Его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева» требовал какой-то *идеологической* мотивировки. Такая мотивировка в повести отсутствует,[21] — опять-таки не только по соображениям цензурного порядка. Можно ли было бы представить себе среди пугачевцев дворянина с перенесенной в XVIII век идеологией декабриста? — Нет. Можно ли было бы представить себе в войсках «Петра Федоровича» — Пугачева человека вроде Радищева? — Нет. Сведения о фактически принимавших участие в пугачевском восстании дворянах достаточно скудны, но, конечно, эти люди — подпоручик Шванвич или обвинявшийся в «неуказном винном курении» сержант Аристов — не радищевцы, не «идеологи».

Радищев, декабристы — эти лучшие люди из дворян — «страшно далеки от народа». Такой идеологии, которая могла бы заполнить эту пропасть, не было, ее нужно было создавать; трактовка образов крестьянского восстания в «Капитанской дочке» объективно содействовала выработке этой идеологии; но дать реалистический образ дворянина-идеолога, присоединяющегося к пугачевцам, Пушкин не смог, потому что материалов для создания такого образа не было в самой действительности ‹...›.

Народность и реализм в пушкинском искусстве — не отдельно друг от друга существующие особенности этого искусства. Объективное отражение действительности необходимо предполагает объективное отражение *народа*, с его чаяниями и стремлениями; так эти чаянья и стремления проникают в пушкинское искусство; оно реалистично и поэтому народно. И наоборот: оно народно и поэтому реалистично. Объективность не обозначает какого-то равнодушия, бесстрастия; такое объективное

[21] В писавшейся почти одновременно с пушкинским «Дубровским» повести Лермонтова «Вадим» — юношеском, сугубо романтическом произведении — переход героя-дворянина к пугачевцам мотивирован желанием отомстить за отца ‹...›. К пугачевцам, которые для этого романтического Вадима только орудие его мести, он относится с презрением ‹...›. Вадим называет пугачевцев «подлыми рабами».

отражение становится возможным лишь благодаря личной, эмоциональной связи, лишь благодаря тому, что художник любит эти народные массы.

Интерес Пушкина к образу дворянина-отщепенца, к крестьянским движениям, к дворянам, которые принимали участие в пугачевском восстании, объясняется, повторяем, не так, как говорят об этом сторонники «теории страха». Отчетливо сознавая бессилие дворянских революционеров, Пушкин спрашивает себя: могут ли, должны ли они присоединиться к крестьянскому движению.

Пушкин отвечал на этот вопрос отрицательно. То, чего достиг Пушкин в «Капитанской дочке», так значительно и огромно, что незачем замалчивать это отрицание, замалчивать это противоречивое отношение Пушкина к своей теме. Это противоречие, которое тщетно пытаются «снять» различные интерпретаторы, «снимается» не той или иной более или менее остроумной интерпретацией — оно «снимается» последующим развитием русского общественного движения.

Крестьянское восстание, которое Пушкин изобразил с такой объективностью и любовью, для политического сознания Пушкина было неприемлемым. Не будем требовать от Пушкина того, чтобы он, оставаясь Пушкиным, был кроме того́ еще и Чернышевским: это слишком много для одного человека, даже такого человека, каким был Пушкин.

Александров В. Пугачев: (Народность и реализм Пушкина). — Лит. критик, 1937, № 1, с. 20—22, 29, 33, 36—38, 44.

Е. Н. Купреянова

С самого начала тридцатых годов Пушкина занимал образ героя-дворянина, восстающего и действующего против своей дворянской среды <...>. Якубович, русский Пелам, Дубровский, Шванвич — все эти образы, теснившиеся в воображении Пушкина и сменявшие друг друга на протяжении каких-нибудь двух лет, были вызваны к жизни его размышлениями о судьбах русского дворянства. <...>

После поражения декабрьского восстания политическое бессилие дворянской оппозиции стало ясно для всех. Зато вполне реальную и грозную для самодержавно-крепостнического строя силу крестьянской революции Пушкин увидел в народных волнениях 1830—31 годов.

Противоположность классовых интересов крестьянства и дворянства, в том числе и оппозиционного, была Пушкину также очевидна. Тем самым вопрос о совместных действиях против самодержавия революционного крестьянства и оппозиционного дворянства для Пушкина также отпадал. Речь могла идти для него только об отдельных одиночных выступлениях дворян-отщепенцев на стороне восставшего крестьянства. Подобная ситуация была изображена уже в «Дубровском».

Биография Шванвича давала Пушкину возможность развить ее на подлинном социально-историческом материале <...>.

<...> в процессе работы над романом, в процессе изучения исторических материалов о Пугачеве тема народного восстания заслонила перед Пушкиным тему дворянского недовольства. Образ дворянина-отщепенца отступил на второй план перед образом народного вождя.

В результате образ Шванвича расслоился в окончательной редакции «Капитанской дочки» на двух героев — Гринева и Швабрина <...>.

В лице Гринева Пушкин изобразил верного своему классовому и воинскому долгу, но недалекого дворянина. Являясь по своим нравственным качествам полной противоположностью беспринципному злодею Швабрину, Гринев много уступает ему в умственном отношении. <...>

Пушкин ведет повествование именно от лица недалекого, но благородного Гринева. Это дает Пушкину возможность, оставаясь в рамках цензурных требований, осветить ряд исторических событий и лиц, не изменяя своему собственному мнению о них <...>.

Гринев и история его взаимоотношений с Марией Ивановной нужны были Пушкину главным образом для того, чтобы в рамках этого сюжета, поддерживая занимательность рассказа, правдиво изобразить картину народного восстания. Соответственно с этой задачей первостепенное значение приобрел для Пушкина образ Пугачева. <...>

Пугачев дан в романе только в его взаимоотношениях с Гриневым. И вся история их взаимоотношений обнаруживает в Пугачеве черты прямого благородства и доброты. <...>

И силе этой личной привлекательности не может не поддаться и Гринев, несмотря на всю его непримиримость к действиям Пугачева и его сподвижников. <...>

Пушкин понимал историческую закономерность пугачевского восстания и с точки зрения народных интересов оправдывал его. В лице Пугачева Пушкин видел и изображал не кровожадного злодея, каким принято было его считать с точки зрения официальной, а сильного, одаренного человека, сумевшего возглавить открытое проявление народного возмущения. <...>

Пушкин сочувствовал движению Пугачева в том смысле, что понимал его историческую закономерность и видел в нем движение подлинно народное. Он сочувствовал угнетенному положению закрепощенного крестьянства и восхищался скрытыми в нем народными силами и талантами.

Таким мощным народным талантом был для Пушкина и Пугачев. Но ведь проблема крестьянской революции и восстания Пугачева, как одного из крупнейших ее проявлений, интересовала Пушкина с точки зрения грядущих исторических судеб России. Пушкин ставил перед собою и современниками вопрос: каково может быть влияние постепенно нарастающей силы крестьянской революции на социальное переустройство России? И вот на этот вопрос Пушкину пришлось ответить отрицательно. Как современность (крестьянские волнения начала тридцатых годов), так и историческое прошлое (восстание Пугачева) обнаруживали перед Пушкиным только разрушительную силу революционной крестьянской стихии. И ни история, ни современность не давали Пушкину материала для пред-

видения тех созидательных сил, которые открываются в крестьянской революции при организованном руководстве ее другим революционным классом — пролетариатом. <...>

Теми же <что и Пушкин> словами «бунт бессмысленный и беспощадный» В. И. Ленин характеризовал стихийное крестьянское движение в отличие от подлинно революционной борьбы. Говоря о наличии революционных элементов в крестьянстве, Ленин писал: «Наличность революционных элементов в крестьянстве не подлежит, таким образом, ни малейшему сомнению. Мы нисколько не преувеличиваем силы этих элементов, не забываем политической неразвитости и темноты крестьян, нисколько не стираем разницы между „русским бунтом, бессмысленным и беспощадным“, и революционной борьбой <...>. Но из всего этого следует только то, что безрассудно было бы выставлять *носителем* революционного движения крестьянство, что безумна была бы партия, которая *обусловила бы* революционность своего движения революционным настроением крестьянства».[22]

В какой же мере сильнее это сказывалось по отношению к крестьянскому движению в XVIII веке и в пушкинское время!

Купреянова Е. Н. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина: Материалы для пушкинских чтений и лекций. Л., 1947, с. 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21—22.

Г. А. Гуковский

Социологизм истолкования событий и понимания людей в «Капитанской дочке» не вызывает сомнений и не требует разъяснений, как и демократические симпатии Пушкина в этом романе, где авторским сочувствием или обаянием могучей внутренней правды овеяны только люди «низов» — сам Пугачев, вся семья Мироновых (капитан Миронов, «вышедший в офицеры» из солдатских детей, был человек необразованный и простой, гл. IV), Савельич, даже Хлопуша. При этом люди «низов» освещены светом сочувствия, независимо от того, в каком они лагере — повстанческом или борющемся против него: в обоих случаях они несут в себе начала правды. Наоборот, люди «верхов» осуждены — тоже независимо от того, примкнули они к Пугачеву или сражаются с ним: и Швабрин, гвардейский столичный офицер, и в стихах понимающий, и на дуэли дравшийся, и, по-модному, неверующий, — негодяй; и руководители оренбургской защиты — пошлые ничтожества. Глубоко понимая социальные пружины «пугачевщины» и оправдывая ее даже в ее жестокости — жестокостью режима, против которого восстали пугачевцы, строя сюжет таким образом, что мужицкий царь дал герою право и счастье, которых ему не дали императорские чиновники, Пушкин не пропагандировал

---

[22] *Ленин В. И.* Соч., т. 4, с. 228—229.

крестьянский бунт, считая его, как и во времена создания «Бориса Годунова», бесперспективным, бессмысленным. Но его анализ событий был не только социален, но и демократичен в степени, совершенно недоступной Гизо или Тьерри; а созданные им образы героев в самой сути своей психологии, своей духовной эволюции, своих характеров определены историко-социально, в мере, не доступной ни одному историческому романисту до него, в том числе и Вальтеру Скотту.

Нет необходимости останавливаться и на вопросе о моральной оценке героев «Капитанской дочки»: она обоснована в пушкинском романе оценкой социальных групп и явлений, их сформировавших <...>. Вообще же персональный, так сказать, суд героев устранен в романе, — это находит явственное выражение в том признании равноправия внутренней правды человека, куда бы ни привел его индивидуальный путь, которое определяет равноправие сочувствия к Пугачеву и капитану Миронову. Индивидуально — они в разных лагерях, но в каждом из них говорит некая народная правда; и эта народная правда оценивается Пушкиным высоко, тогда как личные пути каждого из этих людей Пушкин отказывается судить. Так же он никак не судит Гринева, ни в его примитивной верности своей присяге помещичьему режиму, ни в его обращении за спасением к Пугачеву <...>. Следовательно, оценка из плоскости морального суда над личностью перенесена в плоскость общих социальных категорий, обосновывающих общие этические нормы (демократизм, народность, свобода, героизм, верность и т. д.); сами же эти категории и нормы истолкованы и исторически, и социологически. Это и есть те категории и нормы, которые будут строить *общественную* этику всей передовой русской литературы XIX века, и Белинского и Некрасова («разумное, доброе, вечное»).

Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 372—374.

В. В. Виноградов

Основным принципом творчества Пушкина с конца 20-х годов становится принцип соответствия речевого стиля изображаемому миру исторической действительности, изображаемой среде, изображаемому характеру. Белинский ошибочно полагал, что в стиле «Бориса Годунова» этот принцип нашел свое «полное и оконченное» выражение. Метод художественного воспроизведения исторической действительности у Пушкина с начала 30-х годов уже был свободен от малейших признаков или примет не только натуралистической реставрации, но и романтической идеализации. Пушкин создавал иллюзию правдивого изображения времени и национальности соответствием речевой семантики национальным типам и положениям, быту и эпохе. Вместе с тем он не допускал анахронизмов и «погрешностей противу местности». Действительность должна рисоваться в свете ее культурного стиля, в свете ее речевой семантики,

Именно с этой точки зрения Пушкин решительно осуждает стиль исторического романа таких подражателей Вальтера Скотта, которые быт данной эпохи изображают в духе своего времени.

Выдвинутый Пушкиным реалистический принцип исторической характерности и народности не мирится ни с однообразно-декламативными тенденциями повествовательно-исторического стиля Марлинского, ни с традиционно-патриотической патетикой исторических описаний и рассуждений Загоскина, ни с безлично официальным дидактизмом булгаринского стиля, ни с натуралистической экзотикой стиля Вельтмана, ни с романтической напряженностью стиля Лажечникова, лишенной «исторической истины».

У Пушкина как реалиста-историка стиль исторического повествования и изображения близок к простой «летописной» записи основных и наиболее характерных событий или к скупым и лаконическим наброскам мемуаров, хроники, которые являются как бы экстрактом из множества наблюдений, сгущенным отражением широкой картины жизни. В этом отношении показателен интерес Пушкина к безыскусственным запискам, воспоминаниям и тому подобной бытовой словесности, к своеобразным историческим документам ‹...›.

Повествователь у Пушкина — это не только многогранная призма отражения исторической действительности, но и форма ее внутреннего раскрытия и идейного осмысления. Он так же многозначен и противоречив, как она сама. Повествовательная речь впитывает в себя речевые стили персонажей, присущие им приемы выражения и осмысления жизненных событий. Прием «несобственно-прямой» речи расширяет экспрессивно-смысловую перспективу повествования. Возникает внутренняя «драматизация», встреча и смена разных голосов эпохи в речи самого автора. Вместе с тем в ней выражается не только образ рассказчика — современника изображаемых событий, но и личность автора — современника читателей. От этого речь персонажей не унифицируется. Принцип индивидуальной характерности стиля персонажа сохраняет всю свою силу ‹...›.

В стиле «Капитанской дочки» достигает наибольшей глубины индивидуализация речей действующих лиц, конкретизирующая и разнообразно оттеняющая типические свойства разных социально-речевых стилей. Исследователи творчества Пушкина уже указывали на то, что у каждого из персонажей «Капитанской дочки» свой стиль речи, соответствующий духу и образу мыслей эпохи. Кроме того, Пушкиным мастерски используются и своеобразие письменных стилей изображаемого времени, и жаргонно-иносказательных способов выражения, и даже поэтические вкусы, стилевые формы как народно-словесного искусства, так и дворянской художественной литературы сумароковской школы. Эпиграфы своеобразно освещают историческое правдоподобие изложения. Вместе с тем изменяются и углубляются принципы и приемы отбора слов и выражений в соответствии с духом и стилем воспроизводимой эпохи. Индивидуально характеристические приметы стиля отдельных действующих лиц своим повторением обостряют впечатление своеобразия, типичности и историчности их речи.

Например, в речи Савельича, кроме постоянных упоминаний о дитяти («как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет?»), забавен рефрен, относящийся к «проклятому мусье»: «Слава богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало»; «А кто всему виноват? проклятый мусье... И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Для стиля Ивана Кузьмича Миронова характерен зачин: «А (да) слышь ты...»: «*А слышь ты,* Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой: солдатушек учил»; «*Да, слышь ты,* — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не робкого десятка». Ср.: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, *слышь ты!*» [23]

Можно было бы продемонстрировать и другие характеристические признаки индивидуальных стилей таких персонажей, как Василиса Егоровна, Иван Игнатьич, Пугачев,[24] генерал Андрей Карлович и др.

Вместе с тем в диалогах «Капитанской дочки», быть может отчасти в порядке развития и реалистической переработки традиции, шедшей от комедий Фонвизина и даже от интермедий конца XVII и начала XVIII века, осуществляются острохарактеристические противопоставления и сопоставления разных социально-речевых стилей, подчеркивающие их специфику. Например, в разговоре генерала Рейнсдорпа (в речи его «сильно отзывался немецкий выговор») с молодым Гриневым комически истолковывается в противоположном реальному смысле непонятное немцу выражение: «Держать в ежовых рукавицах».

В разговоре между Гриневым, Иваном Игнатьичем и капитаншей Мироновой:

«„А смею спросить, — продолжал он, — зачем *изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?*“ Я отвечал, что такова была воля начальства. „Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки“, — продолжал неутомимый вопрошатель. „Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что *тебя упекли в наше захолустье.* Не ты первый, не ты последний“».

Еще острее социально-речевые различия стилей обнажаются в сопоставлениях и противопоставлениях предметно-однозначных, но экспрессивно-разнородных выражений — в разговоре Швабрина с Василисой Егоровной:

«— Василиса Егоровна *прехрабрая дама,* — заметил важно Швабрин. — Иван Кузьмич может это засвидетельствовать.

---

[23] Здесь и далее курсивы в пушкинских цитатах принадлежат В. В. Виноградову.

[24] Ср., например, дважды употребленное Пугачевым поговорочное выражение: «Казнить так казнить, миловать так миловать»; «Казнить так казнить, жаловать так жаловать».

— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — *баба-то не робкого десятка*».

Не менее тонко и характерно показаны экспрессивные словесные и фразеологические расхождения между социальными стилями речи в разговоре между Иваном Игнатьичем и Гриневым о поединке.

«Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, *прошу быть моим секундантом.* Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытаращa на меня свой единственный глаз. „Вы изволите говорить, — сказал он мне, — *что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете,* чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить“».

Ср. также соотношение имен — *Фридерик* и *Федор Федорович* — в разговоре Гринева с Пугачевым:

«— Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему. — Управился ли бы ты с Фридериком?

— *С Федор Федоровичем?* А как же нет?»

Необходимо признать также, что хронологическая близость пугачевщины к пушкинской эпохе, богатство мемуарно-исторической литературы и устных преданий о пугачевском движении, преемственная связь современных великому поэту социально-речевых стилей с соответствующими стилями второй половины XVIII века — все это способствовало усилению «историзма» в строе диалогической речи «Капитанской дочки» <...>.

Несомненно, что основным средством реалистического преобразования всей стилистической системы исторического романа в творчестве Пушкина были новые принципы структуры «образа автора», «образа повествователя» и новые формы взаимоотношений между стилем повествования и стилями речей действующих лиц. Эти два круга стилистических явлений соотносительны и взаимосвязаны. Повествователь-мемуарист является участником и современником воспроизводимых событий. Он вместе с тем носитель стиля эпохи — и притом литературно-обобщенного. Ведь он пишет свои записки не только для себя, но и для читателя <...>.

Внутренние изменения повествовательно-исторического стиля в «Капитанской дочке» мотивировались и тем, что самое повествование Гринева отражало два разных исторических периода, которые иногда и сопоставлялись. С одной стороны, происшествия, люди, речи и документы времени пугачевского восстания воспроизводились в их «исторической истине», в формах языка и стиля того времени. А с другой стороны, Гринев как мемуарист излагает события 70-х годов XVIII века уже спустя несколько десятилетий, «в кроткое царствование императора Александра». Таким образом, стиль его изложения, пусть и в разной мере, характеризует две эпохи и тем самым до некоторой степени сближается с языком современности. Например: «Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия... *Даже и ныне* случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. *В наше же*

время никто не сомневался в необходимости пытки: ни судьи, ни подсудимые» ‹...›.

За повествователем-мемуаристом стоит «издатель» повести, который, согласно послесловию, «решился, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена». Художественно обобщающая и вместе с тем исторически предопределяющая функция эпиграфов в композиции «Капитанской дочки» известна; она была предметом многочисленных исследований. Но внутренняя, структурная роль «издателя-редактора», конечно, не ограничивается лишь подбором эпиграфов и сменой имен. Она мотивирует вместе с тем оригинальность и выразительность новых форм повествования и изображения, как бы непосредственно выхваченных из исторически достоверных «семейных записок», но доведенных до высоты современного издателю литературного искусства.

Так, необыкновенно интересен для характеристики новых реалистических принципов изображения персонажей такой эпизод. После пирушки освобожденный от виселицы Гринев остается «глаз на глаз» с Пугачевым. «Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. *Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему».*

Таким образом, в повествовательном стиле «Капитанской дочки» происходит сложное взаимодействие образа мемуариста Гринева и автора-художника. И в той мере, в какой образ повествователя входил в круг действующих лиц романа, его стиль воплощал специфические черты образа мыслей и языка изображаемой эпохи. Следовательно, в стиле исторического романа Пушкин создает совершенно новые формы отношений между речью автора и речью действующих лиц, а также новые принципы построения повествовательно-исторического стиля. В творчестве Пушкина стиль исторического воспроизведения постепенно образует ядро начавшей формироваться со второй половины 20-х годов системы пушкинского художественного реализма.

Виноградов В. В. Из истории стилей русского исторического романа. — Вопр. лит., 1958, № 12, с. 127, 129, 132—134, 135, 137; см. также в кн.: *Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М., 1959, с. 582—600.

Б. В. Томашевский

Этот народный русский образ — подлинный крестьянский вождь крестьянской революции ‹...› в романе противопоставлен бледной фигуре русско-немецкого генерала. Не следует забывать, что по первоначальному замыслу Пушкина сам герой, а не антагонист его Швабрин переходил на

сторону Пугачева. По-видимому, версия эта сохранялась до самой последней редакции. Можно думать, что цитированные слова Гринева: «В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему» — являются рудиментом этой первой редакции, мотивировкой перехода Гринева на сторону Пугачева. Переход этот совершался под моральным обаянием Пугачева. ‹...›

Дело, конечно, не только в индивидуальном образе предводителя восстания, а в постановке самой темы восстания.

Самую тему революции Пушкин прямо назвал в романе, найдя для нее легальную формулу, данную им от имени Гринева: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Возможно, что формула эта была искренней: в 30-х годах Пушкин был далек от проповеди «насильственных потрясений», т. е. революции. Но важно, что эта тема революции стояла перед Пушкиным как историческая тема, более того — как историческая проблема, определяющая будущие судьбы России. ‹...›

Тема крестьянского восстания не оставляет Пушкина и тогда, когда он обращается к сюжетам западноевропейским. Почти одновременно с работой над «Капитанской дочкой», в августе 1835 г., Пушкин пишет «Сцены из рыцарских времен», в которых опять-таки в основу положены эпизоды крестьянского восстания, происходящего в Германии в XIV в. И здесь симпатии Пушкина ничем не затушеваны. О них свидетельствуют тупые фигуры рыцарей, с одной стороны, и противопоставленные им фигуры талантливых мечтателей — поэта Франца, предводителя восставших крестьян, и алхимика Бертольда Шварца, изобретателя пороха. Этот порох и кладет конец господству рыцарей. План пьесы заканчивается знаменательной фразой: «Изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии».

Замечательно, что сочувствие крестьянской революции не вытекало непосредственно из системы политического мышления Пушкина, который был либеральным последователем Монтескье, Вольтера, Бенжамена Констана и Сталь и сам неоднократно высказывался за умеренную конституцию английского типа. Но с его программными взглядами боролись глубокое историческое чутье и инстинкт художника, проникавшие в истинный смысл «судьбы народа».

Пушкин как художник, глубоко понимавший народную жизнь, знал, что подлинные источники жизни, силы и талантов находились не среди правящих кругов и механических исполнителей воли самодержавно-политического государства, а в самом народе, еще порабощенном, но готовом рано или поздно свергнуть своих поработителей.

И после Пушкина тема крестьянской революции, независимо от политических симпатий или антипатий авторов, так или иначе присутствует в произведениях русских писателей и окрашивает в совершенно своеобразный цвет русскую литературу в отличие от литератур западных. Это была тема, завещанная Пушкиным всему XIX веку. ‹...›

В заметках, начиная с 1830 г., Пушкин постоянно останавливается на вопросе об идеологической подготовке революции. В болдинских заметках 1830 г. много внимания уделено одной фразе, напечатанной

в «Литературной газете»: «Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия приуготовили крики: Аристократов к фонарю».

Как уже справедливо отмечалось, размышления Пушкина о судьбах западного феодализма тесно связаны с разрешением вопросов о будущей революции в России. Единственным революционным классом в России Пушкин считал крестьянство. Однако для полной победы крестьянской революции необходимо было идеологическое руководство революционным движением. Основными условиями, закреплявшими победу, Пушкин считал сохранение национальной культуры и государственного единства страны. Между тем в крестьянстве Пушкин не видел тех созидательных сил, которые обеспечили бы в случае победы крестьянского восстания развитие русской государственности и сохранение русской культуры <...>.

Носителей культуры Пушкин видел в той части дворянства, которая была оттеснена от власти новым дворянством, вышедшим из наемников самодержавия. В «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830 г.) Пушкин характеризует наличие в дворянстве двух групп: «новое дворянство, получившее свое начало при Петре I и императорах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую и могущественную аристократию», и «старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов». Но, конечно, не от дворян Пушкин ждал руководства крестьянским движением.

Для Пушкина казалось ясным, что, несмотря на оппозиционное настроение мелкого дворянства, не ему принадлежит будущее. Правда, в двух своих романах он пытался изобразить дворянина-изгоя, покидающего ряды своего класса, чтобы связать свою судьбу с крестьянством, но не в таких одиночках-дворянах Пушкин видел силу, определяющую исторические пути будущего. В примечаниях к «Истории Пугачева» Пушкин констатировал: «Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны». <...>

В существовавшей тогда обстановке Пушкин не находил той культурной силы, которая могла бы явиться союзником и возглавить крестьянское восстание. А без этого возглавления крестьянское восстание могло бы вылиться только в стихийное, разрушительное движение. Отсюда родилась формула: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Формула эта, хотя и произнесенная от имени Гринева, выражает собственное отношение Пушкина к стихийному крестьянскому восстанию, основанное и на изучении крестьянских движений прошлого (Разин, привлекавший внимание Пушкина с 1826 г., и Пугачев), и на собственных впечатлениях от непрекращавшихся крестьянских волнений, особенно ярко выразившихся в бунтах 1830 и 1831 гг. Перекладывать ответственность за эти слова с Пушкина на Гринева вряд ли имеется необходимость, тем более что автор в конце концов отвечает и за слова своих героев. Эта сентенция первоначально находилась в главе, где опи-

сывался бунт в имении Гринева. Глава эта была исключена из романа при окончательной обработке, но Пушкин сохранил рукопись этой главы, надписав на ней: «Пропущенная глава». Последние абзацы этой главы вместе с данной фразой вошли с некоторыми изменениями в главу XIII окончательной редакции. Пушкин сохранил эту фразу, но отбросил дальнейшее рассуждение, которое действительно более характеризует Гринева, чем автора романа: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка». Оставленная в тексте романа сентенция отнюдь не вызывалась необходимостью изложения событий. Что же касается до взглядов Гринева, как героя романа, на Пугачева и крестьянское движение, то Пушкин отлично охарактеризовал их в других более четких словах и в самом ходе действия. Если он сохранил эту фразу, то потому, что она отвечала собственной системе взглядов Пушкина на крестьянскую революцию. За этой фразой не кроются ни презрение к русскому крепостному крестьянству, ни неверие в силы народа, ни какие бы то ни было охранительные мысли. Эта фраза лишь выражает, что Пушкин не верил в окончательную победу крестьянской революции в тех условиях, в которых он жил.

Мысли Пушкина о стихийности крестьянской революции не находятся в противоречии с теми положительными красками, какими он пользуется для обрисовки вождя крестьянского движения — Пугачева (что дается опять-таки через восприятие того же Гринева). ‹. . .›

Недоверие к созидательной силе крестьянского восстания не значило для Пушкина отрицания революционного движения вообще. С другой стороны, это не исключало исторического интереса к крестьянскому движению как к наиболее революционной силе в русской действительности того времени. Отсюда и интерес к Пугачеву, выразившийся в выборе темы для романа и исторического труда. Отсюда же и интерес к Радищеву, которому в эти годы Пушкин посвящает две большие статьи и пытается напечатать их. Все это связано с размышлениями о судьбах народа и страны.

Томашевский Б. В. Пушкин и народность; Историзм Пушкина. — В кн.: *Томашевский Б. В.* Пушкин: Материалы к монографии. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 148—150, 187—190.

Ю. М. Лотман

Вся художественная ткань «Капитанской дочки» отчетливо распадается на два идейно-стилистических пласта, подчиненных изображению миров — дворянского и крестьянского. Было бы недопустимым упрощением, препятствующим проникновению в подлинный замысел Пушкина, считать, что дворянский мир изображается в повести только сатирически, а крестьянский — только сочувственно, равно как и утверждать,

что все поэтическое в дворянском лагере принадлежит, по мнению Пушкина, не специфически дворянскому, а общенациональному началу.[25]

Каждый из двух изображаемых Пушкиным миров имеет свой бытовой уклад, овеянный своеобразной, лишь ему присущей поэзией, свой склад мысли, свои эстетические идеалы. <. . .>

Пушкин раскрывает сложные противоречия, возникающие между политическими и этическими коллизиями в судьбах его героев. Справедливое с точки зрения законов дворянского государства оказывается бесчеловечным. Но было бы недопустимым упрощением отрицать, что этика крестьянского восстания XVIII в. раскрылась Пушкину не только в своей исторической оправданности, но и в чертах, для поэта решительно неприемлемых. Сложность мысли Пушкина раскрывается через особую структуру, которая заставляет героев, выходя за мир свойственных им классовых представлений, расширять свои нравственные горизонты. Композиция романа построена исключительно симметрично. Сначала Маша оказывается в беде — суровые законы крестьянской революции губят ее семью и угрожают ее счастью. Гринев отправляется к крестьянскому царю и спасает свою невесту. Затем Гринев оказывается в беде, причина которой, на сей раз, кроется в законах дворянской государственности. Маша отправляется к дворянской царице и спасает жизнь своего жениха. <. . .>

В основе авторской позиции лежит стремление к политике, возводящей человечность в государственный принцип, не заменяющей человеческие отношения политическими, а превращающей политику в человечность. Но Пушкин — человек трезвого политического мышления. Утопическая мечта об обществе социальной гармонии им выражается не прямо, а через отрицание любых политически реальных систем, которые могла предложить ему историческая действительность — феодально-самодержавных и буржуазно-демократических («слова, слова, слова...»). Поэтому стремление Пушкина положительно оценить те минуты, когда люди политики, вопреки своим убеждениям и «законным интересам», возвышаются до простых человеческих душевных движений, — совсем не дань «либеральной ограниченности», а любопытнейшая веха в истории русского социального утопизма — закономерный этап на пути к широчайшему течению русской мысли XIX в., включающему и утопических социалистов и крестьянских утопистов-уравнителей, весь тот поток духовных исканий, который, по словам В. И. Ленина, «выстрадал», подготовил русский марксизм.

---

[25] В этом смысле характерно часто встречающееся стремление исследователей перенести «простого» Миронова из дворянского лагеря в народный. Позиция Пушкина в «Капитанской дочке» значительно более социальна, чем, например, Толстого в «Войне и мире», где Ростовы, действительно, вместе с народом противопоставлены миру Курагиных. Не случайно Пушкин не ввел в повествование фигуры троекуровского типа — вельможи XVIII в. — антагониста Гриневых и Мироновых. Швабрин — фигура совсем иного типа: он отщепенец, противопоставленный всему дворянству в целом. Попытки увидеть в Екатерине II фигуру, противоположную Мироновым, как мы постараемся показать, лишены оснований.

В связи со всем сказанным приходится решительно отказаться, как от упрощения, от распространенного представления о том, что образ Екатерины II дан в повести как отрицательный и сознательно сниженный. <...>

Русское общество конца XVIII века, как и современное поэту, не удовлетворяет его. Ни одна из наличных социально-политических сил не представляется ему в достаточной степени человечной. В этом смысле любопытно соотнесение Гринева и Швабрина. Нельзя согласиться ни с тем, что образ Гринева принижен и оглуплен вроде, например, Белкина в «Истории села Горохина», ни с тем, что он лишь по цензурным причинам заменяет центрального героя типа Дубровского—Шванвича.

Гринев — не рупор идей Пушкина. Он русский дворянин, человек XVIII века с печатью своей эпохи на челе. Но в нем есть нечто, что привлекает к нему симпатии автора и читателей: он не укладывается в рамки дворянской этики своего времени, для этого он слишком человечен. Ни в одном из современных ему лагерей он не растворяется полностью. В нем черты более высокой, более гуманной человеческой организации, выходящей за пределы его времени. Отсвет пушкинской мечты о подлинно человеческих общественных отношениях падает и на Гринева. В этом — глубокое отличие Гринева от Швабрина, который без остатка умещается в игре социальных сил своего времени. Гринев у пугачевцев на подозрении как дворянин и заступник за дочь их врага, у правительства — как друг Пугачева. Он не «пришелся» ни к одному лагерю — Швабрин к обоим: дворянин со всеми дворянскими предрассудками (дуэль), с чисто сословным презрением к достоинству другого человека, он становится слугой Пугачева. Швабрин хуже, чем рядовой дворянин Зурин, который, воспитанный в кругу сословных представлений, не чувствует их бесчеловечности, но служит тому, в справедливость чего верит.

Для Пушкина в «Капитанской дочке» правильный путь состоит не в том, чтобы из одного лагеря современности перейти в другой, а в том, чтобы приподняться над «жестоким веком», сохранив в себе гуманность, человеческое достоинство и уважение к живой жизни других людей. В этом для него состоит подлинный путь к народу.

Лотман Ю. Идейная структура «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 5—6, 12, 16, 19—20.

Н. Н. Петрунина

Пугачев не только выводит Гринева к умету, не только сохраняет ему жизнь и становится его посаженым отцом. Он — «вожатый» Гринева на пути к самому себе. Постепенно фигура его вырастает. Бродяга, заложивший тулуп у целовальника, приобретает черты лица исторического, а в самозванце Гринев подсознательно ощущает присутствие гроз-

ной и поэтической народной стихии. По ходу действия Пугачев поворачивается к герою разными гранями, и каждая рождает новый оттенок в отношении Гринева к его «странному» приятелю и благодетелю. Фигура Пугачева не только обретает бытовую и историческую объемность, но и перерастает по масштабу фигуру главного героя.

Не только Гринев и Пугачев, но и Гринев и Савельич становятся у Пушкина соизмеримыми в их внесословной, человеческой сущности. Соотнесение разных героев, судеб, разных планов повествования делается в «Капитанской дочке» одним из наиболее общих композиционных и содержательных принципов. Не заданной наперед ролью, а динамикой развертывающихся характеров, системой исторических и нравственно-психологических параллелей и контрастов между ними определяется у Пушкина облик каждого персонажа. <. . .>

<. . .> герой — не пассивный хранитель традиции. Сложный исторический момент, формируя Гринева, вносит новые черты и в его понимание семейного и гражданского долга. «Чему учится дворянство?» — спрашивал Пушкин. И отвечал: «Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить — или задушить» (12, 205). Гринев развивает и закаляет их в момент исторического потрясения, соприкоснувшись с великодушием и удалью своего «посаженого отца».

В «Капитанской дочке» пугачевщина — прежде всего момент общественного потрясения, разрушившего устоявшиеся формы жизненных отношений. В такой момент спадают привычные маски, каждая из основных сил русской истории обнаруживает свое истинное лицо, предел своих исторических и нравственных возможностей. Состояние борьбы поминутно рождает непредвиденные ситуации, поднимая одних из ее участников на неизвестную прежде высоту, роняя с пьедесталов других. Резче выступают «проклятые вопросы» русского исторического развития; самые простые человеческие отношения — любовь, дружба, простое, случайно родившееся расположение — превращаются для каждого в испытание общественного и нравственного достоинства. Отсюда необычайная многозначность и емкость даже мельчайших «клеточек» сюжетной ткани романа. <. . .>

Человеческий контакт, случайно установившийся между молодым барином и бродягой-дорожным, оказывается в романе началом цепи «странных» событий, сквозь которые просматриваются наиболее важные, стержневые вопросы русской жизни, бывшие таковыми и в эпоху пугачевщины, и в 1830-х годах. Через сказку и песню Пугачев приобщен к вековечным чаяниям народа, основам его миросозерцания. Но этого мало — в «Капитанской дочке» Пугачев обретает голос, способность суждения о самом себе и своем деле. В народное красноречие Пугачева наряду с песенно-сказочными образами вплетаются аргументы от русской истории («А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» — 8, 332). Здесь начинается область «неписаной» истории, где художественный вымысел подходит к исторической истине ближе, чем документы и свидетельства. <. . .>

Можно сказать, что «Капитанская дочка» — звено <. . .> образующее центральную часть своеобразного триптиха. В «Истории Пугачева» Пушкин остается историком в полном смысле слова: вопросы современности ощущаются лишь в глубинном подтексте исследования. «Путешествие из Москвы в Петербург», напротив, повернуто к настоящему. Состояние России во времена Радищева — здесь та шкала, которая позволяет измерить пройденный путь и осознать насущные задачи дня. В «Капитанской дочке» история и современность связаны в единый нерасторжимый узел. Семейное предание Гриневых — это лишь страница русского прошлого, но страница, включенная в перспективу непрерывного исторического движения. Динамика событий переплетается здесь с динамикой личных и общественных судеб. Народная Россия и мыслящее дворянство, их настоящее и будущее, вся противоположность их интересов, не исключающая возможностей взаимопонимания, — вот неполный перечень вопросов, затронутых в истории «странных отношений» Гринева и его «вожатого».

Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки». — В кн.: *Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М.* Над страницами Пушкина. Л., 1974, с. 116, 120—123.

М. Б. Храпченко

На всем протяжении литературной деятельности Пушкина глубоко волновали темы протеста, бунта против социального порядка. Поэт остро воспринимал произвол, несправедливость, господствовавшие в обществе его времени. Он ясно видел и то накопление энергии сопротивления, гнева, которое происходило внутри социального организма. Общественный протест нашел свое яркое выражение в лирике Пушкина, но он стал также содержанием и его крупных произведений, в том числе «Медного всадника» и «Капитанской дочки».

Раскрытие конфликта в «Медном всаднике» носит во многом обобщенный характер. Фигуры Евгения и самодержавного властелина освещены прежде всего в социально-философском плане; их сопоставление затрагивает важнейшие аспекты человеческого, общественного бытия — это противоречие между счастьем отдельного человека, его семьи и исторической, государственной необходимостью.

Вместе с тем драма Евгения — маленького человека большого города — обрисована и в ее реальной, повседневной конкретности. Герой «Медного всадника» — «живет в Коломне, где-то служит, Дичится знатных и не тужит Ни о почиющей родне, Ни о забытой старине». Евгений не жаждет многого. Его желания, мечты очень скромны, они не выходят за пределы незатейливого домашнего довольства и семейного согласия, счастья:

Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой

И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу...

Но и этим скромным мечтам не суждено сбыться. Крушение надежд Евгения определено хотя и неожиданными, но вполне конкретными событиями, за которыми, однако, вырисовываются более сложные явления и обстоятельства. Они персонифицируются в образе Медного всадника. Образ этот выступает в поэме как олицетворение самодержавной власти и одновременно как символ деяний, преобразующих дикую природу, символ человеческой культуры. Евгений поднимает бунт против «державца полумира». Но его протест скорее выражает скорбь, чем сопротивление; в нем больше отчаяния, чем убежденности и стремления внутренне противостоять мощному властелину судьбы.

Динамическое соединение конкретно-изобразительного и характерологического начал с обобщенно-символическим отражением действительности обусловило сложность и глубину содержания пушкинской поэмы, которая в ее историческом существовании раскрывается своими различными сторонами, гранями.

Совершенно по-иному изображены социальный конфликт, герои в «Капитанской дочке». Образ Пугачева несоизмерим с образом Евгения, и несоизмерим не только по силе выражения протеста, бунта, но и по той внутренней широте, оригинальности, мощи, которые отличают духовный облик донского казака и мало свойственны бедному петербургскому чиновнику. Пушкинский Пугачев — характер особенного склада. Он предстает в повести как своеобразное воплощение народного ума, удали, народной стихии. В этом смысле образ Пугачева значительно объемнее, шире «обычных» характеров, в том числе и тех, которые нарисованы в «Капитанской дочке».

В то время как в «Медном всаднике» выразительно очерчены обстоятельства, оказывающие неотразимое влияние на жизнь, характер основного героя, его судьбу, в «Капитанской дочке» все, что касается предыстории Пугачева, формирования его душевного облика, остается за пределами повествования. Вряд ли это можно объяснить лишь стремлением писателя не входить в резкие столкновения с цензурой. Сам образ Пугачева так, как он нарисован в повести, несет в себе и свою предысторию. Описание конкретных событий, сцен, деталей, относящихся к прошлому героя, в данном случае, вероятно, лишь мельчило бы крупный, сильный характер.

И это тем более интересно, что другие герои «Капитанской дочки», и прежде всего Гринев, изображены в социально-бытовом окружении, которое проясняет их отношение к жизни, их поведение. Тут преобладают выразительные детали устоявшегося жизненного уклада, а рядом с ним событийные неожиданности. В обрисовке же Пугачева очень важную роль играют диалог, самораскрытие героя, выявление им самим своих стремлений и чувств.

Пугачев изображен не только вне конкретных обстоятельств, предопределивших его жизненный путь, но и как человек, которому разруше-

ние этих трудных, «стеснительных» обстоятельств представляется единственной формой его существования. В этом смысле облик Пугачева замечательно раскрывается в главе «Мятежная слобода». Калмыцкая сказка о вороне, который питается мертвечиной и живет триста лет, и об орле, живущем на свете всего тридцать три года и питающемся свежим мясом, кровью, — сказка, переданная Пугачевым, помимо своего ближайшего значения — о разных способах жизни — заключает в себе и более широкий смысл — поэтизацию мятежной свободы, отрицание всякой мертвечины.

В рассказе о Пугачеве, его суровой непреклонности существенное место занимает история с заячьим тулупчиком. Тема эта неоднократно появляется на протяжении повествования. Ее развитие освещает глубокий отклик, который вызывает у Пугачева доброе отношение к изгою, человеку из низов общества. Отзывчивость на добро раскрывает одно из коренных качеств пушкинского героя, которое, по мысли писателя, вместе с другими свойствами Пугачева, является выражением его подлинной незаурядности, высокого душевного склада.

Как ни характеризовать восприятие Пушкиным крестьянской революции, несомненно, что образ Пугачева — одно из лучших его художественных обобщений. Писатель был увлечен этой исторической фигурой, увлечен той поразительной энергией, духовной сосредоточенностью, которые были присущи его герою.

Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, человек. М., 1976, с. 81—83.



ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«Капитанская дочка» впервые опубликована в журнале Пушкина «Современник» (1836, № 4, с. 42—215), без подписи автора. Других прижизненных публикаций этого романа не было, а известная в одном экземпляре механическая перепечатка «Капитанской дочки» в несостоявшемся издании «Романы и повести Александра Пушкина» (Спб., 1837, ч. 1) не представляет никакого интереса в текстологическом отношении.

Беловой автограф «Капитанской дочки», без главы VII — «Приступ», сохранялся в бумагах Пушкина и ныне находится в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Из текстов, предшествовавших окончательному, до нас дошла «Пропущенная глава» (см. выше, с. 90—98) и набросок «Заключения» (см. раздел «Из вариантов рукописей», с. 89). Начальные планы романа, черновое введение к нему и несколько строк неоконченного предисловия см. в разделе «Дополнения».

В течение долгого времени одни издатели Пушкина печатали журнальный текст романа, другие широко дополняли и исправляли этот текст на основании сохранившегося белового автографа. Произвольно комбинированный текст дан был в 1948 г. и в большом академическом издании Пушкина (т. 8, кн. 1), лежащем в основании всех позднейших перепечаток «Капитанской дочки».

В настоящем издании «Капитанская дочка» печатается по тексту журнальной редакции. Исправлены нами лишь явные опечатки, а по рукописи дополнено несколько слов, отсутствие которых в «Современнике» бесспорно объясняется цензурными опасениями.

В главе I восстановлен на этом основании эпитет «гарнизонная» при слове «скука» (с. 9, строка 38); в главе X — фраза «Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека» (с. 54—55, строки 46—1); в главе XIII — текст: «Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти» (с. 74, строки 8—10). По автографу же восстановлено в главе XIV (с. 80, строка 2) пушкинское словоупотребление «кофей» вместо «кофе» в тексте «Современника».

Наиболее значимые варианты рукописи см. выше, с. 87—89. Полностью все они отмечены в академическом издании полного собрания сочинений Пушкина (М.; Л., 1940, т. 8, кн. 2, с. 858—918).

Об источниках текста, по которым печатаются материалы, составляющие раздел «Дополнения», см. ниже, с. 293—296.

При воспроизведении вариантов и пушкинских текстов, входящих в раздел «Дополнения», дается, как правило, последний слой авторской правки. Ссылки на тексты Пушкина (включая и текст «Капитанской дочки») приводятся по изданию: Пушкин, Полн. собр. соч. М.; Л., 1937—1949, т. 1—16, т. 17 — М.; Л., 1959 (первая цифра обозначает том, вторая — страницу). Слова и строки, зачеркнутые Пушкиным, печатаются в прямых скобках, конъектуры, дополнения и уточнения редактора — в угловых. Примечания в необходимых случаях дополнены с учетом вышедшей со времени первого издания настоящей книги критической литературы.

Специальная литература о «Капитанской дочке» не очень велика. Ее достижения за весь досоветский период пушкиноведения обобщены в работах: *Черняев Н. И.* «Капитанская дочка» Пушкина: Историко-литературный этюд. М., 1897; *Гофман М. Л.* «Капитанская дочка». — В кн.: Пушкин / Под ред. С. А. Венгерова. Спб., 1910, т. 4, с. 353—378. Вопросы, связанные с историей создания «Капитанской дочки», на основании изучения ее текста и исторических первоисточников были пересмотрены в исследованиях Ю. Г. Оксмана, опубликованных в 1934—1958 гг. Их результаты частично вошли в комментарий к «Капитанской дочке» в издании: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.: Academia, 1936, т. 4, с. 746—761 (перепечатано в девятитомном варианте этого же издания: М.: Academia, 1938, т. 7, с. 872—904). Из позднейших работ, посвященных «Капитанской дочке», наиболее значительны: *Александров В.* Пугачев: Народность и реализм Пушкина. — Лит. критик, 1937, № 1, с. 17—45; *Пряништиков Н. Е.* К столетию «Капитанской дочки». — Лит. учеба, 1937, № 1, с. 94—113; *Македонов А.* Гуманизм Пушкина. — Лит. критик, 1937, № 1, с. 91—100; *Якубович Д. П.* «Капитанская дочка» и романы Вальтера Скотта. — Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, т. 4—5, с. 165—197; *Петров С. М.* Исторический роман Пушкина. М., 1953; *Brang P.* Puškin und Krjukov: Zur Entstehungsgeschichte der «Kapitanskaja dočka». Berlin, 1957; *Оксман Ю. Г.* Пушкин в работе над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». — В кн.: *Оксман Ю. Г.* От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника»: Исследования и материалы. Саратов, 1959, с. 5—133; *Нейман Б. В.* Работа Пушкина над текстом «Капитанской дочки». — Филологические науки, 1961, № 4, с. 146—155; *Измайлов Н. В.* «Капитанская дочка». — В кн.: История русского романа. М.; Л., 1962, т. 1, с. 180—202; *Лотман Ю. М.* Идейная структура «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 3—20. Очень ценны страницы, посвященные «Капитанской дочке», в книгах: *Шкловский В. Б.* Заметки о прозе Пушкина. М., 1937; *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957; *Томашевский Б. В.* Пушкин: Материалы к монографии. М.; Л., 1961, кн. 2; *Степанов Н. Л.* Проза Пушкина. М., 1962; см. также: *Орлов А. С.* Народные песни в «Капитанской дочке» Пушкина. — Художественный фольклор. М., 1928, вып. 2, с. 80—95; *Якубович М. П.* Об эпиграфах к «Капитанской дочке». — Учен. зап. / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, 1949, т. 76, с. 111—134.

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ РОМАНА

С. 5. Эпиграф к роману представляет собою сокращенный текст пословицы «Береги платье снову, а честь смолоду». См.: Собрание 4291 древних российских пословиц. 3-е изд. М., 1787, с. 6, а также: Полное собрание русских пословиц и поговорок, расположенное по азбучному порядку. Спб., 1822, с. 4. Обе эти книги сохранились в библиотеке Пушкина. Полностью эта же пословица повторена в тексте главы I «Капитанской дочки» (см. выше, с. 9—10).

С. 7. Эпиграф к главе I взят из комедии Я. Б. Княжнина «Хвастун» (1786), д. III, явл. 6. Этот диалог Верхолета и Честона пользовался широкой известностью и в 1830 г. был перепечатан в кн.: *Греч Н. И.* Учебная книга русской словесности. 2-е изд. Спб., 1830, ч. 4, с. 67—68.

С. 7. Отец мой ∾ при графе Минихе ∾ в 17... году. — Миних Бурхард Христофор (1683—1767) — полководец и политический деятель, сосланный в 1741 г. императрицей Елизаветой Петровной в Сибирь, откуда был возвращен Петром III. Во время дворцового переворота 1762 г. оставался верен свергнутому царю. Из печатного текста романа изъята была точная дата отставки А. П. Гринева, сохранившаяся в рукописи, так как, с одной стороны, она подчеркивала принадлежность старого Гринева к лагерю оппозиции, а с другой — была не согласована с возрастом героя романа, которому в 1773 г. должно было быть не менее 17 лет. По позднейшим черновым хронологическим выкладкам самого Пушкина Петр Андреевич родился в 1755 г.

С. 7. ...pour être outchitel... — Слово «учитель» дано во французской транскрипции, комически характеризующей фразеологию Бопре.

С. 8. Придворный календарь. — Впервые вышел в 1735 г. С 1745 г. регулярно выходил как ежегодное издание, в котором печатались списки придворных служащих и лиц, награжденных орденами.

С. 9. Шаматон — мот, гуляка, пустой человек (см: Путеводитель по Пушкину. М., 1931, с. 377; ср.: Словарь языка Пушкина. М., 1961, т. 4, с. 964). Более употребительно произношение и начертание «шематон». Известно использование этого слова в виршах кн. Путятина «Песня малороссийская, князю Потемкину, сочиненная в 1791 г., по возвращении его из армии в Петербург»: «Он министр и шематон, Богослов он и Невтон» (Україна, 1925, № 3, с. 111). В 1835 г. слово «шематон» появляется в повести М. Н. Загоскина «Три жениха. Провинциальные очерки» (Библиотека для чтения, 1835, т. 10, отд. 1, с. 85). После публикации «Капитанской дочки» слово это входит в широкий литературный оборот. См. рукописную редакцию комедии Тургенева «Завтрак у предводителя» (1849) (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Соч.: В 15-ти т. М.; Л., 1962, т. 3, с. 294), повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон» (1859), очерк В. А. Слепцова «Владимирка и Клязьма» (1861), письмо А. П. Чехова к Лейкину от 21 июня 1888 г., рассказ М. Горького «Однажды осенью» (1895). Некоторые интересные соображения о происхождении слова «шематон» см. в статье: *Воробьев В. П.* Слово «шаматон» в повести Пушкина «Капитанская дочка». — Учен. зап. / Сарат. гос. пед. ин-т, 1958, вып. 34, с. 224—230.

С. 9. Где его пашпорт? — В рукописи романа вместо этих слов значилось: «Где его абшид?» (8, кн. 2, 858). Поправка сделана после получения Пушкиным письма П. А. Вяземского, присутствовавшего 1 ноября 1836 г. на чтении «Капитанской дочки»: «„Абшит“ говорится только об указе отставки, а у тебя, кажется, взят он в другом смысле» (16, 183).

С. 9. ...к Андрею Карловичу Р. ∾ *Ты едешь в Оренбург...* — В действительности оренбургским губернатором с 1768 г. был Иван Андреевич Рейнсдорп (умер в 1781 г.). При написании «Истории Пугачева», где Рейнсдорп неоднократно упоминается, Пушкин тщательно изучил все материалы о его деятельности. В бумагах Пушкина (9, кн. 2, 777) сохранилась выписка из биографии Рейнсдорпа, опубликованной в изд.: Словарь достопамятных людей русской земли, составленный Дмитрием Бантыш-Каменским. М., 1836, ч. 4, с. 275—277. Некоторые черты его характера Пушкин перенес на персонаж своего романа. Андрей Карлович (в черновой рукописи: «Андрей Иванович», «Иван Карлович») — не реальное историческое лицо, но типичный образ губернатора того времени.

С. 9. ...на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся... — Эти строки очень близки одной из формулировок известной «Духовной» В. Н. Татищева: «Родитель мой в 1704 году, отпуская меня с братом в службу, сие нам накрепко наставлял, чтобы мы ни от какого положенного на нас дела не отрицались и ни на что сами не назывались» (см.: Духовная тайного советника и Астраханского губернатора Василия Никитича Татищева, сочиненная в 1733 году сыну его Евграфу Васильевичу. Печатана в Санктпетербурге 1777 года, с. 27). Об этой «Духовной» упоминается в очерке «В. Н. Татищев» (1836), сохранившемся в бумагах Пушкина (12, 345).

С. 11. ...и денег, и белья, и дел моих рачитель... — Цитата из «Послания к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке» Д. И. Фонвизина (ст. 4). Впервые опубликовано в журнале «Пустомеля» (1770, июль, с. 93—103). Об образе Савельича см. выше замечания В. Ф. Одоевского (с. 238) и В. Г. Белинского (с. 241), а также статью А. И. Белецкого «К истории создания „Капитанской дочки“» (Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Л., 1930, вып. 38—39, с. 191—197).

С. 13. Эпиграф к главе II взят из кн.: Новое и полное собрание российских песен, изданное Н. Новиковым. М., 1780, ч. 3, № 68 (песня «Породила меня матушка»). В этом издании первые два стиха использованной Пушкиным рекрутской песни звучат несколько иначе: «Сторона ль ты моя, сторонушка, Сторона ль моя незнакомая». В рукописи главы II этому эпиграфу предшествовал другой, затем зачеркнутый: «Где ж Вожатый? Едем!», взятый из стихотворения В. А. Жуковского «Желание» (1811).

С. 13. Я приближался к месту моего назначения. — Рукописный вариант этих строк пейзажно более конкретен и явно связан с впечатлениями Пушкина во время поездки его осенью 1833 г. в Оренбург: «Я ехал по степям заволжским... Я видел одни бедные мордовские и чувашские деревушки».

С. 13. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. — Эти строки текстуально связаны с очерком С. Т. Аксакова «Буран», опубликованным, без имени автора, в альманахе «Денница на 1834 год»: «Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских саней, проселочной дорожке, или лучше сказать — следу, будто недавно проложенному по необозримым снежным пустыням». Самые же подробности бурана, описанного далее, основаны на точных данных как очерка С. Т. Аксакова, так и материалов о буранах в «Топографии Оренбургской» П. И. Рычкова (Спб., 1762). Дата цензурного разрешения «Денницы» — 24 октября 1833 г.; время покупки альманаха Пушкиным — 18 мая 1834 г.

С. 15. Мне приснился сон... — «Вещий сон» Гринева очень близок по своей символике и сюжетной функции сну Татьяны в романе «Евгений Онегин» (глава 5, строфы XI—XII) и сну Григория Отрепьева в трагедии «Борис Годунов» (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»). Связь сна Гринева с последующей явью детально прослежена в кн.: *Благой Д. Д.* Мастерство Пушкина. М., 1955, с. 254—255. О некоторых реминисценциях из сна Гринева в повести Л. Н. Толстого «Метель»

(1855). см.: *Шкловский В.* Заметки о прозе русских классиков. 2-е изд. М., 1955, с. 83—84.

С. 16. ...дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. — Восстание в Яицком городке вспыхнуло 12 января 1772 г., а подавлено было в том же году летом (см. «Летопись» П. И. Рычкова, приложенную Пушкиным к «Истории пугачевского бунта», — 9, кн. 1, 207—208). В самом тексте «Истории» события эти ошибочно отнесены были, однако, к 1771 г. (там же, 10—11). Характеризуя репрессии, которые обрушились на участников восстания, но «уже не могли смирить ожесточенных», Пушкин отмечал «ненадежность» установившегося на время внешнего «спокойствия»: «„То ли еще будет! — говорили прощенные мятежники. — Там ли мы тряхнем Москвою“. Казаки все еще были разделены на две стороны: согласную и несогласную (или, как весьма точно переводила слова сии Военная коллегия, на послушную и непослушную). Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался» (9, кн. 1, 12). См. об этом же выше (глава VI), с. 34.

*С. 18 ... в*** полк...* — В рукописи Пушкина точно обозначен полк, в который получил назначение Гринев: «Шемшинский драгунский». Части этого полка действительно входили в ту пору в гарнизоны приуральских крепостей.

С. 19. Первый эпиграф к главе III является записью солдатской песни, до сих пор в печати неизвестной, второй — цитатой по памяти, а оттого и неточной, из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781): «Старинные люди, мой отец! Не нынешний был век. Нас ничему не учили» (реплика Простаковой, д. III, явл. 5).

С. 19. Белогорская крепость... — Крепость эта, в которой развертываются основные события романа, в действительности не существовала и в рукописях Пушкина названия не имела. В конкретно-бытовых зарисовках ее обобщены впечатления Пушкина от крепостей Оренбургской линии во время поездки его осенью 1833 г. в районы восстания, а также материалы, отмеченные в «Истории Пугачева» (глава вторая).

С. 19. ...Кистрина и Очакова... — Кистрин (Кюстрин) — прусская крепость, была осаждена русскими войсками в 1758 г. Взятие войсками фельдмаршала Миниха турецкой крепости Очаков относится к 1737 г.

С. 20. Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. — Реплика капитанши в 1847 г. получила очень высокую оценку в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя, в разделе «Сельский суд и расправа». Именно на эти страницы гневно откликнулся Белинский в своем знаменитом письме к Гоголю от 15 июля 1847 г.: «А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пушкина и по разуму которого должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым» (Лит. наследство. М., 1950, т. 56, с. 575).

С. 23. Эпиграф к главе IV взят из комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки», д. IV, явл. 12 (см.: Российский Феатр. Спб., 1794, ч. 41, с. 112).

С. 23. Сумароков Александр Петрович (1718—1777) — поэт, драматург и литературный теоретик, противник Ломоносова и Тредиаковского.

С. 23—24. Считалось, что стихотворение, приписанное Гриневу, взято Пушкиным из «Нового и полного собрания российских песен», изданного Н. Новиковым (М., 1780, ч. 1, с. 41); при этом текст первоисточника сокращен: изъяты вторая и третья строфы, а в оставшихся сделаны два незначительных исправления стилистического порядка (см.: *Пушкин А. С.* Капитанская дочка / Изд. подгот. Ю. Г. Оксман. М., 1964, с. 251. (Лит. памятники)). В настоящее время установлено, что Пушкин пользовался не «Новым и полным собранием российских песен», а первым изданием «Собрания разных песен» М. Д. Чулкова (Спб., 1770), находившимся в его библиотеке. В «Новом и полном собрании», включавшем все четыре части чулковского сборника, текст песенки Гринева дан в искаженном виде. Оказалось

возможным установить подлинный характер переработки Пушкиным чулковского романса. Сопоставим последнюю его строфу с песенкой Гринева. В сборнике М. Д. Чулкова читаем:

Ты ж, узнав мои напасти
И узнав, что я пленен тобой,
Зря меня в жестокой части,
Сжалься, сжалься надо мной.
Не жалея вспламенила,
Ты во мне, драгая, кровь,
Против воли заразила
И меня, моя любовь.

А вот как выглядит заключительная строфа пушкинского текста:

Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

Как видим, переработка коснулась и композиции, и лексики песенки, но при этом стиль оригинала сохранен. См. об этом: *Карпов А. А.* Об источнике стихотворения Гринева. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1979. Л., 1982, с. 140—142.

С. 24. Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703—1769) — поэт, переводчик и теоретик литературы, противник Сумарокова и его школы.

С. 24. Сатисфакция — удовлетворение оскорбленной чести, термин дуэльного кодекса.

С. 26. Капитанская дочь, Не ходи гулять в полночь. — Песня эта взята Пушкиным из сборника Ивана Прача «Собрание народных русских песен» (Спб., 1790, Песни плясовые, с. 85, № 10). В рукописи «Капитанской дочки» цитата имела продолжение: «Заря утрення взошла, Ко мне Машенька пришла». Во всех других сборниках песня печаталась с измененным зачином: «Ты, отеческая дочь, не ходи гулять в полночь».

С. 27. Поединки формально запрещены в воинском артикуле. — Так назывался первый в России свод законов против военных преступлений, выработанный при Петре I, изданный в 1715 г., включенный в виде второй части в Устав воинский, который был издан в 1716 г. Действовал в России до 1839 г., когда появился новый военно-уголовный устав.

С. 29. Первый эпиграф к главе V представляет собою концовку песни «Ах ты, Волга, Волга-матушка» (см.: *Прач Иван.* Собрание народных русских песен, с. 29; а также: Новое и полное собрание российских песен, изданное Н. Новиковым, ч. 1, № 176). Второй эпиграф взят из песни «Вещевало мое сердце, вещевало» (см.: Новое и полное собрание российских песен, изданное Н. Новиковым, ч. 1, № 135).

С. 34. Эпиграф к главе VI взят из зачина песни о взятии Иваном Грозным Казани (см.: Новое и полное собрание российских песен, изданное Н. Новиковым, ч. 1, № 125).

С. 34. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. — О событиях в Яицком городке в 1772 г. см. выше, с. 285.

С. 37. ...прочел нам воззвание Пугачева... — Характеризуя воззвание Пугачева, прочитанное капитаном Мироновым, Пушкин по цензурным соображениям не имел возможности его процитировать даже частично. Но реплика Василисы Егоровны давала довольно точное представление о его содержании: «Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена!». Слова капитанши непосредственно связаны с документом, копия которого сохранилась в бумагах Пушкина. Это обра-

щение Пугачева в Оренбургскую губернскую канцелярию, предлагавшее «всем господам и всякого звания людям»: «Выдите вы из града вон, вынесите знамена и оружие, приклоните знамена и оружие пред вашим государем» (9, кн. 2, 686). В особых «Замечаниях», представленных Пушкиным царю в дополнение к печатному тексту «Истории Пугачева», он писал 26 января 1835 г.: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к Яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления или публикации Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (9, кн. 1, 371). Эта же оценка прокламаций Пугачева определила их характеристику в «Капитанской дочке».

С. 38. ...узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — О восстании в Башкирии, жестоко подавленном в 1741 г., Пушкин упоминает в «Истории Пугачева» (9, кн. 1, 45). С нескрываемым негодованием Пушкин сказал об этом и в своих «Замечаниях», представленных им царю 26 января 1835 г.: «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений! „Остальных человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши“. Многие из сих прощеных должны были быть живы во время пугачевского бунта» (9, кн. 1, 373).

С. 38. Нижне-Озерная взята сегодня утром. — Взятие крепости Нижне-Озерной и гибель ее защитников во главе с комендантом, майором Харловым, описаны в главе второй «Истории Пугачева» (9, кн. 1, 18). В рукописи «Капитанской дочки» сохранились строки о Харлове и его молодой жене, изъятые самим Пушкиным из печатного текста (см. выше, с. 87).

С. 39. Сикурс — помощь (франц. secours), слово, бытовавшее в русской военной терминологии XVIII в.

С. 41. Эпиграф к главе VII взят из песни о казни стрелецкого атамана: «Голова ль ты моя, головушка, Голова моя послуживая» (см.: Новое и полное собрание российских песен, изданное Н. Новиковым. М., 1780, ч. 2, № 130).

С. 42. Сайдак — лук, налучник и колчан со стрелами.

С. 42. Изменники кричали: «Не стреляйте, выходите вон к государю. Государь здесь!» — Эти строки взяты были из рассказа о взятии крепости Ильинской в главе четвертой «Истории Пугачева»: «Мятежники приближились и, разъезжая около нее, кричали часовым: „Не стреляйте и выходите вон: здесь государь“. По них выстрелили из пушки» (9, кн. 1, 35).

С. 43—45. Сцена представления Пугачеву защитников Белогорской крепости и их казни очень близка документальным данным в главе четвертой «Истории Пугачева» о расправе с офицерами, взятыми в плен после падения крепости Ильинской, и свидетельствам «очевидца» в главе второй о взятии Сакмарского городка. В этой же сцене Пушкин широко использовал рассказы казачки Бунтовой («старухи в Берде», как называл ее поэт). Эти рассказы дошли до нас в краткой записи самого Пушкина (9, кн. 2, 496—497) и в более подробной передаче «одной москвички», гостившей в Оренбурге и посетившей Бунтову через два месяца после Пушкина. В своем письмо от 26 ноября 1833 г. она сообщала со слов казачки: «Бывало он ‹Пугачев› сидит, на колени положит платок, на платок руку; по сторонам сидят его енаралы: один держит серебряный топор, того и гляди, что срубит, другой — серебряный меч; супротив виселица, а около мы на коленах присягаем; присягаем да поочередно, перекрестившись, руку у него поцелуем, а меж тем на виселицу-то беспрестанно вздергивают» (*Майков Л.* Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки. Спб., 1899, с. 427—428).

С. 46. В рукописи зачеркнут второй эпиграф к этой главе: «И пришли к нам злодеи в обедни — и у сборной избы выкатили три бочки вина и пили — а нам ничего не дали (показания старосты Ивана Парамонова в марте 1774 года)» (8, кн. 2, 879).

С. 48. ...все приемы такие важные... — В рукописи вместо этих слов значится: «...все поступки такие важные...» (8, кн. 2, 881). Изменение внесено в текст по совету П. А. Вяземского (16, 183).

С. 48—49. В сцене пира Пушкин широко использовал показания о Пугачеве и его сообщниках, учтенные в главе третьей «Истории Пугачева»: «Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца <...> Он ничего не предпринимал без их согласия; они часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом: но наедине обходились с ним как с товарищем и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни» (9, кн. 1, 27).

С. 48. Сосед мой, молодой казак... — Федор Федотович Чумаков, начальник артиллерии Пугачева, которого он называл графом Орловым. Оказался в числе тех казаков, которые выдали Пугачева властям в сентябре 1774 г. В царском манифесте от 19 декабря 1774 г. было сказано о предателях Пугачева (в том числе и о Чумакове), что они раскаялись в содеянном «и, узнав о обещанном манифестами ея императорского величества прощении тем, кто явится с чистым покаянием, условились между собою Емельку Пугачева связать и привести в Яицкий городок» (9, кн. 1, 179). За предательство Чумаков был прощен и освобожден от наказания.

С. 48 ...к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем... — Пушкин имел, вероятно, в виду одного из ближайших сподвижников самозванца, Ивана Никифоровича Зарубина (по прозвищу «Чика», он же «граф Чернышев»). Как отмечалось в главе третьей «Истории Пугачева», «в числе главных мятежников отличался Зарубин (он же «Чика»), с самого начала бунта сподвижник и пестун Пугачева. Он именовался фельдмаршалом и был первый по самозванце» (9, кн. 1, 29). Нет никаких оснований полагать, что в отмеченных выше строках речь шла о Хлопуше (Афанасий Тимофеевич Соколов), характеристика которого дается далее, в главе XI, и никак не согласуется с тем, что говорится в главе VIII о Зарубине. Назвав последнего «Тимофеичем», Пушкин допустил явную ошибку.

С. 48—49. Песня «Не шуми, мати зеленая дубровушка» заимствована Пушкиным из «Нового и полного собрания российских песен», изданного Н. Новиковым (ч. 1, № 131). Эту же песню Пушкин использовал в главе XIX неоконченного романа «Дубровский».

С. 49. Обещаешься ли служить мне с усердием? — Эта строка в рукописи имела другую редакцию: «Ступай ко мне в службу, и я пожалую тебя в князья Потемкины. Обещаешься ли служить с усердием мне, своему государю?» (8, кн. 2, 882). Реплика Пугачева была изменена Пушкиным после письма к нему П. А. Вяземского в первых числах ноября 1836 г.: «Кто-то заметил, кажется Долгорукий, что *Потемкин* не был в пугачевщину еще первым лицом и, следовательно, нельзя было Пугачеву сказать: „Сделаю тебя фельдмаршалом, сделаю Потемкиным“» (16, 183).

С. 51. Эпиграф к главе IX взят из стихотворения М. М. Хераскова «Разлука».

С. 51. ...и он стал их метать пригоршнями. — Строки о том, как Пугачев метал пригоршнями в толпу медные деньги, взяты Пушкиным из записанных им в Берде рассказов казачки Бунтовой: «Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги» (9, кн. 2, 496).

С. 52. ...реестр барскому добру, раскраденному злодеями... — О документальном первоисточнике «реестра» см. выше, с. 190—194.

С. 54. Эпиграф к главе X взят из песни XI эпопеи М. М. Хераскова «Россиада», прославляющей взятие Иваном Грозным Казани. В первоисточнике начальные два стиха читались иначе: «Меж тем Российский царь, заняв луга и горы, С вершины, как орел, бросал ко граду взоры».

С. 54. Я застал у него... — В рассказе о заседании совета Пушкин довольно точно следует «Летописи» Рычкова, который описывал совет, происходивший 7 октября 1773 г.

С. 56. Не стану описывать оренбургскую осаду ∾ называли осторожностию и благоразумием! — Свод документальных и мемуарных данных об осаде Оренбурга см. в главах третьей и четвертой «Истории Пугачева» (9, кн. 1, с. 22—26, 36—38, 46—49).

С. 57. Лизавета Харлова — дочь коменданта крепости Татищевой Елагина и жена коменданта Нижне-Озерной майора Харлова. Захваченная в плен при взятии Татищевой, стала наложницей Пугачева. В «Истории Пугачева» Пушкин писал: «Пугачев был поражен ее красотою и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее семилетнего ее брата». Но «Пугачев не был самовластен», его сподвижники «управляли действиями» Пугачева. «Молодая Харлова имела несчастие привязать к себе самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. ‹...› Она встревожила подозрения ревнивых» сотоварищей, и «Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны» (9, кн. 1, 19, 27—28).

С. 58. Schelm (нем.) — плут, негодяй.

С. 59. Стихи, приписанные в эпиграфе к главе XI А. П. Сумарокову, в произведениях последнего не обнаружены. Как свидетельствует исчерканный черновой автограф этих стихов (см.: 8, кн. 2, 888), они явно сочинены самим Пушкиным, искусно подделавшим язык и стиль басни Сумарокова (впервые это указано М. А. Цявловским в кн.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935, с. 221). Такую же имитацию стихов якобы Княжнина см. далее, в эпиграфе к главе XIII. «В придуманном Пушкиным эпиграфе, — замечает В. Б. Шкловский, — Пугачев сближен со львом. В „калмыцкой сказке“, рассказанной самим Пугачевым, он сравнивает себя с орлом. Львы и орлы — символы царственной силы» (*Шкловский В.* Заметки о прозе русских классиков, с. 76).

С. 61. Белобородов Иван Наумович (год рождения неизвестен — казнен в Москве в 1774 г.). Сподвижник Пугачева, сын заводского крестьянина, работал на медеплавильном заводе, с 1759 г. служил в Выборгском артиллерийском гарнизоне, потом на Охтинском пороховом заводе. В 1766 г. вышел в отставку. В январе 1774 г. примкнул к пугачевцам, организовал отряд из горнозаводских рабочих. Впервые Белобородов встретился с Пугачевым в мае 1774 г. и стал его ближайшим помощником. Пугачев назначил его «главным атаманом и походным полковником». Изображение Белобородова в Бердской слободе противоречит историческим фактам, но отвечает замыслу Пушкина — подробно рассказать о вождях восстания.

С. 61. ...Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей)... — один из главных помощников Пугачева. В 1773 г. находился в Оренбургской тюрьме; посланный губернатором к Пугачеву с увещевательным письмом, немедленно перешел на сторону Пугачева; произведен им в полковники. В «Истории Пугачева» Пушкин сообщает, что после поражения под Татищевой Хлопуша прискакал в Каргале «с намерением спасти жену и сына. Татары связали его и послали уведомить о том губернатора. Славный каторжник был привезен в Оренбург, где наконец отсекли ему голову в июне 1774 года» (9, кн. 1, 44).

С. 64. ...о сражении под Юзеевой? — Под Юзеевой пугачевцы 8 ноября 1773 г. нанесли поражение войску Кара.

С. 64. Улица моя тесна; воли мне мало. — Сентенция Пугачева перенесена в эту сцену из главы третьей «Истории Пугачева». См. выше, с. 115—116.

С. 65—66. Фольклорный первоисточник «калмыцкой сказки» об орле и вороне, рассказанной Пугачевым, до сих пор не установлен.

С. 67. Эпиграф к главе XII представляет собой переделку свадебной песни, записанной Пушкиным:

Много, много у сыра́ дуба́
Много ветвей и по́ветвей.
Только нету у сыра́ дуба́
Золотые вершиночки:
Много, много у княгини-души
Много роду, много племени,
Только нету у княгини-души
Нету ее родной матушки:
Благословить есть кому,
Снарядить некому.

(см.: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты, с. 429).

В рукописи «Капитанской дочки» два последних стиха эпиграфа звучат иначе, чем в печатном тексте: «Некому ее снарядити, Некому благословити» (8, кн. 2, 895). Используя народную песню в качестве эпиграфа, Пушкин заботился не о точности ее передачи, а о приспособлении фольклорного первоисточника к тематике главы XII.

Замена «дуба» яблонькой в одной из свадебных песен, записанных для П. В. Киреевского в Тульской губернии, отмечена А. С. Орловым в статье «Народные песни в „Капитанской дочке“ Пушкина» (см.: Художественный фольклор. М., 1928, вып. 2, с. 86).

С. 67. ...в белой горячке.. — Белой горячкой в старину называли признаки сумасшествия (бред без жара).

С. 71. Первоисточник эпиграфа к главе XIII в сочинениях Я. Б. Княжнина не обнаружен. В автографе Пушкина эпиграф имеет явные следы восстановления его текста по памяти, с вариантами отдельных слов и строк (8, кн. 2, 898). Лишь последние два его стиха отдаленно напоминают реплику Простодума в комедии Княжнина «Хвастун»: «Так должен был мое он кончить дело прежде, Ты можешь потерпеть и быть дотоль в надежде» (д. IV, явл. 6). Возможно, что Пушкин приписал Княжнину и свою собственную имитацию его комедийного стиля, подобно тому, как он поступил в главе XI, приписав Сумарокову выдуманный им самим эпиграф. См. выше, с. 289.

С. 73. ...Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева... — Сражение это произошло 22 марта 1774 г. См. главу пятую «Истории Пугачева» (9, кн. 1, с. 47—48).

С. 74. ...о взятии Казани... — Пугачев взял Казань 12 июля 1774 г. См. главу седьмую «Истории Пугачева» (9, кн. 1, с. 64—67).

С. 74. ...Правление было повсюду прекращено ∾ состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... — Строки эти представляют собою пересказ, частью дословный, нескольких обобщений главы восьмой «Истории Пугачева»: «Состояние сего обширного края было ужасно. Дворянство обречено было погибели. Во всех селениях, на воротах барских дворов, висели помещики или их управители. Мятежники и отряды, их преследующие, отымали у крестьян лошадей, запасы и последнее имущество. Правление было повсюду пресечено. Народ не знал, кому повиноваться» (9, кн. 1, 74). В печатном тексте «Капитанской дочки» передача этого материала была сокращена, видимо, по цензурным соображениям.

С. 74. Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! — Сентенция Гринева, освобожденная от тех дополнительных строк, которые углубляли ее в первой редакции, т. е. в тексте «Пропущенной главы» (см. с. 98), в новом своем звучании лишена была того агрессивно-реакционного смысла, который в течение свыше ста лет вкладывали в нее, несмотря на всю полярность своих общественно-политических взглядов, пушкиноведы консервативно-дворянского и буржуазно-народнического лагеря.

Разумеется, Гринев нигде и никогда не являлся рупором общественно-политических взглядов Пушкина, но вложенное в уста этого персонажа признание жестокостей и бесперспективности крестьянских восстаний было близко не только автору «Капитанской дочки», но и Радищеву, и декабристам, и даже Белинскому. Больше того, в 1847 г., подытоживая в работе «Коммунисты и Карл Гейнцен» (статья первая) шестисотлетний опыт крестьянских революций, Ф. Энгельс безоговорочно утверждал, что «в своих самостоятельных демократических движениях сельское население (Уот Тайлер, Джек Кэд, Жакерия, Крестьянская война), во-первых, всякий раз держалось реакционно, а во-вторых, всякий раз подавлялось» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 4, с. 272). Не отрицая наличия «революционных элементов в крестьянстве», В. И. Ленин в 1899 г., т. е. шестьдесят с лишним лет после выхода в свет «Капитанской дочки», предостерегал в «Проекте программы нашей партии» против «преувеличения силы этих элементов»: «Мы нисколько не преувеличиваем силы этих элементов, не забываем политической неразвитости и темноты крестьян, нисколько не стираем разницы между „русским бунтом, бессмысленным и беспощадным“, и революционной борьбой, нисколько не забываем того, какая масса средств у правительства политически надувать и развра-

щать крестьян. Но из всего этого следует только то, что безрассудно было бы выставлять *носителем* революционного движения крестьянство, что безумна была бы партия, которая *обусловила бы* революционность своего движения революционным настроением крестьянства» (*Ленин В. И.* Соч., т. 4, с. 228—229).

Эти формулировки, родившиеся в процессе ожесточенной борьбы с народническими концепциями крестьянской революции, получают дальнейшее развитие в работе В. И. Ленина «Пятидесятилетие падения крепостного права»: «В России в 1861 году народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными „бунтами“, и их легко подавляли. Отмена крепостного права была проведена не восставшим народом, а правительством, которое после поражения в Крымской войне увидело полную невозможность сохранения крепостных порядков» (*Ленин В. И.* Соч., т. 20, с. 140).

О формулировке «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», см. также соображения Н. Л. Бродского в кн.: А. С. Пушкин: Биография. М., 1937, с. 854—855; Б. В. Томашевского в статьях «Пушкин и народность» (1941) и «Историзм Пушкина» (1954) в кн.: *Томашевский Б. В.* Пушкин: Материалы к монографии. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 150, 188—189; Ю. Г. Оксмана в кн.: От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника»: Исследования и материалы. Саратов, 1959, с. 121—122, 226—230.

С. 74. Михельсон Иван Иванович (1740—1807), подполковник. В 1774 г. особенно отличился в боях с войсками Пугачева, нанеся ему окончательное поражение 25 августа между Царицыным и Черным Яром (см. главы шестую—восьмую «Истории Пугачева»). Впоследствии генерал-от-кавалерии, главнокомандующий Днестровской армией во время русско-турецкой войны 1807 г.

С. 76. Поговорка, использованная для эпиграфа к главе XIV, в редакции «Мирская молва, что морская волна» вошла в «Полное собрание русских пословиц и поговорок, расположенное по азбучному порядку», с. 141.

С. 79. ...отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. — Речь идет о деле А. П. Волынского (1689—1740) — кабинет-министра императрицы Анны Иоановны, казненного вместе со своим другом А. Ф. Хрущовым в 1740 г. за попытку свергнуть власть фаворита императрицы — Бирона.

С. 79. София — военный городок, расположенный за Царскосельским парком, с 1808 г. часть Царского Села (ныне г. Пушкина).

С. 80—82. Встреча Марьи Ивановны в царскосельском саду с Екатериной II, которую она не узнает и простодушно посвящает поэтому в свои дела, имеет многочисленные прецеденты в мировой литературе. Так, например, А. Д. Галахов указал, что в сцене свидания с царицей Марья Ивановна поставлена в одинаковое положение с героиней романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница» (1818), домогающейся у королевы Каролины пересмотра «дела» своей невинно осужденной сестры (Рус. старина, 1888, № 1, с. 27). Еще разительнее в этом отношении анекдот о *дочери* австрийского *капитана*, которая, потеряв отца на войне и оставшись с больной матерью без всяких средств, рассказывает о своем горе неизвестному ей молодому офицеру, оказавшемуся императором Иосифом II. В русском пересказе анекдот этот напечатан был в изд.: Детское чтение для сердца и разума. М., 1786, ч. 7, с. 110—111. См. об этом заметку: *Яковлев Н. В.* К литературной истории «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, т. 4—5, с. 487—488. Более подробно об учете в романе Пушкина некоторых образов и ситуаций романов Вальтера Скотта см. в статье: *Гофман М. Л.* «Капитанская дочка». — В кн.: Пушкин / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Спб., 1910, т. 4, с. 356—357.

С. 80. Она была в белом утреннем платье ∾ прелесть неизъяснимую. — Внешние черты образа Екатерины II даны в «Капитанской дочке» подчеркнуто традиционно — точно так, как они воплощены в известном портрете В. Л. Боровиковского (1791), который изобразил царицу на прогулке в Царском Селе, у памятника графу П. А. Румянцеву, с собачкой у ног. Пушкин, как это установлено В. Б. Шкловским, «демонстративно не прибавил и не убавил от портрета ни одной черты. Правда, на картине Боровиковского Екатерина — в легком летнем платье и

ночном нарядном чепце, а встреча ее с Марьей Ивановной должна происходить осенью, в сентябре. Погода оказывается не по костюму потому, что сам Пушкин пишет, что „солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени“. Тогда Пушкин изменяет одну деталь. Екатерина была в „белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке“. Душегрейка под платьем не видна, но она позволяет Пушкину не переодевать императрицу по сезону, оставить ее характеристику официальной, не ему принадлежащей. Благодаря этому Екатерина остается портретом, и весь интерес читателя принадлежит Марье Ивановне» (*Шкловский В.* Заметки о прозе Пушкина. М., 1937, с. 127—128). Как тонко отмечает М. И. Цветаева, «вся любовь Пушкина ушла на Пугачева (Машу любит Гринев, а не Пушкин), — на Екатерину осталась только казенная почтительность» (*Цветаева М.* Мой Пушкин. М., 1967, с. 135). Об особенностях образа Екатерины II в романе см. также интересные соображения в статье: *Лотман Ю. М.* Идейная структура «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 15—17 — и в кн.: *Добин Е. С.* Герой; Сюжет; Деталь. М.; Л., 1962, с. 215—216.

ПРИМЕЧАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ РАЗДЕЛА «ДОПОЛНЕНИЯ»

«ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА»

Печатается по черновому автографу, хранящемуся в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) АН СССР. Дата — первая половина 1836 г. (обоснование датировки см. в кн.: *Оксман Ю. Г.* От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника»: Исследования и материалы. Саратов, 1959, с. 34—35, 108—109). Впервые опубликована П. И. Бартеневым: Рус. арх., 1880, т. 3, кн. 1, с. 218—227. До тех пор об этой главе известно было лишь по глухому упоминанию П. В. Анненкова в его примечаниях к «Капитанской дочке» (см.: *Пушкин.* Соч. Спб., 1855, т. 5, с. 532). Переписав роман набело, Пушкин уничтожил черновую его редакцию, за исключением одной главы, которую сам он назвал «Пропущенной главой», зачеркнув прежний заголовок: «Глава XII». Причины, в силу которых эта глава изъята была из романа, точно не установлены. Во всяком случае, это сделано было самим Пушкиным, то ли потому, что изъятые страницы без особой нужды замедляли к концу повествования его темп, то ли потому, что острота самой тематики этой части романа заставила автора, в предвидении цензурных осложнений, пойти на некоторую идеализацию крепостнической действительности, от которой сам же он поспешил затем отказаться. Мы имеем в виду явное неправдоподобие в «Пропущенной главе» идиллических отношений между крестьянами и помещиками в усадьбе Гриневых как в самый разгар восстания, так и на другой день после его подавления. См., например, с. 95: «Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования»; ср. также сцену встречи старого Гринева с бунтовавшими мужиками, пришедшими с повинною на барский двор: «„Ну что, дураки, — сказал он им, — зачем вы вздумали бунтовать?“ — „Виноваты, государь ты наш“, — отвечали они в голос. — „То-то виноваты. Напроказят, да и сами не рады“» (с. 97). Напомним, что и политические афоризмы Гринева в «Пропущенной главе» звучали более агрессивно, чем в окончательной редакции романа (см. выше, с. 171—172 и 290—291).

С. 92. ...земский... — деревенский писарь; вместе со старостой выполнял административные и полицейские функции в деревне.

С. 97. Ильин день — церковный праздник, отмечавшийся 20 июля ст. ст.

‹ПРОЕКТ ВСТУПЛЕНИЯ К РОМАНУ›

Печатается по черновому автографу Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Впервые опубликован в кн.: Неизданный Пушкин. Пг., 1922, с. 163—165.

Об этом проекте см. выше, с. 162.

‹НАБРОСОК НЕДОПИСАННОГО ПРЕДИСЛОВИЯ›

Печатается по автографу Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР в тетради Пушкина, занятой его статьей «Александр Радищев» (1836). Впервые опубликован В. Е. Якушкиным: Рус. старина, 1884, № 7, с. 530.

С. 99. [Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был]. — Расшифровка слов об «одном из наших альманахов» как указания на «Рассказ моей бабушки» в «Невском альманахе на 1832 год» впервые предложена была нами в комментариях к «Капитанской дочке» в изд.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.: Academia, 1936, т. 4, с. 753. Это толкование является ныне общепринятым. См. выше, с. 169—170.

‹ЗАМЕТКА О ШВАНВИЧАХ›

Печатается по беловому автографу Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Впервые опубликована: Библиографические записки. 1859, № 6, с. 180—181. Дата — вторая половина 1833 г.

Другие записи Пушкина о Шванвичах см.: 9, кн. 1, 374, 479—480.

С. 100. Слышано от Н. Свечина. — Имеется в виду, видимо, генерал-от-инфантерии Н. С. Свечин (1759—1850), женатый на тетке С. А. Соболевского, приятеля Пушкина.

‹РАССКАЗЫ И. А. КРЫЛОВА В ЗАПИСИ ПУШКИНА›

Печатаются по беловому автографу Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Впервые опубликованы нами: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, т. 1, с. 26.

Об использовании этих материалов в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке» см. выше, с. 167—168.

С. 100. Отец Крылова... — Андрей Прохорович Крылов (1738—1778), капитан; во время восстания, находясь под командованием полковника И. Д. Симонова, фактически руководил защитой Яицкого городка.

‹РАССКАЗЫ И. И. ДМИТРИЕВА В ЗАПИСИ ПУШКИНА›

Печатаются по автографу Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Впервые опубликованы В. Л. Комаровичем: 9, кн. 2, 497—498. Дата — середина июля 1833 г.

Критический разбор этих записей см. в названной выше нашей книге, с. 52—60.

С. 100. Дмитриев... — Иван Иванович Дмитриев, поэт, очевидец некоторых событий восстания, описанных им в записках «Взгляд на мою жизнь» (напечатаны в 1866 г.), с которыми Пушкин познакомился до их опубликования.

‹РАССКАЗ СЕНАТОРА Д. О. БАРАНОВА В ЗАПИСИ ПУШКИНА›

Печатается по автографу Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Запись, представляющая собою как бы приложение к рассказам И. И. Дмитриева, сделана в тот же день.

Об использовании рассказа Баранова в «Истории Пугачева» (9, кн. 1, 44) и в записке, представленной Пушкиным царю 26 января 1835 г. (9, кн. 1, 373), см. в названной выше нашей книге, с. 54—56.

С. 102. (Слышал от сен.‹атора› Баранова.) — Д. О. Баранов (1773—1834) — сенатор, член Российской академии, друг и сослуживец Дмитриева.

‹ОРЕНБУРГСКИЕ ЗАПИСИ›

Печатаются по беловому автографу Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Запись ‹5› впервые опубликована нами в изд.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, т. 2, с. 434—435; все прочие записи — В. Л. Комаровичем: Там же. М.; Л., 1939, т. 4—5, с. 21—24.

Записи не датированы, но письмо Пушкина к жене от 2 октября 1833 г. позволяет установить не только дату записей, но и время их обработки. Так, рассказывая о своем двухдневном пребывании в Уральске (бывший Яицкий городок), откуда он выехал 23 сентября 1833 г., Пушкин упоминал и о казаках, которые «наперерыв давали ‹ему› все известия, в которых он имел нужду», и о «старухе Бунтовой» (см. с. 104 — «Старуха в Берде»): «В деревне Берде, где Пугачев простоял 6 месяцев, имел я une bonne fortune — нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год. Я от нее не отставал, виноват: и про тебя не подумал. Теперь надеюсь многое привести в порядок, многое написать и потом к тебе с добычею» (15, 83).

Записи эти были широко использованы Пушкиным в «Истории Пугачева» (главы первая—вторая, пятая, восьмая), но нетрудно заметить следы их учета и в «Капитанской дочке». Напомним хотя бы описание ставки Пугачева в Берде, а также разговор Гринева с Пугачевым во время их поездки в Белогорскую крепость (глава XI). Подробнее см. об этом в статье: *Измайлов Н. В.* Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1953, с. 266—297, а также в настоящем издании, с. 187—188.

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА
(ОТРЫВКИ ИЗ ГЛАВ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ)

Печатается по академическому изданию «Истории Пугачева» (9, кн. 1, 13—28).

Об общественно-политических позициях Пушкина как историка пугачевщины см.: *Оксман Ю. Г.* Пушкин в работе над «Историей Пугачева». — Лит. наследство. М., 1934, т. 16—18, с. 443—466; *Зенгер Т. Г.* Николай I — редактор Пушкина. — Там же, с. 524—535; *Грушкин А.* Пушкин 30-х годов в борьбе с официозной историографией. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, т. 4—5, с. 212—256; *Чхеидзе А. И.* 1) К вопросу об источниках к «Истории Пугачева» Пушкина. — Тр. / Тбилис. гос. учит. ин-т, 1942, т. 2, с. 273—307; 2) «История Пугачева» А. С. Пушкина: Автореф. докт. дис. Тбилиси, 1950; *Мавродин В. В.* Крестьянская война в России в 1773—1775 годах: Восстание Пугачева. Л., 1961, с. 30—47; *Овчинников Р. В.* Пугачевские бумаги в архивных тетрадях Пушкина. — В кн.: Археографический ежегодник на 1962 год. М., 1963, с. 304—311. Особенно ценна своими наблюдениями и выводами книга: *Блок Г. П.* Пушкин в работе над историческими источниками. М.; Л., 1949.

А. П. Крюков

РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ

Впервые опубликован: Невский альманах на 1832 год / Изд. Е. Аладьиным. Спб., 1832, с. 250—332, с подписью: А. К. Цензурное разрешение альманаха — 21 октября 1831 г.

Широкое использование материалов этой повести в «Капитанской дочке» впервые установлено было в неопубликованном докладе Н. О. Лернера в Пушкинской комиссии АН СССР осенью 1933 г. См. об этом в комментариях к «Капитанской дочке» в изд.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.: Academia, 1936, т. 4, с. 753, а также в статье: *Гуляев В. Г.* К вопросу об источниках «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, т. 4—5, с. 198—211. В последней статье инициалы автора повести («А. К.») неправильно раскрыты как «А. Корнилович». Принадлежность этих инициалов оренбургскому литератору А. П. Крюкову (1803—1833) доказана в работе Петера Бранга (см. выше, с. 282). Сводка материалов об А. П. Крюкове дана в статье: *Фокин Н. И.* К вопросу об авторе «Рассказа моей бабушки» А. К. — Учен. зап. / Ленингр. гос. ун-т, 1958, т. 261, с. 155—163.



Б. Л. Кандель

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Указатель составлен на основе фондов Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР, Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы. Учтены также материалы отечественных и иностранных источников и обзоров, посвященных переводам произведений русских писателей, и в частности А. С. Пушкина, а также национальных библиографических указателей и каталогов крупнейших библиотек зарубежных стран.

При работе над указателем составитель стремился к возможной полноте в учете переводов, независимо от того, вышли ли они в виде книги или были опубликованы в периодических изданиях и сборниках. Для некоторых переводов не удалось установить год издания, имена переводчиков, названия издательств, количество страниц, подробные сведения о серии, в которую входили переводы. Не учтены в ряде случаев сборники переводов, содержание которых составитель не имел возможности проверить.

Материалы расположены в хронологии первых изданий переводов, переиздания одного и того же перевода собраны под первым его описанием.

Албанский язык

Vajza e kapitenit / E përk. Vedat Kokona. Tiranë: Shoqërija e miqësisë Shqipëri-Bashkimi sovjetik, 1954. 108 f.

Idem. — In: Pushkin A. S. Vajza e kapitenit dhe tregime tëtjera. Tiranë: Naim Frashëri, 1961, f. 260—409.

E bija e kapitenit. Prishtinë: Rilindja, 1966. 142 f.

Амхарский язык

Капитанская дочка / Пер. Каса Гэбрэ Хыйвот. — В кн.: Пушкин А. С. Проза. М.: Прогресс, 1978, т. 2, с. 63—243.

Английский язык

The captain's daughter; or, The generosity of the Russian usurper Pugatscheff / From the Russ. by G. C. Hebbe. New York: Müller, 1846. 48 p.

The captain's daughter. — In: Pushkin A. The captain's daughter and The queen of spades. London: Blackwood a. co, 1857. (Blackwood's London libr.; N 13).

The captain's daughter / Transl. from the Russ. by J. F. Hanstein. London: Hollinger, 1859.

The captain's daughter / Transl. by J. Buchan Telfer (née Mouravieff). — In: Pushkin A. S. Russian romance. London: King a. co, 1875, p. 1—154.

Idem. New ed. 1880, p. 1—154.

Marie, a story of Russian love / From the Russ. by Marie H. de Zielinska. Chicago: Jansen, McClury a. co, 1877. 210 p.

Idem. 1893. 210 p. (Tales from foreign lands; III).

The captain's daughter: A tale of the time of Catherine II of Russia / Transl. by Jean Igelstrom a. Percy Easton. London: City of London publ. co, [1883]. [3], 244 p.

The captain's daughter / Transl. by E. C. Price. New York: Munro, [1883]. 28 p. (Seaside libr.; Vol. 87, N 1758).

Idem. 1883. 101 p. (Seaside libr., Pocket ed.; N 149).

The captain's daughter / A novel, lit. transl. from the Russ. for the use of students by Stuart H. Godfrey. Calcutta: Thacker, Spink a. co, 1886. VI, 170 p.

Preface, p. V—VI.

The daughter of the commandant: A Russian romance / Transl. by Milne Home. London: Eden, Remington a. co, 1891. [V], 280 p.

Preface, p. III.

The captain's daughter / Transl. from the Russ. by T. Keane. — In: Pushkin A. Prose tales. London a. New York: Bell a. Sons, 1894, p. 1—152.

Idem. 1896, 1911, 1916. (Bohn's standart libr.)

Idem. London: Bell a. Sons, 1914, 1919, 1926. (Bohn's popular libr.; N 58).

Idem. New York: Macmillan co, 1894, 1896, 1914; Freeport; New York: Books for libr., 1971.

Idem. — In: Pushkin A. The captain's daughter and other tales. London: Hoddes a. Stoughton, 1915, 1916.

Idem. New York: Harcourt, Brace a. co, 1925.

From «The captain's daughter» / Transl. by T. Keane. — In: Wiener L. Anthology of Russian literature from the earliest period to the present time... New York: Putnam's Sons, 1903, pt. 2.

The captain's daughter. London: Jaschke, 1919.

The captain's daughter / Transl. from the Russ. by Natalie Duddington; With an introd. by Edward Garnett. London: Dent a. Sons, 1928. X, 212 p.

Idem. New York: Viking press, 1928.

Idem. — In: Pushkin A. The captain's daughter and other tales. London; Toronto: Dent; New York: Dutton, 1933, p. 1—117. (Everyman's libr.; N 898).

Idem. — In: Pushkin A. Works; Lyrics; Narrative poems; Folk tales; Plays; Prose / Sel. a. ed. with an introd. by A. Yarmolinsky. New York: Random house, 1936, p. 599—741.

Idem. — In: Pushkin A. The captain's daughter and other stories / Transl. with an introd. by Natalie Duddington. London: Dent; New York: Dutton, 1961. (Everyman's libr.; N 898).

Idem. 1973.

The captain's daughter / Ed. by Nickolas N. Sergievsky. New York: Intern. press, 1946. 402 p.

The captain's daughter / Transl. from the Russ. by Ivy a. Tatyana Litvinov; Des. by V. Favorsky; Ill. by N. Favorsky. Moscow: Foreign lang. publ. house, 1954. 164 p., ill. (Classics of Russ. lit.).

Idem. Moscow: Progress publ., 1965. 135 p., ill.

Omitted chapter, p. 121—132. Notes, p. 133—135.

Idem. — In: Pushkin A. Selected works in two volumes. Vol. 2. Prose works Moscow: Progress publ., 1974, p. 107—216.

Omitted chapter, p. 217—227.

Idem. 1976, 1978.

The captain's daughter / Transl. by Rosemary Edmonds. — In: Pushkin A. S. The captain's daughter; The negro of Peter the Great. London: Spearman, 1958, p. 1—152.

Idem. — In: Pushkin A. The queen of spades; The negro of Peter the Great; Dubrovsky; The captain's daughter. Harmondworth, Middlesex: Penguin books, 1962, p. 187—317. (The Penguin classics; 119).

The captain's daughter. — In: Pushkin A. S. The captain's daughter and other great stories. London: Knopf; Mayflower, 1961. (Modern libr.).

The captain's daughter / Transl. from the Russ. by Gillon R. Aitken. — In: Pushkin A. S. The captain's daughter and other stories. London: Four square books, 1962.

Idem. — In: Pushkin A. S. The complete prose tales. New York: Norton, 1966, p. 335—475.

Idem. — In: Pushkin A. S. The complete prose tales. London: Barrie a. Rockliff, 1966.

Idem. — In: Pushkin A. S. The queen of spades; The captain's daughter. London: Folio soc., 1970.

The captain's daughter. New Delhi: Entente, [1968?]. IV, 119 p.

Арабский язык

Капитанская дочка / Пер. Халиля Бейдаса. — Ал-Манар (газета), Бейрут, [1898?].

Дочь командира / Пер. Халиль аль Хури. Бейрут, 1953.

Дочь офицера / Пер. Сами ад Дуруби. Дамаск, 1953. 262 с. (Шедевры мировой лит.).

То же. Каир: Хильми Мурад, 1961. 177 с.

Дочь офицера. Каир: Аль Хиляль, 1957. 158 с. (Образцы мирового романа).

Капитанская дочка / Пер. Гаиб Тума Фурман. — В кн.: Пушкин А. С. Капитанская дочка: Избранная проза. М.: Прогресс, 1974, с. 180—386. (Классики рус. лит.).

Язык бенгали

Капитанская дочка / Пер. Трайлакая Бисваз. Калькутта: Дас Гупта бразерс, 1954. 173 с.

Капитанская дочка / Пер. Омол Дашгупта; Ил. Н. Фаворского. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. 232 с., ил.

То же. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1963. 207 с.

Болгарский язык

Капетанската дъщеря / Прев. Михаил Георгиев Греков; Изд. Любен Каравелов. Букурещ: В печ. Хранова и ко, 1875. 144 с.

То же. — В кн.: Българска христоматия. Ч. 1. Проза / Сост. И. Вазов и К. Величков. Пловдив; Свештов; Солун: Книж. на Д. В. Манчов, 1884, с. 309—319.

Перевод главы «Приступ».

Капитанска дъщеря: Повест / Прев. Ив. Ст. Андрейчин. София: Игнатов, [1898]. 163 с. (Библ. за всички; № 20).

То же. София: Изд. Хр. Олчевата книж., 1898. 137 с.

То же. 2-е изд. София: Живот, 1912. 124 с.

То же. 3-е изд. 1917. 205 с.

То же. София: Игнатов, [1930]. 166 с. (Библ. за всички; № 20).

То же / С предг. от Цв. Минков. София: Игнатов, [1940]. 167 с. (Библ. за всички; № 20).

То же. — В кн.: Пушкин А. С. Съчинения. Пълно събрание в 10 тома. Т. 6. Капитанска дъщеря; Роман в писма; Египетски нощи; История на Пугачев; Исторически бележки. София: Игнатов, [1942], с. 19—164.

Капитанска дъщеря: Повест / Изд. Щабът на действ. армия. София: Печ. «Воен. изв.», 1917. 203 с. (Походна войнишка библ.; № 31).

Капитанска дъщеря / Прев. С. Дринов. София: Паскалев, [1920]. 164 с. (Всемирна библ.; № 772).

То же. 2-е изд. [1925]. 210 с.

Капитанската дъщеря / Прев. от рус. С. Андреев. София: Държ. печ., 1931. 115 с. (Библ. «Прев. книжнина»; № 2).

Капитанска дъщеря: Повест. Киев; Харков: Укрдержнацмениздат, 1936. 171 с.

Капитанска дъщеря: Повест / Прев. от ориг. на последното рус. юбил. изд. Лео-

нид Паспалеев. Шумен: Печ. Попов, 1938. 142 с. (Библ. худож. лит.; № 6).
То же. София: Глобус, 1944. 163 с.
То же. София: Книго-Лотос, [1946]. 148 с. (Клас. творби).
Капитанска дъщеря / Прев. Богомил Райнов. София: Маринов, 1940. 136 с.
То же. 1942. 128 с.
Капитанската дъщеря / Прев. А. Каралийчев. София: Нар. просвета, 1950. 120 с.
Капитанската дъщеря: Повест / Прев. К. Константинов. София: Нар. култура, 1954. 144 с.
То же. 2-е изд. 1956. 160 с.
То же. 3-е изд. 1967.
То же. София: Держ. воен. изд-во, 1967. 179 с.
То же. София: Нар. култура, 1977. 284 с.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избрани призведения в шест тома. Т. 5. Романи и повести. София, 1972, с. 253—376.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Проза. М.: Прогресс; София: Нар. култура, 1978, с. 207—346.

Венгерский язык

A kapitány leánya: Elbeszéles / Ford. Zilahy Károly. — Fövárosi Lapok, 1864, N 19—38.
A kapitány leánya: Regény / Az orosz ered. ford. Ambrozovics Dezsö. — Ország-Világ, 1888, N 41—49, 51—52, l. 642—643, 658—662, 671—675, 690—691, 707—709, 723—726, 740—742, 755—758, 774—775, 819—823, 843—847.
Idem. Budapest: Franklin-Társulat, 1896. 181 l. (Olcsó kvt.; 367).
Idem. 2. kiad. Budapest, 1898. (Olcsó kvt., Uj sorozat; 989—991).
Idem. [1924].
Idem. [1945]. (Orosz Remekírók).
A kapitány leánya: Elbeszéles / Oroszból ford. Honti Rezsö. Budapest: Athenaeum, 1922. 160 l. (Olcsó Regény; 69).
Idem. Budapest: Magyar-Szovjet Müvelödési Társaság, [1945]. 134 l. (Joszomszédság kvt.; 2).
Idem / Ill. Györy Miklos. Budapest: Szikra kiad., 1949. 125 l.
Idem. — In: Puskin A. Sz. Válogatott munkai. Kijev; Uzshorod: Ragyanszka skola, 1950, l. 197—308. (Klasszikusok iskolai kvt.).
Idem. Budapest: Uj Magyar Könyvkiadó, 1952. 144 l. (Szépirodalmi Kiskvt; 48).
Idem. Bukarest: Az Orosz-Könyv. Kiad., 1955. 133 l.
Idem. — In: Puskin A. S. A kapitány leánya; A pikk dama. Budapest: Szépirodalmi kiadó, 1960.
Idem. Budapest: Szépirodalom kiadó, 1967. 208 l., ill.
Idem. — In: Puskin A. Válogatott prózai müvei. Budapest: Európa, 1972, l. 344—495.
Idem. — In: Puskin A. Borisz Godunov; A kapitány leánya. Budapest: Szepirodalmi kiadó, 1973, l. 81—219.
A kapitány leánya: Elbeszéles. Budapest: Tolnai, [1926]. 157 l. (Világkvt.).
A kapitány leánya. — In: Puskin A. Sz. Válogatott müvei: Elbeszélések és egyéb prózai müvek. Budapest: Szikra, 1949.
A kapitány leánya. — In: Puskin A. Sz. Regények és elbeszélések. Budapest: Uj Magyar kiadó, 1955.

Вьетнамский язык

Капитанская дочка / Пер. Као Суан Хао. — В кн.: Пушкин А. С. Дубровский; Капитанская дочка. Ханой, 1960.

Голландский язык см. Нидерландский язык

Греческий язык

I kori tu frurarchu / Mithistoria metafr. ek tu ross. ipo Nikolau I. Theodoridi. Odessa: Tip. Chrisogelu, 1893. 184 s.

I kori tou lochaghou / Metafr. Nicos Alexiou. Athinae: O Kedhros, 1955. 174 s.
E kore tou lohagou / Metafr. G. Tsokalas. Athenai: I. K. Papadoupoulos, 1972. 120 s.

Язык гуджарати

Капитанская дочка / Пер. Атул Савани. М.: Прогресс, 1977. 167 с.

Датский язык

Capitainens datter: Historisk fortoelling / Fra det russ. overs. af E. M. Thorston. Kjøbenhavn: Fribert, 1843. [3], 180 s.
Kaptajnens datter: Historisk fortaelling / Overs. fra russ. Kjøbenhavn: Jordan, 1882. 200 s.
Capitainens datter: Novelle / Overs. af L. Kragballe. Kjøbenhavn: Hagerup, 1885. XIV, 15—213 s.
Forord. (Bemaerkninger om Alexander Puschkin fornemmeling efter Fr. Bodenstedt), s. III—XIV.
Kommandantens datter. Kjøbenhavn: Universalforl. Sørensen, 1910.
Kaptajnens datter / Overs. af Amalie Edelstein. Kjøbenhavn: Kamlas bogh., 1911. 152 s. (Kamla's 50 øres bibl.; 25).

Иврит

Капитанская дочка / Пер. М. З. Вольфовский. — В кн.: Пушкин А. С. Романы и повести. Тель-Авив, 1951, с. 245—354.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Романы и повести. Б. м., Га-киббуц-га-меугад, 1952.
То же. Тель-Авив, 1965.

Идиш

Капитанская дочка / Пер. Г. Орланда. Киев: Укрдержнацменвидав., 1936. 190 с.
То же. 2-е изд. 1937.
Капитанская дочка. Палестин. Миспах пабл. комп., 1936. 124 с.

Индонезийский язык

Puteri kapten. Djakarta: Tenaga, 1957. 164 s.

Испанский язык

La hija del capitán. — Correo de ultramar, Paris, 1855, vol. 5.
La hija del capitán / Novela rusa, trad. por V. S. C. Madrid: Impr. de Macías, 1879. 223 p. (Revista europea; Vol. 13).
La hija del capitán / Trad. por Ramón Orts-Ramos. Barcelona: A. Martinez, 1902. 217 p.
La hija del capitán. Buenos Aires: Bibl. de la Nación, 1916.
La hija del capitán / Trad. directa del ruso por G. Portnof. Madrid: Ed. Jiménez Fraud, 1919. VIII. 221 p. (Col. «Granada»).
Idem. Madrid: Imp. Clásica esp., s. a. VII. 221 p.
La hija del capitán. — Novelas y cuentas, 1919, vol. 1, N 7, p. 193—222.
La hija del capitán. — In: Puskin A. S. La hija del capitán y El motín de Pugachev. Buenos Aires: El Ateneo, [1920?].
La hija del capitán. Santiago de Chile: Zig-Zag, [1930?]. 128 p.
La hija del capitán. Santiago: Osiris, [1930?]. (Col. «Osiris»; 43).
La hija del capitán. Buenos Aires: Renovación, [1930?].
La hija del capitán / Trad. por Alexis Markoff. Barcelona: Molino, 1935. 136 p., il. (Bibl. «Oro»).
Idem. Buenos Aires: Ed. Molino, 1940. 125 p., il. (Bibl. «Oro», Famosas novelas, Año 3, N 21).

La hija del capitán / Pref. de T. Aventura. Santiago, 1938. 125 p. (La revista de novelas; 121).

La hija del capitán / Trad. de Félix Díez Mateo. — In: Puskin A. S. La hija del capitán y La nevasca. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1940. 160 p. (Col. «Austral»; 123).

Idem. 2-a ed. 1943.

La hija del capitán. La Plata: Colonino, 1943. 187 p.

La hija del capitán / Trad. por O. de Wolkonsky. — In: Puskin A. S. Cinco novelas / Il. de Violeta Lorraine Pouchkine. Buenos Aires: Ed. Inter-Amer., 1944.

La hija del capitán / Trad. por Jorge Subirá. Barcelona: Reguera, 1948. 79 p.

La hija del capitán / Il. de N. Favorski; Pres. de V. Favorski. Moscu: Ed. en lenguas extranjeras, 1953. 172 p. (Obras clásicas de lit. rusa).

La hija del capitán / Trad. por Ramón Castro Montaner. Barcelona: Mateu, 1958. 256 p., il.

Idem. — In: Puskin A. S. La tempestad. (La hija del capitán e Historia de Pugachev). Barcelona: Mateu, 1958.

La hija del capitán / Trad. anón. Mexico: Rep. Mex., 1959. 162 p.

La hija del capitán. — In: Puskin A. S. La hija del capitán; La nevasca. Madrid: Espasa-Calpe, 1965.

La hija del capitán / Trad. por J. Pericacho. — In: Puskin A. S. Obras escogidas. Madrid: Aguilar, 1967, p. 173—314.

La hija del capitán / Trad. por Jesús Lizano. Barcelona: Edima, 1968. 176 p.

La hija del capitán. Madrid: Pérez del Hoyo, 1969. 181 p.

La hija del capitán / Trad. por Amaya Lacassa. Barcelona: Salvat, 1971. 142 p.

La hija del capitán. Barcelona: Ed. Petronio, 1973. 340 p.

La hija del capitán. Madrid: Círculo de amigos de historia, 1973. 304 p.

La hija del capitán / Trad. por E. Varona. Madrid: Paulinas, 1974. 176 p.

La hija del capitán / Trad. al esp. Ed. Progreso. Moscu: Progreso, 1975. 160 p., il.

Idem. — In: Puškin A. S. Prosa escojida. Moscu: Progreso, 1981, p. 197—315.

Итальянский язык

La figlia del capitano: Romanzo. Milano: Tip. ed. Lombarda, 1876. 195 p. (Scelta di buoni romanzi stranieri diretta da S. Farina, Prima ser.; N 10).

Sotto lo scettro della czarina: Romanzo militare di Pietro Grineff. Roma, 1911, p. 1—27. (Il romanzo della domenica, Anno 1; N 1).

La figlia del capitano: Romanzo / Trad. diret. dal russo da N. Tchileff e M. Tutino; Con il discorso di T. M. Dostojewski su Puschkin. Lanciano: Carabba, 1913. 125 p.

La figlia del capitano: Romanzo / Pref. di M. Tovajera. Milano: Sonzogno, 1920. 108 p. (Bibl. universale).

Prefazione, p. 3—6.

La figlia del capitano: Romanzo storico / Trad. di E. W. Foulques. Milano: Bietti, 1932.

Idem. 1937. 316 p.

La figlia del capitano / Unica trad. integrale dal russo di Rinaldo Küfferle. — In: Puskin A. S. Romanzi e racconti / Con la biografia dell'autore da Ivan Ivanov. Sesto San Giovanni (Milano): Barion, Casa per ed. popolari, 1936. (Ed. del centenario, 1837—1937).

La figlia del capitano / Trad. di Bruno Del Re. 2-a ed. Milano: Bompiani, 1944. 213 p. (Corona, Col. universale Bompiani; Vol. 18).

Idem. Milano: Bompiani, 1969. 127 p.

La figlia del capitano. 2-a ed. Torino: Einaudi, 1945. X, 134 p. (Universale Einaudi; 18).

La figlia del capitano / Trad. di Ettore Lo Gatto. — In: Puškin A. Opere in prosa. Roma: De Carlo, 1946, vol. 2, p. 103—192.

Idem. — In: Puškin A. S. Opere in prosa: Tutti i romanzi e le novelle; Viaggi, storia, saggi critici. Milano: Mursia C. Ed. Corticelli, 1958.

Idem. — In: Puškin A. S. Opere. Milano: Mursia, 1967, p. 227—324.

Idem. — In: Puškin A. S. Opere. Milano: Mursia, 1967, vol. 1, p. 329—453.

Idem. — In Puškin A. S. Romanzi e racconti. Milano: Garzanti, 1973.

La figlia del capitano / Trad. di Silvio Polledro. — In: Puškin A. S. La figlia del capitano; Le novelle de Bielkin; La donna di picche. Milano: Rizzoli, 1950.

Idem. — In: Puškin A. S. Romanzi e racconti. Torino: Einaudi, 1958, p. 407—524.

Idem. Roma: Aurelia, 1966. 180 p., ill.

La figlia del capitano / Trad. da Mary Tibaldi Chiesa e Adriana Lyanowa. Milano: Vallardi, 1956. 138 p., ill.

Idem. Milano: Mondadori, 1966. 188 p., ill.

Idem. 1976. 178 p.

La figlia del capitano / Trad. di Alfredo Polledro. Milano: Mondadori, 1958. 202 p.

Idem. Torino: Einaudi, 1959. XIII, 147 p.

Idem. — In: Pushkin A. S. La figlia del capitano; La donna di picche. Milano: Club degli ed., 1971.

Idem. Torino: Einaudi, 1972. X, 152 p.

La figlia del capitano / Trad. di G. Ronga Fabrovic. — In: Puškin A. S. Boris Godunov; La figlia del capitano e altri racconti. Torino: UTET (nuova ed.), 1963.

La figlia del capitano / Trad. di P. Cazzola. Torino: Paravia, 1964. 152 p.

La figlia del capitano / Trad. di D. Giampieri. Firenze: La Nuova Italia, 1965. 142 p.

La figlia del capitano / Trad. di V. Piccoli. Roma: Ed. riuniti, 1965. 194 p.

La figlia del capitano / Trad. di A. Sangiovanni. Milano: Libritalia, 1965. 142 p.

La figlia del capitano / Trad. di Aldo Chiaruttini. Milano: Mondadori, 1966. 252 p., ill.

La figlia del capitano / Trad. di Elza Mastrocicco. Milano: Fabbri, 1968. 280 p.

Idem. — In: Puskin A. S. La figlia del capitano: Racconti. Milano: Fabbri, 1973, p. 15—152.

La figlia del capitano / Trad. di Marinella Pagura. Milano: Fabbri, 1968. 165 p.

La figlia del capitano / Trad. di Gianlorenzo Pacini. — In: Puškin A. S. La figlia del capitano e altri racconti. Novara: EPIDEM, 1973.

Каталонский язык

La filla del capità / Trad. directa del rus per R. J. Slaby. Barcelona: Ed. Catalana, 1922. 176 p. (Bibl. lit.).

Idem. Barcelona: Llib. Catalonia, 1935. 122 p. (Quadernos lit.; 48).

Китайский язык

Русская любовная история Смита и Мэри: Сон бабочек среди цветов. [Капитанская дочка] / Пер. Цзи И-хоя с япон. пер., сделан. с англ. пер. Б. м. [1903].

Капитанская дочка / Пер. Ань Шоу-го. [Шанхай]: Изд-во Гунсюэше, 1921.

Капитанская дочка / Пер. Сунь Юн. Чунцин, 1944.

То же. Шанхай: Шэнхо шудянь, 1947. II, 209 с.

То же. 1949.

То же. Пекин: Женьминь вэньсюе чубаньшэ, 1956. 186 с.

Капитанская дочка / Пер. Сюй Син-и. Б. м., 1947.

Корейский язык

Капитанская дочка. — В кн.: Пушкин А. С. Избр. произведения. Т. 4. Художественная проза. Пхеньян, 1954.

Капитанская дочка / Пер. Ли Донг-гион. Сеул: Янгмунса, 1959. 168 с.

Капитанская дочка / Пер. Ван Донг и Ли Донг-гион. Сеул: Муху Чульпансэ, 1965.

Македонский язык

Капетановата ќерка / Прев. од руски Србо Ивановски. Скопје: Кочо Рацин, 1951. 122 с.

То же. 2-е изд. 1956. 147 с. (Школска библ., Коло 2; кн. 12).

То же. 1966. (Библ. «Атлас»).
Поговор, с. 141—145.
Капетанската ќерка. — В. кн.: Александр Сергеевич Пушкин. Лирска поезија; Капетанската ќерка. Скопје, 1963, с. 101—120.
Перевод гл. VI и VII.
Капетанова ќерка / Прев. Т. Бавтироски. Скопје: Мисла, 1968. 144 с.

Язык маратхи

Капитанская дочка. Бомбей: Бук столл, 1958. II, 146 с.

Монгольский язык

Капитанская дочка / Пер. Э. Оюн. Улан-Батор, 1942.

Немецкий язык

Die Hauptmannstochter: Novelle aus den Zeiten der Pugatscheffischen-Empörung / Aus dem Russ. übers. u. mit erl. Anm. vers. von Dr. Tröbst. — In: Puschkin A. Novellen. Jena: Hochhausen, 1848, 2. Bdch., S. I—VI, 1—232.
Die Capitainstochter. — In: Russlands Novellendichter. T. 1. Helena Hahn. Alexander Puschkin / Übertr. u. mit biogr.-krit. Einl. von Wilhelm Wolfsohn. Leipzig: Brockhaus, 1848, S. 283—418.
An Philippine F. in Berlin, S. 251—282 (характеристика творчества Пушкина).
Idem / Aus dem Russ. von Wilhelm Wolfsohn im Jahre 1848. Völlig neu bearb. Detmold-Berlebeck: Dt. Buchvertr. u. Verl., 1946. 174 S.
Idem. 2. Aufl., 1948. 174 S.
Die Hauptmannstochter / Dt. von Wilhelm Lange. Leipzig: Reclam jun., 1881. 170 S. (Universal-Bibl.).
Idem. [1882, 1886]. 170 S. (Universal-Bibl.; N 1559—1560).
Idem. Leipzig: Reclam, [1899]. 170 S. (Reclams Unterhaltungsbibl. für Reise u. Haus).
Vorwort, S. 3.
Die Kapitänstochter. Berlin: Deubner, 1881. (Coll. Manassewitsch; N 160).
Die Kapitänstochter: Erzählung aus dem Leben einer russischen Hauptmannstochter / Nach dem Russ. für die Jugend bearb. von Frida Schak. Berlin u. Leipzig: Hillger, [1908]. 96 S. (100 Erzählungen für Jung u. Alt; N 26).
Die Hauptmannstochter / Übertr. von A. Billard. — In: Puschkin A. Sämtliche Werke in 8 Bdn. 5. Bd. Novellen. München; Leipzig: Müller, 1910, S. 163—348.
Anmerkungen zu «Die Hauptmannstochter», S. 365—389.
Der Aufruhr der Kosaken. (Die Hauptmannstochter): Abenteuer eines jungen russischen Offiziers / Nach dem Russ. für die Jugend bearb. Berlin: Scheri, [1911]. [3], 182 S. (Ser. B-4, Jugendschriften).
Die Hauptmannstochter: Eine Erzählung / Übers. von Arthur Luther. — In: Puschkin A. S. Werke / Hrsg. von Arthur Luther. Leipzig: Bibliogr. Inst., [1923], Bd. 1, S. 181—319.
Einleitung des Herausgebers, S. 183—188.
Idem. — In: Puschkin A. S. Erzählungen. Dessau: Rauch Verl., [1920-е гг.], S. 257—402.
Idem. Engels: Dt. Staatsverl., 1937. 169 S. (Kleine Puschkin-Bibl.; N 2).
Idem. 1938. 184 S.
Idem. — In: Puschkin A. Ausgewählte Werke in 4 Bdn. 1. Bd. Die Erzählungen Bjelkins; Dubrowskij; Pique-Dame; Die Hauptmannstochter / Hrsg. von W. Neustadt. Moskau: Verl.-Genoss. ausl. Arbeiter in der UdSSR, 1938, S. 381—531.
Idem / Zeichn. von Max Schwimmer. Leipzig: Volk u. Buch Verl., 1946. 132 S.
Idem. Leipzig: Rauch, [1948]. 132 S.
Idem. — In: Puschkin A. S. Ausgewählte Werke in 4 Bdn. Bd. 4. Prosa. Moskau: Verl. für fremdsprach. Lit., 1949, S. 419—671.

Idem. — In: Puschkin A. S. Gesammelte Werke. In 6 Bdn. Bd. 4. Romane und Novellen. Berlin; Weimar, 1964, S. 321—449.

Das ausgelassene Kapitel, S. 450—462. Anmerkungen, S. 494—499.

Idem. — In: Puschkin A. S. Romane und Novellen. Genf: Edito-Service, Freizeit-Bibl., 1967, S. 317—458.

Idem. — In: Puschkin A. S. Meisterwerke. Berlin; Weimar: Aufbau-Verl., 1972, S. 427—570.

Die Hauptmannstochter / Dt. von Fega Frisch. — In: Puschkin A. S. Sämtliche Romane und Erzählungen. In 2 Bden. München: Büchenau u. Reichert Verl., 1924, Bd. 2.

Idem. — In: Puschkin A. S. Die Hauptmannstochter; Dubrowski. Herrliberg; Zürich: Bühl-Verl., 1944.

Die Hauptmannstochter / Dt. von Johannes von Guenther. — In: Puschkin A. S. Romane. München: Müller, 1924.

Idem. [2. Aufl.]. München: Müller, 1927. (Georg Müllers Zwei-Mark-Bücher).

Idem / Ill. von Karl Stratil. Berlin: Aufbau-Verl., 1947. 168 S.

Nachwort, S. 164—166.

Idem. — In: Puschkin A. Ausgewählte Werke. Berlin: Aufbau-Verl., 1949, Bd. 3, S. 239—387.

Idem. 3. Aufl. Berlin: Aufbau-Verl., [1950]. 160 S.

Idem. Stuttgart: Reclam, 1952. 169 S.

Idem. — In: Puschkin A. S. Ausgewählte Werke. Berlin: Aufbau-Verl., 1952, Bd. 3, S. 223—361.

Idem. — In: Puschkin A. S. Die Hauptmannstochter und andere Erzählungen. Frankfurt a. M.: Büchergilde Gutenberg, 1959.

Idem. Stuttgart: Reclam, 1960, 1964, 1967. 160 S. (Reclams-Universal-Bibl.; N 1559—1560).

Idem. — In: Puschkin A. S. Erzählungen und Anekdoten. München: Biederstein, 1964, S. 185—318.

Idem. — In: Puschkin A. S. Gesammelte Werke. München: Biederstein, 1966, S. 717—815.

Idem. 1974.

Die Hauptmannstochter / Dt. von Friedrich Scharfenberg. Reutlingen: Ensslin u. Laiblin, 1926. 191 S. (Ensslins 60 Pf.-Bände; Bd. 40).

Die Hauptmannstochter / Übers. von Reinhold von Walter. Düsseldorf: Merkur-Verl., 1947. 172 S.

Des Hauptmanns Töchterlein / Übers. von Lothar Bertelsmann. Baden-Baden: Hebel-Verl., 1948. 136 S.

Die Hauptmannstochter: Erzählung / Übertr. von Arnold Boettcher. Leipzig: Reclam jun., 1949. 184 S. (Reclams-Universal-Bibl.; N 1559—1560).

Idem. 1950. 168 S.

Idem. 1952, 1954, 1961, 1962. 184 S.

Idem. 1976. 160 S.

Die Hauptmannstochter / Übers. von Leo von Witte; Einf. von Reinhold Schneider. Freiburg: Herder, 1949. VII, 143 S. (Abendländ. Bücherei).

Einführung, S. VII—VIII.

Idem. 2—8. Aufl. Freiburg: Herder, 1957, 1958, 1960, 1963, 1966, 1968. 175 S.

Die Hauptmannstochter. Aarau: Sauerländer u. co, 1949. 127 S. (Salamander-Bücher; 7).

Die Hauptmannstochter: Novelle / Übers. von Gerda Onken-Joswich. Braunschweig: Schlösser-Verl., [1950]. 156 S. (Meisternovellen der Weltlit.).

Die Hauptmannstochter. — In: Puschkin A. S. Die Hauptmannstochter; Pique-Dame. München: Goldmann, 1956.

Die Hauptmannstochter. — In: Puschkin A. S. Ausgewählte Prosa. Berlin: Kultur u. Fortschritt, 1964.

Die Tochter des Hauptmanns / Bearb. von M. Steininger. Stuttgart; Zürich: Delphin-Verl., 1967. 251 S., ill.

Die Hauptmannstochter / Übertr. von Fred Ottow. — In: Puschkin A. S. Erzählungen. Zürich: Verl. «Haus Neue Schweizer Bibl.», 1967, S. 249—382.
Idem / Mit einem Nachw. von D. Tschizewskij. München: Winkler, 1969, S. 249—382.
Idem. Lüzern: Schweizer Volks-Buchgemeinde, 1970, S. 249—382.
Idem. — In: Puschkin A. S. Die Hauptmannstochter und andere Erzählungen. München: Winkler, 1971.
Die Hauptmannstochter / Übers. von R. E. I. Schart. — In: Puschkin A. S. Die Hauptmannstochter; Pique-Dame. Diellikon (Zürich): Stocker — Schmid, 1970.
Die Hauptmannstochter / Übertr. von L. Remané. — In: Puschkin A. S. Die Hauptmannstochter und andere Erzählungen. Berlin: Neues Leben, 1977, S. 209—335.

Нидерландский язык

De dochter van den kommandant: Een russisch tafereel / Vert. door V. B. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1853. VIII, 233 blz.
Voorberigt, blz. III—VI. Aanteekeningen omtrent Alexander Puschkin, blz. 199—232.
De kapiteinsdochter / Uit het Russ. vert. door Wils Huisman. Amsterdam: Kroonder, 1941. 192 blz.
Idem / Mit een inl. von T. Ehrenfest—Afanassijewa. 2-e dr. Bussum: Kroonder, 1947. 186 blz.
Idem. 5-e dr. Bussum: Kroonder, 1960. 176 blz., ill.
De kapiteinsdochter / Vert. uit het Russ. door A. S. de Leeuw. Amsterdam: Veen, 1948. 192 blz.
Idem. Antverpen: Het Kompas, 1948. 192 blz. (De Feniks, 14-e reeks; 6).
Idem. Brussel: Reinaert-reeks, 1957. 242 blz.
Idem. 3-e dr. Amsterdam: Veen, 1962. 188 blz.
Idem. Amsterdam: Arbeiderspers., 1972. 159 blz.
Idem. Amsterdam: Querido, 1975. 157 blz.

Норвежский язык

Kommandantens datter / Overs. av Nils Kjaer. Oslo, 1946. 118 s.
Kapteinens datter. — In: Puschkin A. S. Kapteinens datter; Dubrovskii. Oslo: Bladkomp., 1950. (Alle tiders forf.; 14).
Kapteinsdottera / Overs. av. Olav Rytter. Oslo: Samlaget, 1971. 150 s.
Kapteinens datter / Overs. av O. Berdal. — In: Puschkin A. S. Spar dame; Kapteinens datter; Dubrovskij. Oslo: Samlerens bokklubb, 1973.

Пенджабский язык

Капитанская дочка / Пер. Даршан Сингх. Дели: Навиуг, 1957. 223 с.

Персидский язык

Капитанская дочка / Пер. Парвиза Натиля Хонлари. Тегеран: Ховар, 1932. 60 с. (Афсане; Вып. 51—66).
То же. 2-е изд. Тегеран: Покет букс, 1963. 172 с.

Польский язык

Córka kapitana / Przekł. z ros. — Dziennik Warszawski, 1871, 7 wrześ—1 list., N 192, 194—196, 199, 204—206, 210, 213, 215, 216, 219, 222, 226.
Córka kapitana / Tłum. Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. Warszawa, 1926. 161 s.
Idem. — In: Puszkin A. Opowieści. Warszawa: Książka i wiedza, 1949, s. 279—413.
Idem. Bunt w forcie: Fragment z «Córki kapitana». — Trybuna wolności, 1949, 8—14 czerw., N 23.

Idem. — In: Puszkin A. Opowieści: Opowieści Biełkina; Dama pikowa; Córka kapitana. Kraków: Zakł. nar. im. Ossolińskich, 1973.

Córka kapitana. Kijów; Charków: Państw. wyd. mniejszości narodowych USSR, 1935. 168 s.

Córka kapitana: Powieść / Przeł. Tadeusz Stępniewski; Wstępem opatrz. Czesław Zgorgelski. Łodź: Wyd. Bąka, 1948. 187 s.

Idem. Wilnius: Państw. wyd. lit. pięknej Lit. SRR, 1953. 140 s.

Idem. — In: Puszkin. Dzieła wybrane. Warszawa: Państw. inst. wyd., 1954, t. 6. 146 s.

Idem. — In: Puszkin A. S. Dzieła wybrane. 2-ie wyd. T. 5. Opowieści. Warszawa: Państw. inst. wyd., 1956, s. 363—501.

Idem. — In: Puszkin A. Dzieła. Warszawa, 1967, t. 3, s. 559—677.

Idem. — In: Puszkin A. Opowieści. Wrocław, 1973, s. 127—259, 261—275.

Idem. 2-ie wyd. Warszawa: Państw. inst. wyd., 1975. 126 s.

Португальский язык

A filha do capitão / Trad. de L. Vassilieva y R. Perez. Rio de Janeiro: Bibl. universal popular, 1963. 184 p.

A filha do capitão / Trad. de Marques Rebêlo. Rio de Janeiro: Ouro, 1971. 204 p., il.

A filha do capitão / Trad. de Manuel de Seabra. Lisboa: Futura, 1976. 292 p.

Румынский язык

Fata căpitanului: Nuvela rusească / Trad. de Julian Grozescu. — Familia, 1866, 5 ian.—25 mar., N 1—9, p. 9—11, 20—22, 34—35, 45—46, 57—59, 68—70, 81—83, 92—94, 104—107.

Fiica căpitanului. — Romînul, 1887, vol. 32, 26 aug., p. 750—751, 28—29 aug., p. 758.

Fata căpitanului: Roman. Bucureşti: Universal, [1899]. (Bibl. ziarului universal).

Fiica căpitanului / Trad. de Ioan P. Tzincoca. Bucureşti: Roman, 1899.

Fata căpitanului: Roman / Trad. de George Emil Botez. — Rampa, 1912, vol. 1, 10 iun.—5 iul., N 190—210. (Foileton).

Idem. Bucureşti: Ed. Adevărul, [1912—1915?]. 52 p. (Bibl. ideală; N 4).

Fata căpitanului: Roman / Textul romin. de George B. Rareş; Il. de Anestin. Bucureşti: Ed. Eminescu, [1928]. 92 p. (Romanele alese).

Fata căpitanului: Roman / Trad. de Isaia Răcăciuni. [Bucureşti]: Tip. Finanţe şi industrie, [1938]. 156 p.

Idem. Ed. nouă. Bucureşti: Ed. Libr. Colos, [1940]. 160 p.

Fata căpitanului / Trad. din limba rusă de Eusebiu Camilar. Bucureşti: ESPLA, Cartea rusă, 1946. 139 p. (Clasicii ruşi).

Idem. 2-a ed., rev. 1949. 96 p.

Idem. 3-a ed. 1950.

Idem. 4-a ed. 1955. 187 p. (Bibl. pentru toţi).

Idem. 5-a ed. 1959. 152 p., il.

Idem. — In: Puşchin A. S. Opere alese. Bucureşti: Cartea rusă, 1954, vol. 2, p. 434—545.

Idem. — In: Puşkin A. S. Dama di pică. (Proza). Bucureşti, 1963, p. 276—407. (Bibl. pentru toţi).

Idem. — In: Puşkin A. Dama de pică şi altre povestiri. 4-a ed. Bucureşti: Univers, 1972, p. 233—335.

Сербскохорватский язык

Капетанова ћерка / Изд. Милош Поповић. Београд: Словима княжеско-србске печ., 1849. 117 с.

Капетанова ћерка. Одломак: Изненадни састанак с Екатерином II / С рус.

Мил. Димитриев. — Седмица, Београд, 1855, т. 4.
Kapetanova kći / Prev. M[aretiħ]. — Vienac, Zagreb, 1875, t. 7, N 1—13, s. 8—10, 24—27, 41—43, 55—57, 70—72, 86—89, 103—105, 120—122, 137—138, 150—154, 166—168, 183—185, 199—204.
Капетанова кħерка / Прев. с рус. и предговор написао Душан М. Радовиħ. Мостар: Изд. и штампа прве српске кньижаре и штамп. Радовиħа, [1896]. 189 с.
Kapetanova kcérka / Prev. Antun Radić. — In: Пушкинская антология. Zagreb: Matica Hrv., 1899, s. 240—392.
Капетанова ħерка. Царица Катарина и капетанова ħерка: Одломак / С рус. — Косово, у Шапцу, 1902, т. 2, № 4.
Капетанова ħерка. Сусрет с Катарином II: Одломак / С рус. М. В. Лаз. — Борац, Алексинац, 1909, т. 1, № 3—5.
Капетанова ħерка: Приповетка. — Србадија, Ниш, 1911, т. 3, № 5 (није свршено).
Капетанова кħи: Роман / С рус. Ль. З. Б. Београд, 1913. 144 с. (Нова библ.; № 1).
Капетанова ħерка. Одломак: Царица Катарина и капетанова ħерка / С рус. Самарджи. — Узданица, Београд, 1913, т. 5.
Kapetanova kći / Prev. Božidar Kovacević. — In: Puškin A. S. Pripovetke. Beograd: Kultura, 1949.
Idem. — In: Puškin A. S. Prosa. Beograd; Zagreb: Kultura, 1950, 1956.
Idem. Beograd: Rad, 1959. 132 s.
Idem. — In: Lermontov M. J. Puškin A. S. Izabrane pripovijetke. Zagreb: Naprijed, 1959.
Idem. Beograd: Beograd. graf. zavod, 1960. 132 s.
Idem. Beograd: Djonović, 1962. 184 s.
Idem. Beograd: Rad, 1962. 120 s.
Idem. 2 izd. Beograd: Branko Djonović, 1963. 184 s.
Idem. 3 izd. Beograd: Branko Djonović, 1963. 190 s.
Idem. Beograd: Rad. 1964. 120 s.
Idem. Beograd: Nolit, 1965. 144 s.
Idem. 5 izd. Beograd: Rad, 1965. 122 s.
Idem. — In: Puškin A. S. Kapetanova kći; Putovanje u Erzerum. Beograd: Rad, 1972.
Idem. 2 izm. izd. Beograd: Rad, 1976. 136 s.
Kapetanova kći / Prev. Radmila Marinković. Beograd: Nolit, 1955. 208 s.
Idem. 1958. 109 s.
Kapetanova kći / Prev. Tanja Špoijar. Zagreb: Zora, 1971. 155 s.
Kapetanova kći / Prev. Neda Nikolić—Bobić. Beograd: Nolit, 1973. 164 s.
Kapetanova kći / Prev. Dobriša Cesarić. — In: Puškin A. S. Kapetanova kći i druga djela. Zagreb: Školska knj., 1974.

Сингальский язык

Капитанская дочка / Пер. У. Сири Сарананкара. Коломбо: Гунасена, 1959. 119 с.

Словацкий язык

Stretnutie s Katarínou II: Úryvok z novelly «Dcéra kapitánova» / Prel. Vrsatsky. — Nár. nov., 1889, t. 20, č. 113.
Kapitánova dcéra: Povest' / Prel. Jur. Maro. Turč. Sv. Martin: Vyd. Knih-kupecko-naklad. spolku, 1898. [2], 154 s.
Idem. 2. vyd. Turč. Sv. Martin: KÚS, 1923. 151 s. (Kníhtlač. uč. spolok; Sv. 151, Ruská kniž.; Sv. 1).
Kapitánova dcéra: Úryvok / Prel. Jozef Hrončo. — In: Puškin A. S. Vybor z diela. Bratislava, 1949, s. 77—81.
Kapitánova dcéra / Prel. Jan Ferenčik. Bratislava: SVKL, 1953. 121 s., il.
Idem. — In: Puškin A. S. Umelecká próza. Bratislava: SVKL, 1953.
Idem. 2. vyd. Bratislava: SNDK, 1956. 157 s., il.

Idem. — In: Puškin A. S. Piková dama a iné prózy. 2. vyd. Bratislava: Tatran, 1967.
Idem. Bratislava: Tatran, 1969. 154 s.
Idem. 2. vyd. Bratislava: Tatran, 1972. 153 s.
Idem. — In: Puškin A. S. Piková dama a iné prózy. 3. vyd. Bratislava: Tatran, 1972.
Idem / Doslov napísal Ivan Serdula. Bratislava: Tatran, 1977. 150 s.
Kapitánova dcéra / Prel. E. Trangel. Moskva: Progress, 1974. 216 s.

Словенский язык

Stotnikova hči / Prev. -r. — Sloven. narod, 1883, N 84—110.
Kapitanova hči: Zgodovinska novela / Poslov. Semen Semenovič (Ivan Prijatelj). Gorica: Goriška tiskarna (A. Gabršček), [1896?]. 180 s. (Slovan. knjiž.; N 55—56).
Kapitanova hči. Ljubljana, 1924.
Stotnikova hči / Prev. Vladimir Levstik. — In: Puškin A. S. Povesti. Ljubljana: Drž. zal. Slovenije, 1949.
Idem. Ljubljana: Mlad. knj., 1956. 159 s.
Idem. 1965. 162 s.
Idem. — In: Puškin A. S. Izbrano delo v 6 knj. Knj. 3. Povesti, članki, pisma. Ljubljana: Drž. zal. Slovenije, 1970, s. 35—174.
Izpuščeno poglavje, s. 176—186.

Тамильский язык

Капитанская дочка / Пер. Ранга Дурайвелан. Мадрас: Стар Прачурам, 1956. IV, 164 с.

Турецкий язык

Yüzbaşinin kizi / Çeviren Samizade Süreyya. Ankara: AKBA, 1933. 128 s.
Puşkin'in dünya elebyatinda yeri, s. 3—8.
Yüzbaşinin kizi / Çevirenler Sabahattin Ali ve Erol Güney. Ankara: Maarif matbaasi, 1944. 5, 197 s. (Dünya edebiyatindan terkümeler, Rus. klâsikleri; 10).
Yüzbaşinin kizi: Roman / Çeviren Nihal Yalaza Taluy. Istanbul: Varlik Yayinevi, 1960. 108 s.
Idem. 2 bsl. Istanbul: Varlik Yayinevi, 1966. 111 s.
Idem. 1973. 183 s.
Yüzbaşinin kizi / Çeviren Zeynel Akkoç. Istanbul: Dogăn Kardeş Matbaacilik Sanayii A. S., 1969. 238 s.
Idem. 2 bsl. Istanbul: Hayat Neşriyat Anonim Şirketi, 1971. 238 s.
Idem. Istanbul: Halk El Sanatlari ve Neşrijat A. S., 1975. 240 s.
Yüzbaşinin kizi / Çeviren H. Boysan. Istanbul: Altin Kitaplar Yayinevi, 1973. 198 s.

Уйгурский язык

Капитанская дочка / Пер. И. Джалилов, С. Аюпов. Алма-Ата: Изд-во журн. «Новая жизнь», 1953. 175 с.
То же. 1955.

Язык урду

Капитанская дочка / Пер. Хадиджа Азим; Ил. Н. Фаворского. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. 264 с., ил. (Классики рус. лит.).

Финский язык

Kapteenin tytär / Venäjän suom. Samuli S[uomalainen]. Helsingissä, 1876. 126 s.
Idem. Helsingissä: Edlundin kust. OY, 1910. 141 s.

Idem. [3. pain.]. 1922.
Idem. Hämeenlinna: Karisto, 1949. 166 s.
Idem. — In: Puškin A. S. Kapteenin tytär sekä Laukaus. Helsinki: Ex libris a. Concert Hall Soc. (New ed.), 1971.
Idem. 2. pain. 1973.
Kapteenin tytär / Suom. Siiri Hannikainen. Porvoo; Helsinki: Söderström OY, 1935. 157 s.
Idem. 1959. 167 s.
Idem. Helsinki: Söderström, 1975. 166 s.
Kapteenin tytär. Leningrad: Valtion kust.-liike kirja, 1935. 149 s.
Kapteenin tytär / Suom. J. Virtanen. — In: Pushkin A. S. Valitut teokset. Kirja 4. Romaaneja ja kertoelmia. Petroskoi: Kirja, 1937, s. 215—346.
Kapteenin tytär. Petroskoi: Karjalais-Suomal. SNT:n Valtion kust.-liike, 1941. 136 s.
Kapteenin tytär / Suom. Juuso Mustonen. Helsinki, 1946. 2, 172 s. (Kirjakauppa Oma OY).
Kapteenin tytär. — In: Pushkin A. S. Teoksia. Petroskoi: Karjalais-Suomal. SNT:n Valtion kust.-liike, 1949, s. 253—354.
Idem. 1952, s. 283—405.
Kapteenin tytär /Suom. Juho Anselm. Hollo. — In: Pushkin A. S. Romaanit ja kertomukset. Porvoo; Helsinki: Söderström, 1962.

Французский язык

La fille du capitaine / Trad. de Louis Viardot. — L'Illustration, journal universel, 1846, vol. 7, 23 mai, N 169, p. 186—187, 30 mai, N 170, p. 198—199, 20 juin, N 173, p. 250—251, 27 juin, N 174, p. 266—267, 4 juill., N 175, p. 282—284, 11 juill., N 176, p. 298—299, 25 juill., N 178, p. 330—331.
Idem. Paris: Hachette et co, 1853. [VI], 181 p. (Bibl. de chemins de fer, 4-e sér., Lit. anc. et étrangères).
Idem. 1854. II, 184 p.
Avertissement des éditeurs, p. 1—11.
Idem. 1866. I—II, 187 p. (Bibl. des meilleurs romans étrangers à 1 franc le vol.).
Avertissement des éditeurs, p. 1—11.
Idem. 1869.
Idem. 1871. (Bibl. des meilleurs romans étrangers à 1 fr. 25 cent le vol.).
Avertissement des éditeurs, p. 1—2.
Idem. 1873, 1876, 1879, 1884, 1889.
Idem / Ouvrage ill. de 33 gravures d'après les dessins d'A. Paris. Paris: Hachette et co, 1892. 175 p. (Bibl. des écoles et des familles).
Avertissement des éditeurs, p. 5—6.
Idem. 2-e—5-e éd. 1893, 1897, 1901, 1906.
Idem. Nouv. éd. 1909.
Idem / Ill. de René Lamoureux. Etampes (Paris): Ed. Gasnier, 1945.
Idem. Paris: Montsouris, 1947.
Idem. Paris: Les bibliophiles du faubourg et du papier, 1953. 253 p., ill.
Idem. Paris: Ed. de la Bibl. mondiale, 1958. 192 p.
Idem / Postface de Gilbért Sigaux. Paris: Club fr. du livre, 1962. 314 p.
Idem. Paris: Club des jeunes amis du livre, 1964. VIII, 199 p.
Idem. Paris: Le club fr. du livre, 1966. 281 p.
Idem. Paris: Hachette, 1975. 183 p.
La fille du capitaine. — In: Frout de Fontpertuis A. Etudes de littérature étrangère. Le Puy: Jacquet-Chauve, 1859, p. 1—29.
Пересказ повести с переводом отдельных частей.
Un épisode de guerre civile en Russie. Chapitre inédit de «La fille du capitaine» / Trad. par Ivan Tourguénef et Louis Viardot. — La revue politique et lit. Revue des cours lit. (3-e sér.), 1881, 29 janv., N 5, p. 131—135.
La fille du capitaine / Adapté du russe par Erneste Jaubert; Nombreuses ill. dans et hors texte de Liéger. Paris: Oudin, 1892. 239 p.

Idem. 1893. 239 p.
Idem. Poitiers: Soc. fr. d'impr. et de libr. et impr. Texier réunies, [1948]. 292 p.
La fille du capitaine / Trad. du russe par Maurice Quais. Paris: Guyot, [1899]. 191 p.
Idem. 1902. (Col. A. L. Guyot; N 351).
La fille du capitaine: Roman. — In: Pouchkine A. Œuvres choisies / Introd., trad. et notes par André Lirondelle. Paris: La Renaissance du livre, [первая половина 1920-х гг.], p. 184—193.
Отрывки из глав VII, VIII, XI.
La fille du capitaine / Trad. de Brice Parain. Paris: Schiffrin, Ed. de La Pléiade, 1925. 177 p. (Les auteurs classiques russes).
La fille du capitaine / Nouv. trad. intégrale par H. de Witte, avec une préf. spéc. écrite pour cette éd. par Nicolas Pouchkine et une introd. de M. Hofmann. Paris: Payot, 1929. 255 p. avec 8 ill. hors texte de Sokolov.
La fille du capitaine / Trad. inéd. de E. Séménoff. Paris: Larousse, 1932. 238 p. (Coll. «Contes et romans pour tous»).
La fille du capitaine / Trad. par Marie Alexandre. Paris: Gründ, 1937. (La bibl. précieuse).
La fille du capitaine / Trad. nouv. de Genia Bogrov. — In: Pouchkine A. La dame de pique, suivie de La fille du capitaine. Paris: Ed. La Bourdonnais, 1937. (Coll. «Le chef-d'œuvre», 2-e année; N 4).
La fille du capitaine, adapté du russe / Ill. d'André Hofer. Tours: Mâme, 1938.
La fille du capitaine. Bruxelles: Soc. anon. d'éd., 1940. (Coll. «Ma lecture»).
La fille du capitaine / Trad. par Rurik de Kotzebue. Lausanne: Ed. Mermond, 1944.
Idem / Avec des ill. de Pierre Rousseau. Paris: Ed. G. P., 1950. 192 p.
Idem. Paris: Ed. G. P., 1959. 252 p.
Idem. — In: Pouchkine A. S. La fille du capitaine et autres nouvelles. Genève: Edito-Service, 1967.
Idem. — In: Pouchkine A. S. La fille du capitaine et autres nouvelles. Levallois-Perret: Cercle du biblioph., [1968?]. (Les chefs-d'œuvres de la lit. russe).
La fille du capitaine / Trad. de Nicolas Poltavzev. — In: Pouchkine A. Œuvres en prose. Bruxelles: Ed. La Boétie, 1945.
La fille du capitaine / Adapt. de Louis Saurel. Paris: Nathan, [1948]. 168 p. (Coll. «Rêves d'avantures»).
La fille du capitaine / Texte russe accentué avec trad., introd. et comment. par Raoul Labry. Paris: Aubier, 1948, 2 vol.
La fille du capitaine: Roman / Trad. respect. du texte original. Pregny (Genève): Connaître, [1949]. 239 p., portr. (Connaître, Coll. lit.; Vol. 2).
La fille du capitaine / Trad. par Marc Séménoff. Paris: Ed. Hatier, 1951. 205 p. (Sér. beige; N 19).
La fille du capitaine / Trad. par Louis Viardot, revue et corrigée par Eliazar Chéré. Paris: Ed. La Bruyère, 1951. 159 p.
La fille du capitaine / Trad. par Raoul Labry. — In: Pouchkine A. Œuvres complètes. T. 1. Drames; Romans; Nouvelles / Publ. par André Meynieux; Préf. de Henry Troyat. Paris: Bonne, 1953, p. 587—709.
Notice sur «La fille du capitaine», p. 585—586.
Idem. — In: Pouchkine A. S. La fille du capitaine; Nouvelles. Moscou; Paris, 1971, p. 21—176. (Livre-club Diderot).
Idem. 2-e éd., légèr. mod. T. 1. Drames; Romans; Nouvelles. Lausanne, 1973, p. 587—709. (Classiques slaves, Bibl. «L'âge d'homme»).
Notice sur «La fille du capitaine», p. 585—586. Supplement au chapitre XIII, p. 699—709.
Idem. — In: Pouchkine A. S. Eugène Oniéguine; La dame de pique; La fille du capitaine. Lausanne: Co du livre fr., 1976.
La fille du capitaine / Trad. et adapt. nouv. de P. S. Tournai: Casterman, 1954. 109 p.
Idem. Paris: Casterman, 1954. 109 p. (Coll. de Chèvrefeuille).
Idem. Paris: Casterman, 1960.

Idem / Ill. de François Craenhals. Tournai; Paris: Casterman, 1961. 109 p. (Coll. «Mistral»).

Idem. 1968.

La fille du capitaine. Paris: Charpentier, 1965. 189 p., ill.

La fille du capitaine. — In: Pouchkine A. S. Eugène Onieguine; Les récits du Belkine; La dame de pique; La fille du capitaine; Boris Godunov. Lausanne: Ed. Rencontre, 1966.

La fille du capitaine. Paris: Ed. Hemma, 1967. 125 p.

La fille du capitaine. Paris: Del Duca, 1967. 60 p., ill. (Grands classiques ill.).

La fille du capitaine. Paris: Hachette jeunesse, 1975. (Coll. Idéal-Bibl.).

La fille du capitaine. Paris: Four, 1976. (Bien lire).

La fille du capitaine. — In: Pouchkine A. S. La fille du capitaine; La tempête de neige et autres nouvelles. Paris: Cercle du biblioph., 1976. (Chefs d'œuvres de la lit. russe).

La fille du capitaine. Paris: Ed. Aubier-Montaigne, 1976, 2 vol. (Bilingue).

Язык хинди

Капитанская дочка / Пер. Шанкар Гохил с англ. пер. Бомбей: Бхогилал Ганди, 1951. 154 с.

Капитанская дочка / Пер. С. Бегам. Дели: Прабат пракашан, [1972?]. 175 с.

Чешский язык

Kapitánova dcera / Z rus. přel. Kristian Stefan. Praha: Pospíšil, 1847.

Dcera kapitánova: Povídka / Přel. St. Beran-Libštatský. Praha: Beaufort, 1888. 192 s. (Přítel domoviny, IV. roč.; č. 6).

Idem. Brno: Kniht. Benediktinů rajhradských, 1888. 168 s.

Kapitánova dcera / Přel. Antonín Pacák. — Bibl. zábavná, 1888, díl. 120, seš. 9—13.

Kapitánova dcerka: Roman / Přel. Bořiv. Prusík. — In: Puškin A. S. Spisy. Kapitánova dcerka a ostatní povidky prosou. Praha: Otto, 1899, s. 1—123. (Rus. knih.; 31).

Idem. Nové vyd. Praha: Otto, 1921.

Kapitánova dcerka: Novela / Přel. Miloš Týn. — Domácí Hospodyně, 1899, roč. 6, č. 2—22.

Setnikova dcera / Přel. Jaroslav Janeček; S il. Věnc. Černého a Jos. Ulricha. — In: Puškin A. S. Piková dáma a ostatní krásná prosa. Praha: Vilímek, s. a., s. 37—188 (Il. romány pro lid).

Kapitánova dcerka: Povídka / Přel., životopisem spisovatelovým a poznámkami opatřil Pavel Papaček; S 5 obrázky J. Weniga. Praha: Voleský, 1921. 216 s.

Idem. 1925. 166 s., il. (Knihy dorostu; Sv. 1).

Idem / Předml. E. Ljackého. Praha: Svaz rus. invalid., 1937. 144 s.

Kapitánova dcerka / Přel. a dosl. opatřil Julius Hontela; Il. Ant. Zhoř. Brno: Epos, 1932. 164 s.

Kapitánova dcerka / Přel. Jarmila Minaříková. — Lada, 1932, t. 54, s. 186—187, 206—207, 246—247, 266—267, 286—287, 306—307.

Kapitánova dcerka / Přel. K. Herrman; Il. V. Živný. Praha: Šela, 1937. 148 s.

Kapitánova dcerka / Přel. Josef Kopta; 13 dřevoryty opatřil Václav Fiala. Praha: ELK, 1937. 104 s., il.

Idem. 2. vyd. / Litogr. vyzdobil Karel Müller. Praha, 1947. 163 s., il.

Idem / Il. Václav Fiala. Praha: Melantrich, 1950. 140 s., il.

Z jazyka zrozený, s. 135—137.

Kapitánova dcerka / Přel. Václav Najbrt; Il. Arno Nauman. Praha: Janů, 1937. 192 s.

Kapitánova dcerka. (Kapitola Vzbouřena svoboda). — Svet Sovětů, 1937, N 2.

Útok na pernost / Přel. Petr Denk; Il. Zdenek Hybler. Zlín: Tisk, 1945. 32 s. (Knih. ruské četby pro mladež; Sv. 1).

Kapitánska dcerka / Přel. Bohumil Mathesius. — In: Puškin A. S. Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1949, sv. 1, s. 55—143. (Klasikove; Sv. 8).

Idem. — In: Puškin A. S. Spisy. Sv. 6. Povídky. Praha: Knih. klasiků SNKLHU, 1955, s. 273—373.
Idem. 14. vyd. Praha, 1955. 174 s.
Idem. 1956. 168 s.
Idem. 3. vyd. Praha: St. nakl. dětské kn., 1961. 165 s., il.
Idem / Il. V. Fiala. Praha: Lid. nakl., 1971. 143 s.
Kapitánova dcerka / Přel. Petr Denk. 2. vyd. Praha: St. nakl. dětské kn., 1950. 125 s., il.

Шведский язык

Kaptenens dotter: Berättelse / Ofvers. från ryskan af Otto Adolf Daniel Meurman. Stockholm: Tryckt hos N. H. Thomson, 1841. 186 s.
Kaptenens dotter. Stockholm, 1849. (Samml. VI der. Kabinetsbibl. af den nyaste litt.).
Kaptenens dotter. — In: Puschkin A. Noveller / Ofvers. af A. H. [Adele Willman]. Uppsala: Universal-Bibl. Förl. exped., 1885, s. 1—174. (Universalbibl.).
Hårda tider / Ofvers. af Fredrique Pajkull. [S. l.], 1894. (Familien journal Svea).
Kaptenens dotter / Ofvers. af Hjalmar Dahl. Stockholm: Forum, 1954. 193 s.
Idem. Helsingfors: Söderström co Förlagsaktienbolag, 1954. 193 s.
Idem. Stockholm: Forum, 1973. 127 s.

Эсперанто

La Kapitanfilino: Romano / El la rusa trad. M. Sidlovskaja. Berlin: Mosse, Esperanto-Abt., 1927. 172 s. (Bibl. Tutmonda; 15/17).

Японский язык

Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка: Удивительные вести из России. [Капитанская дочка] / Пер. Текасу Харусуке. Токио, 1883. 44 с., ил.
Сказание о Смите и Мэри: История русской любви / Пер. Такасу Дзискэ. Токио: Изд-во Такасаки, 1886.
Офицерская дочка / Пер. Адати Хокуо и Токуда Сюсэй. Токио, 1904. 184 с.
Капитанская дочка / Пер. Сэго Ёсинао. Токио, 1916.
Капитанская дочка. Токио, 1931. 204, [16] с. (Лит. сокровища изд-ва «Водопад» (Иванами); № 324).
Капитанская дочка / Пер. Кумазава. Токио, 1932.
Капитанская дочка. — В кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 4-х т. Токио, 1936, т. 3.
Капитанская дочка / Пер. Киоши Йинзаи. Токио: Иванами сотен, 1950. 263 с.
То же. 1959. 217 с., ил.
Капитанская дочка / Пер. Хакуйо Накамура. — В кн.: Пушкин А. С. Избр. произведения. Токио: Шиншо-ша, 1954.
То же. — В кн.: Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. Пушкин А. С. Капитанская дочка; Пиковая дама. Токио: Шудо-ша, 1957, ил.
Капитанская дочка / Пер. Тору Накамура. — В кн.: Лермонтов М. Ю., Пушкин А. С. Избр. соч. Токио: Каваде Шобо Шин-ша, 1958.
Капитанская дочка / Пер. Теруи Нишимото. — В кн.: Пушкин А. С. Пиковая дама; Капитанская дочка. Токио: Такай Шишо-ша, 1963.
Капитанская дочка / Пер. Кимура Хироши. — В кн.: Пушкин А. С. Капитанская дочка [и др. произведения]. Токио: Шуэй-ша, 1970.
То же. 1975. 286 с. (Мировая лит. для юношества; Т. 15).

СПИСОК ВАЖНЕЙШИХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УКАЗАТЕЛЯ [1]

Алексеев М. П. Пушкин на Западе. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, кн. 3, с. 104—151.

Аснаш С. М., Яхонтов А. Н. Описание Пушкинского музея имп. Александровского лицея / Под ред. И. А. Шляпкина. Спб.: Изд. выпускников Александр. лицея. 1899. XXVII, 514, V с.

Переводы и переделки сочинений А. С. Пушкина на иностранные языки, с. 386—423.

Белкин Д. И. Пушкин и китайская культура. — Учен. зап. / Горьк. гос. ун-т, 1958, вып. 48, с. 3—25.

Берков П. Н., Лавров В. М. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1886—1899 / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1949. 996 с.

Иноязычный Пушкин, с. 856—934.

Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем [за 1937—1948, 1949, 1950, 1951, 1952—1953 и 1954—1957 гг.]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951—1963.

См. разделы: Сочинения на иностранных языках. А. С. Пушкин за рубежом.

Боброва Е. И. Итальянская «Пушкиниана». (Обзор). — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, кн. 2, с. 445—449.

Боброва Е. И. Французские библиографии Пушкинианы. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937, кн. 3, с. 479—488.

Веневитинов М. Коллекция немецких переводов Пушкина. — Ист. вестн., 1900, кн. 4, с. 299—302.

Геннади Г. Н. Переводы сочинений Пушкина. М.: Тип. С. Селивановского, 1859. 32 с.

Григорьев А. Л. Пушкин в зарубежном литературоведении. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1974, т. 7, с. 221—250.

Гуан Лун. Пушкин в Китае. — Лит. в школе, 1959, № 3, с. 25—32.

Гурвич И. «Капитанская дочка» в Японии. — Изв. кн. магазинов Т-ва М. О. Вольф..., 1911, № 11, стб. 283—286.

Добровольский Л. М., Лавров В. М. Библиография пушкинской библиографии. 1846—1950 / Под общ. ред. Н. И. Мордовченко. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 68 с.

Переводы сочинений Пушкина на иностранные языки, с. 33—40.

Долинина А. А. Пушкин в арабской литературе. — В кн.: Пушкин в странах зарубежного Востока: Сб. статей. М., 1979, с. 9—24.

Драганов П. Д. Пятидесятиязычный Пушкин, т. е. переводы А. С. Пушкина на 50 языков и наречий мира: Библиографический венок на памятник А. С. Пушкину, сплетенный к столетию его рождения. 26 мая 1799—26 мая 1899 г. Спб.: Тип. А. С. Суворина, 1899. XVIII, 55 с.

Дудевски Х. Пушкин в Болгарии. — Рус. лит., 1972, № 2, с. 207—219.

Измайлов Н. В. И. С. Тургенев — переводчик Пушкина на французский язык. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1974, т. 7, с. 185—203.

Крачковский И. Ю. Русские писатели в арабской литературе. Библиографическая справка по поводу кончины Л. Н. Толстого. — В кн.: Крачковский И. Ю. Избр. соч. М.; Л., 1956, т. 3, с. 267—269.

Ланда С. С. А. С. Пушкин в печати Польской Народной Республики в 1949—1954 годах. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956, т. 1, с. 408—472.

Библиография переводов произведений А. С. Пушкина и литературы о нем на польском языке за 1945—1954 годы, с. 451—472.

---

[1] Общие текущие и ретроспективные библиографические указатели отдельных стран и каталоги национальных библиотек в настоящем списке не учтены.

Малиновская Т. А. Пушкин в Китайской Народной Республике. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958, т. 2, с. 409—418.

Мамонов А. И. «Капитанская дочка», или «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка». (Пушкин в Японии). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, т. 38, № 3, с. 196—206.

Межов В. И. Puschkiniana: Библиографический указатель статей о жизни А. С. Пушкина, его сочинений и вызванных ими произведений литературы и искусства. Спб.: имп. Александр. лицей, 1886. V, II, 406 с.

Переводы сочинений А. С. Пушкина на иностранные языки, с. 201—237.

Менье А. Пушкин во Франции в 1940—1956 годах. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958, т. 2, с. 450—458.

Михайлов М. С. Произведения А. С. Пушкина на турецком языке. — Тр. / Моск. ин-т востоковедения, 1951, вып. 6, с. 147—174.

Библиография переводов произведений Пушкина на турецкий язык, с. 172—174.

Никулин Н. И. Произведения Пушкина во Вьетнаме. — В кн.: Пушкин в странах зарубежного Востока: Сб. статей. М., 1979, с. 111—124.

Приятель И. А. С. Пушкин у словенцев. — В кн.: А. С. Пушкин в южно-славянских литературах: Сб. библиогр. и лит.-крит. статей / Под ред. И. В. Ягича. Спб., 1901, с. 367—395. (Сб. Отд. рус. яз. и словесн. имп. Акад. наук, 1901, т. 70, № 2).

Словенские переводы из Пушкина. Библиографическая таблица, с. 392—394.

Puschkiniana: Каталог Пушкинской библиотеки [Лицея]. Спб.: Тип. Р. Голике, 1880. 36 с.

Переводы сочинений Пушкина, с. 26—36.

Рахманов В. В. Русская литература в Испании. — В кн.: Язык и литература. Л., 1930, т. 5, с. 329—346.

Розенфельд А. З. А. С. Пушкин в персидских переводах. — Вестн. Ленингр. гос. ун-та, 1949, № 6, с. 81—101.

Рудман В. Пушкин в Китае. — Нов. мир, 1949, № 6, с. 227—233.

Соколов И. Пушкин в новогреческом переводе. — В кн.: Пушкин в мировой литературе: Сб. статей. Л., 1926, с. 188—198.

Степович А. Пушкин у славян. (Библиографическая справка). — В кн.: Сборник статей об А. С. Пушкине по поводу столетнего юбилея. Киев, 1899, ч. 2, с. 187—198.

Список переводов из Пушкина на разные славянские наречия, с. 196—198.

Тодоровский Г. Пушкин на македонском языке. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958, т. 2, с. 445—449.

Фомин А. Г. Puschkiniana. 1911—1917. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. XXIV, 539 с.

Переводы сочинений Пушкина, напечатанные в России, с. 64—67. Пушкин в иноязычной литературе — см. по указателю (с. 528).

Францев В. А. А. С. Пушкин в чешской литературе: Библиографические материалы. Спб.: Тип. имп. Акад. наук, 1898. 22 с. (Сб. Отд. рус. яз. и словесн. имп. Акад. наук, 1898, т. 66, № 4, с. 1—22).

Чуич Г. Русская литература на сербском языке: Опыт библиографии переводной русской литературы за период с 1860-го по 1910-й год. — Тр. / Воронеж. гос. ун-т, 1926, т. 3, с. 116—140.

Шаракшинова Н. О. О переводах Пушкина на монгольский язык. — Вестн. Ленингр. гос. ун-та, 1949, № 6, с. 71—80.

Шарыпкин Д. М. Пушкин в шведской литературе. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1974, т. 7, с. 254—262.

Шишманов И. Д. Русское влияние и Пушкин в болгарской литературе. — В кн.: А. С. Пушкин в южно-славянских литературах: Сб. библиогр. и лит.-крит. статей / Под ред. И. В. Ягича. Спб., 1901, с. 1—49. (Сб. Отд. рус. яз. и словесн. имп. Акад. наук, 1901, т. 70, № 2).

Пушкин в болгарской литературе до освобождения, с. 35—37. Пушкин в болгарской литературе после войны, с. 37—49. Переводы, с. 40—49.

Шнейдер М. Е. Русская классика в Китае: Переводы; Оценки; Творческое освоение. М., 1977.

Произведения А. С. Пушкина, с. 246—247.

Шульц В. А. С. Пушкин в переводе французских писателей. — Древняя и новая Россия, 1880, т. 17, № 5, с. 17—36; № 6, с. 305—330; № 7, с. 477—496; № 12. с. 766—819. Отд. отт.: Спб.: Тип. В. И. Грацианского, 1880. 135 с.
Капитанская дочка, с. 89.
Ягич И. В. А. С. Пушкин в сербскохорватской литературе: Очерк библиографический. — В кн.: А. С. Пушкин в южно-славянских литературах: Сб. библиогр. и лит.-крит. статей / Под ред. И. В. Ягича. Спб., 1901, с. 69—136. (Сб. Отд. рус. яз. и словесн. имп. Акад. наук, 1901, т. 70, № 2).
Александър Сергеевич Пушкин. 1799—1837. Библиография по случай 175 години от рождението. София, 1974. 135 с. (Нар. библ. «Кирил и Методий»).
Дюгмеджиева П. Александър Сергеевич Пушкин. 1799—1837: Препоръчителев указател по случай 120 години от смъртта на великия руски поет. София, 1956. 24 с. (Държ. библ. «Васил Коларов», Библиогр. отд.).
Погодин А. Л. Руско-српска библиографија. 1800—1925. Кн. 1: Књижевност. Д. 1. Преводи објављени посебно или по часописима. Д. 2. Преводи објављени по новинама и календарима. Београд, 1932—1936. (Српска краљевска акад. Посебна изд.; Кн. 92, 110, Филоз. и филол. списи; Кн. 22, 29).
Bečka J., Kosterka H., Procházková H. Puškin v české literatuře. (Bibliografie). — In: Puškin u nás. 1799—1949. Praha: Orbis a Svět sovetů, 1949, s. 384—417.
Bečka J. Slavica v česke řeči. Č. 1. České překlady ze slovanskych jazyků do r. 1860. Praha: Nakl-ví Československé Akad. věd, 1955. 167 s.
Puškin Aleksandr Sergejevič, s. 102—105.
Boutchik V. Bibliographie des œuvres littéraires russes traduites en français Paris: Libr. Orolitg et co, 1935. VIII, 199 p.
Poushkine Alexandre Sergueevitch, p. 104—111.
Brtáň R. Puškin v slovenskej literature / Turč. Sv. Martin: Matica Sloven., 1947. 125 s. (Stúdie Matice Sloven.; 2).
Bibliografia, s. 99—122.
Haumant E. Pouchkin. Paris: Bloud et co, 1911. 232 p.
Bibliographie, p. 219—227.
Heyfetz A., Pinson E. Pushkin in English: A list of works by and about Pushkin. Compiled by the Slavonic division / Ed., with an introd. by A. Jarmolinsky. New York: The New York publ. libr., 1937. 32 p.· Repr. from the «Bul. of the New York publ. libr.» of July 1937.
Index translationum: Nouvelle série [1948—1976]. Paris: UNESCO, 1949—1981, Vol. 1—30.
Jensen A. Puškin in der schwedischen Literatur. — In: Zbornik u slavu Vatroslava Jagiča. Berlin, 1908, S. 71—80. (Jagič-Festschrift).
Kozocsa S. Az orosz irodalom magyar bibliográfiája. Budapest: Országos Széchényi kvt., 1947. XVI, 333 l.
Line M. B. A bibliography of Russian literature in English translation to 1900. (Excluding periodicals). London: The Libr. Assos., 1963. 74 p.
Lo Gatto E. Storia della letteratura russa, vol. 3. La letteratura moderna, 1. Roma, 1929. (Publ. dell' «Istituto per l'Europa orientale», Ser. 1, Lett.—arte—filosofia; XIV[3]).
Breve bibliografia Puskiniana, p. 326—333.
Meynieux A. Bibliographie. — In: Poushkine A. Oeuvres complètes. T. 1. Drames: Romans; Nouvelles / Publ. par André Meynieux; Préf. de Henry Troyat. Paris: Bonne, 1953, p. 711—721.
Osborne E. A. Early translations from the Russian. II. Pushkine and his contemporaries. — The Bookman, London, 1932, vol. 82, p. 264—268.
Roman F. Literatura rusă şi sovietica în limbá romînă. 1830—1959: Contribuţii bibliografice / Introd. de T. Gane. Bucureşti: Ed. de Stat pentru impr. şi publ., 1959. 520 p.
Schanzer G. O. Russian literature in the Hispanic world: a bibliography. La literatura rusa en el mundo hispánico: bibliografía. Toronto: Univ. of Toronto press. 1972. XLVII, 312 p.

Strahl I. Gogol, Puschkin und Tschechow: Verzeichnis der seit 1945 erschienen deutschen Übersetzungen ihrer Werke. Berlin: Dt. Staatsbibl., 1955, S. 9—22. (Bibliogr. Mitt.; N 8).

Toporowski M. Puszkin w Polsce: Zarys bibliograficzno-literacki. Warszawa: Państw. inst. wyd., 1950. 320 s.

Verhaegen Cosyns E. Traductions françaises de littératures russe et soviétique (1945—1960). Bruxelles, 1960, vol. 1—2. (Bibliogr. belgica; 50).

Vystava «Puškin a jeho doba»... Knižni část: Puškiniana. Katalog díla Puškinova a prací o něm... Praha, 1932. 72 s.

Puškin a Slovanstvo. a) Ukázky z překladů Puškinových děl do slovanských jazyků, s. 53—58.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Сергеевич
Пушкин

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии
«Литературные памятники»
Академии наук СССР

Редактор издательства *Т. А. Лапицкая*
Художник *М. И. Разулевич*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Н. И. Журавлева, Э. Г. Рабинович*
и *Т. Г. Эдельман*

ИБ № 20835

Сдано в набор 19.04.84. Подписано к печати 28.08.84. Формат 70×90 1/16. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 23.40. Усл. кр.-отт. 24.64. Уч.-изд. л. 23.96. Тираж 100 000. 1-й завод 50 000 экз. Тип. зак. № 1340. Цена 3 р. 10 к.

Издательство «Наука». Ленинградское отделение. 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

